

*НОВЫЙ
Журнал*

95

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать восьмой год издания

Кн. 95

НЬЮ ИОРК

1969

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1969
Quarterly, No. 95
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>И. Бабель</i> — Еврейка. Их было девять	5
<i>И. Елагин</i> — Стихи	21
<i>Г. Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	23
<i>И. Бродский</i> — Стихи	51
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	53
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	84
<i>Ю. Кротков</i> — Рассказы о маршале Берия	86
<i>И. Одоевцева</i> — Манифест	118
<i>М. Л. Толстой</i> — Мои родители	120
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	146
<i>А. Величковский</i> — Стихи	148
<i>К. Померанцев</i> — Добро и зло у Солженицына	149
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	159
<i>Ю. Иваск</i> — Цветаева — Маяковский — Пастернак	161
<i>Странник</i> — Стихи	186

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Бор. Зайцев</i> — Другая Вера	188
<i>Г. Вернадский</i> — Братство «Приютино»	202
<i>Письма писателей</i> (Бердяева, Мочульского, Горького, Есенина, Куприна)	216

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Е. Шилев</i> — «Лагерный язык» по произведениям А. Солженицына	232
<i>А. Иванов</i> — Новое об экономическом значении личного хозяйства при социализме	248
<i>Д. Анин</i> — Израиль и арабы	263

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Л. Ржевский</i> — «Крылья»	275
-------------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ:

А. Шилева — Бор. Зайцев. Река времен. *И. Левитан* — А. Седых. Иерусалим, имя радостное. *Р. Плетнев* — Странник. Упразднение месяца. *Т. Фесенко* — Г. Селегень. Прехитрая вязь. *Е. Извольская* — Жан Невесель. Папа Иоанн 23-й. *Н. Ульянов* — Р. Гуль и В. Тривас. Товарищ Иван. *А. Небольсин* — В. Роу. Достоевский. *К. Яукш-Орловский* — Русский фольклор Сибири. *Письма в редакцию. Книги для отзыва* . . . 278

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013



ЕВРЕЙКА

По закону — старуха просидела семь дней на полу. Она встала на восьмой день и вышла на улицу в местечко. Погода была прекрасна. Перед домом стояло каштановое дерево с уже (зажегшимися) свечками. По нем (расплылось) солнце. Когда думаешь о недавних мертвецах в прекрасный летний день — бедствия кажутся беспощадными, безвыходными. На старухе было черное шелковое старинное платье с тисненными черными цветами и шелковая косынка. Она оделась так для умершего своего мужа, чтобы соседи не подумали, что он и она жалки в смерти.

В этом платье старая Эстер пошла на кладбище. Цветы, брошенные на могильный холм, свернулись. Она тронула их пальцами, они стали падать и ломаться. К Эстер подбежал кладбищенский завсегдатый Алтер...

— Панихиду, мадам. — Она раскрыла сумку, медленно по-

Отрывок И. Бабеля «Еврейка» и его рассказ «Их было девять» по-русски никогда не были напечатаны. Как известно, И. Бабель был арестован НКВД в 1939 году и, по всей вероятности, сразу же был расстрелян, хотя официальная дата его смерти дается как 1941 год. Обстоятельства смерти Бабеля до сих пор неизвестны. Рассказ «Их было девять» датирован 1923 г., он является первым вариантом известного рассказа из «Конармии» — «Эскадронный Трунов». Отрывок «Еврейка», вероятно, был написан в 30-х годах. Можно предполагать, что это начало задуманного Бабелем романа. В 1929 году в письме к В. П. Полонскому Бабель писал: «жажду писать длинно!» Но окончить свою «длинную» вещь И. Бабелю не удалось: он был убит НКВД. — Ред.

Право перепечатки и переводов этих двух произведений сохранено за Н. Бабель-Браун.

Copyright by Nathalie Babel, New York, 1969.

Copyright by The New Review, New York, 1969.

считала деньги, несколько серебряных денег, и отдала их Алтеру (торжественно, молча).

От ее молчания Алтеру стало не по себе. Он ушел на кривых ногах тихонько разговаривая сам с собой. Солнце проводило его кривую вылинявшую спину. Они остались одни с могилой. Ветер прошел по верхушкам деревьев и наклонил их. — Мне очень плохо без тебя, Мариус, — сказала маленькая старуха в шелковом платье, — нельзя тебе сказать, как мне плохо... — Она просидела у могилы до полудня, сжимая в морщинистых руках осыпавшиеся цветы.

Она сжимала пальцы до боли для того, чтобы отбиться от воспоминаний. Страшно вспоминать жене перед могильным холмом о тридцати пяти годах супружества, о днях и ночах супружества. Уничтоженная борьбой с воспоминаниями (о которых нельзя признаться), — она вечером поплелась (в шелковом платье) через нищее местечко домой.

На базарной площади лежали желтые лучи. Исковерканные старики и старухи продавали с лотков подсолнечное масло, увядший лук, рыбешку, ирисы для детей. У дома Эстер встретила пятнадцатилетняя дочь.

— Мама, — закричала девочка особым еврейским отчаянным женским голосом, — ты не будешь нас мучить, Боря приехал...

Двигая пальцами сын стоял в дверях — в военной форме, с орденами на груди. Сломанная старуха с мокрым и лихорадочно румяным (слово неразборчиво) остановилась.

— Как ты смел опоздать к постели своего отца?... Как ты смел это ему сделать?

Дети под руку ввели ее в комнату.

Она села на скамеечке, на той самой, на которой она просидела семь дней — и глядя на сына в упор, стала терзать его рассказом об агонии отца. Рассказ этот был обстоятелен, в нем не было упущено — водянка ног, нос, посиневший в день смерти, беготня в аптеку за подушками с кислородом, равнодушные люди, расхаживающих у ложа смерти. В этом рассказе не было упущено как звал отец, умирая, своего сына. Она стояла на коленях перед его постелью и согревала в своих ру-

ках его руку. Отец отзывался слабым пожатием и произносил без отдыха имя своего сына. Выкатив сияющие глаза, он сначала раздельно, не отдыхая, произносил это имя, — слово — Борис — жужжало в помертвевшей комнате — как жужжание веретена, — потом старик задохнулся, он перевел хрипящее дыхание и прошептал — Боречка. Глаза его выкатились и он стал исходить воем и рычанием — Боречка... Старуха, согревавшая его руки, сказала: — Я здесь, твой сын здесь. Рука умирающего налилась силой и движением. Она стала биться и царапать ладони, согревавшие ее. Он начал кричать это слово — Боречка, — другим голосом, тонким таким какого у него не было во всю его жизнь и умер с этим словом на устах.

— Как смел ты опоздать, — сказала старуха сыну, сидевшему боком у стола. Лампы не зажигали.

Приехавший сидел во тьме, обливавшей недвижимость. Старуха тяжело (гневно) дышала с полу. Борис поднялся, зацепил револьвером край стола и вышел.

Полночи ходил он по еврейскому местечку, его родине. На реке дрожали чистые змеи (звезд) — отражения. От избушек, стоявших на берегу, несло вонью. В синагоге, противостоявшей когда-то бандам Хмельницкого, были выломаны трехсотлетние стены.

Родина его кончалась. Часы столетия вызванивали конец беззащитной жизни. Конец или возрождение? — спросил себя Борис. Сердце его так терзалось, что он не нашел в себе силы ответить на этот вопрос. Школа, где он учился, была разгромлена атаманом Струком в 19 году. В доме, где жила Женя помещалась теперь Биржа труда. Он ходил мимо развалин, мимо спящих кривых, приземистых домов, из подворотен полз дымок нищей вонь — и прощался с ними. Дома ждали его сестра и мать. На столе кипел нечищенный самовар. Валялся кусок синей курицы. Эстер пошла к нему на слабых ногах, прижалась к нему и заплакала. Сквозь кофту, сквозь дряблую, распаренную, висящую кожу, он чувствовал билось и улетало ее сердце — и его сердце, п. ч. они были одни и те же. И запах сотрясающейся материнской плоти был так горек, так жалок — так (их) Эрлихов — что ему сделалось нестерпимо жалко нашего

сердца. Старуха плакала, всеобъемлюще (слово неразборчиво), трясая у его груди у двух орденов Красного знамени. Ордена были мокры от слез. Так началось ее выздоровление, покорность одиночеству и концу.

II

На утро пришли родственники — остатки большой и старинной семьи. В семье этой были торговцы, авантюристы и робкие поэтические революционеры времен народовольчества. Тетка Бориса — фельдшерица, учившаяся на 20 р. в месяц в Париже, слушала когда-то Жореса и Геда. Дядька его был неудачливым и трогательным местечковым философом. Другие дядья были торговцами хлебом, коммивояжерами, лавочниками — теперь вышибленными из жизни, толпа растерявшихся и жалких людей. Толпа людей в рыжих пальто, в тальмах, распаренных. Они еще раз рассказали Борису как пухли ноги его отца, где образовались у него пролежни, кто бегал в аптеку за кислородом. Торговец хлебом, богатый когда-то человек, выгнанный теперь из своего дома и обвязывавший старые худые ноги солдатскими обмотками, отвел Бориса в сторону и глядя на него мигающими глазами (ослепшими изнутри) сказал (он делал это для того, чтобы сблизиться с племянником, так отбившимся в сторону от семьи), что он никогда не ожидал, чтобы у отца сохранилось такое чистое, гладкое тело — они смотрели когда его обмывали, и он был строен и гладок как юноша... И подумать, что какой-то клапан где-то в сердце, жила в один миллиметр... Дядька говорил это и думал, верно, что ведь и он с покойником рождены от одной матери и у него, верно точь в точь такой же сердечный клапан, как у брата, умершего неделю тому назад.

...На следующий день у Бориса сначала робко, потом с содроганием давно сдерживаемого отчаяния попросили рекомендации в профсоюз. Никого из Эрлихов из-за бывшего их (положения) не принимали в члены профсоюза.

Жизнь их была невыразимо печальна — дома разваливались и протекали, продано было всё, даже платяные шкафы,

на службу их не брали; и плата за квартиру и воду высчитывалась с них как с людей, не занимающихся трудом. Кроме того они все были стары и больны ужасными болезнями — предвестниками раков и сухоток — как во всех старых кончающихся еврейских семьях. У Бориса давно была готова теория для всех людей — ускорить их гибель он считал правильным делом — но тут мать была с ним — ее лицо похожее на его лицо, ее тело — такое, каким будет его тело через два или три десятилетия — и чувство судьбы, появившееся от близости матери, чувство их круговой судьбы, судьбы их Эрлиховских тел (в чем-то всех одинаковых). Он превозмог себя, и пошел к председателю исполкома. Председатель исполкома, петербургский рабочий — казалось, ждал его всю свою жизнь, для того, чтобы рассказать как мрачна работа исполкомов в этой бывшей проклятой, так называемой, черте еврейской оседлости, как трудно воскресить эти местечки Западного края и создать основы нового благополучия в проклятых этих еврейских местечках (проклятого) Ю.-З. края. Несколько дней перед Борисом стояло кладбище его родного города и молящие глаза его дядьев, бывших (бедовых) коммивояжеров, мечтающих теперь о вступлении в профсоюз или на Биржу труда. Так прошло несколько дней. Бабье лето сменилось осенью. Пошел (слякотный) местечковый дождь. Грязь с горы, грязь с катящимися камнями (как бетон) потекла с горы. В передней было полно воды. Под скважины потолка подставили заржавевшие миски и пасхальные кастрюли. Идя по передней, надо было балансировать, чтобы не попасть ногой в миску.

— Едем, — сказал тогда матери Борис. — Куда? — В Москву, мама. — Без нас в Москве мало евреев что ли?... — Вздор, — сказал Борис, — нам нет дела до того, что болтают...

В своем углу, в протекавшей передней, у окна, из которого была видна шербатая мостовая и обвалившийся дом соседа — и тридцать лет ее жизни. Сидя у этого окна и отбеляя душевной слезой и старческой страстью сочувствия своих сестер и шуровьев, и племянников, которым судьба не дала сына такого как ее — Эстер ждала, что рано или поздно — он заговорит о Москве и знала, что она сдастся. Но она сделала все

для того, чтобы (замучить себя и пропитать свою сдачу горем всей округи...). Она сказала, что ей смертельно грустно ехать одной без него, который так мечтал о Москве, так мечтал о том, чтобы оставить эти проклятые Богом места и прожить (остаток жизни) — радостнее — от которого ничего не хочешь кроме покоя и чужой радости — с сыном — в этом, новом (обетованном) месте... И вот — он лежит под дождем, хлещущим всю ночь — в могиле, а она поедет в Москву, где, говорят, люди счастливы, веселы, бодры, полны планов и (делают какие-то особенные дела). Эстер сказала, что ей тяжело оставить все их могилы — отцов и дедов раввинов, цадиков, талмудистов, покоящихся под серыми (традиционными) камнями. Она их больше не увидит — и как он — ее сын — ответит перед ней, когда ей придется умирать на чужой земле — среди людей, невообразимо чужих... И потом — как простит она себе — если ей в Москве будет хорошо житься?... Руки с длинными с подагрическими, искривленными, мягкими (раздавливающимися) пальцами дрожали, когда Эстер вычитывала, как нестерпимо ей быть счастливой в это время... Искривленные увлажнившиеся ее пальцы дрожали, на желтой груди страшно вспухали и ходили жилы, в железную крышу стучался (местечковый) дождь... Во второй раз с тех пор как приехал ее сын — маленькая старая еврейка в ластиковых туфлях заплакала. Она согласилась поехать в Москву, п. ч. больше некуда было ехать и потому, что сын ее так (страшно) был похож на мужа, что ей нельзя было оставлять его — а у мужа, как у всех людей, были недостатки и жалкие тайны, о которых знает, (слово неразборчиво) не сознается, молчит жена.

III

Больше всего споров было из-за вещей. Мать хотела все взять с собой, Борис настаивал на том, чтобы со всем развязаться, продавать. Но продавать в Кременце было некому, жителям было не до мебели. Маклаки, похожие на погребальщиков, маклаки, неведомо откуда взявшиеся, похожие на пришельцев с того света, злобные люди давали гроши. Маклаки имели

в виду крестьян. Но тут помогли родственники. Опомнившись от (первых душевных движений) они стали тащить к себе кто что мог. И так как по душе своей они были честные, и не мелочные люди (не мелко-корыстные), то зрелище этого глупого (тайного) тасканья было особенно печальным (нестерпимым). Мать, растерявшись, покрывшись болезненным румянцем, пыталась было схватить чью-то руку, но рука эта так трепетала таким жалким потом, была так морщиниста, стара (окаймлена сломанными ногтями), что она (отшатнулась, все поняла), в одно мгновение и всего ужаснулась — и тому, что кому-то надо воспрепятствовать в этом мучительном (злодеянии) — и тому, что люди, с которыми она выросла, не помня себя, уносят шкафы и простыни из ее дома. Вещи были отправлены большой скоростью. Родственники, расплакавшись, увязывали тюки. Они вдруг опомнились и сидя на тюках (сердце их двинулось) и сказали, что они — они остаются в (Кременце) и никогда его не оставят. Старуха сунула (слово неразборчиво) в тюки кухонный топчан и корыто для выварки белья. — Ты увидишь, — сказала она сыну, — нам понадобится все это в Москве. И потом, (мне) нельзя, чтобы от шестидесяти лет жизни не оставалось ничего кроме пепла в душе и слез, которые текут уже тогда, когда не хочешь плакать... — У старухи, когда отправляли вещи на вокзал снова появились пятна во впадинах щек, и глаза заблестали настойчивым, слепым страстным блеском. Она металась по оборванной, загрязненной квартире, сила вела трясущееся старое плечо (вела) вдоль стен, с которых свисали рванные куски обоев.

Утром — в день отъезда, Эстер повела детей на кладбище. На нем, под талмудическими плитами в провалах столетних дубов, были похоронены еще раввины, убитые казаками Гонты и Хмельницкого. Старуха подошла к могиле мужа, вздрогнула и выпрямилась. — Мариус, — сказала она (рвущимся голосом), — твой сын везет меня в Москву... Твой сын не хочет, чтобы меня положили рядом с тобой... — Она не отводила глаз от обрыжевшего холма с осыпавшейся ноздреватой землей — и глаза ее все расширялись — сын и дочь крепко держали ее за руки. Старуха качалась, тихонько падала вперед, прикрывала

глаза, сухие руки ее, отданные детям, напрягались, обливались потом (и) слабели. Глаза ее все расширялись и пылали светом. Она вырвалась, упала в шелковой своей кофте на могилу и стала биться. Все тело ее содрогалось и только рука с жадной нежностью гладила желтую землю и шуршащие цветы. — Твой сын, Мариус, — высокий голос оглашал еврейское кладбище, — везет меня в Москву... Попроси, Мариус, чтобы он был счастлив... — Она проводила кривыми, путающимися как при вязаньи, пальцами по земле, прикрывавшей (мертвеца) и покорно встала и потащилась, когда сын дал ей руку. Борис шел по тропинке, прикрытой ветвями дубов — и все существо его пылало и поднималось вверх от каменного давления слез на глазницу и горло. Он узнал вкус слез, которые никуда не уходят и остаются (в человеке). У ворот старуха остановилась. Она высвободила свою руку (пронизываемую, обтекаемую), на которой пот возникал стремительно, как подземный источник, то кипящий, то мертвенно-холодный (студеный) — и помахала кладбищу и могиле, как будто они отплывали от нее. — Прощай, мой друг, — сказала (тихо) она, не плача (не дергась), — прощай...

Так оставила семья Эрлихов свою родину.

IV

Борис повез свою семью в севастопольском экспрессе. Он взял билеты в мягкий вагон. На станцию их вез знаменитый когда-то своим шутовством (присказками) и громадными воронными лошадьми балагула Бойчик. Прежних лошадей у него уже не было, ветхий тарантас влекла гигантская белая кляча с отвислой розовой губой. Сам Бойчик постарел, его скрючил ревматизм. — Смотри, Бойчик, — сказала маленькой круглой его спине Эстер, когда тарантас, кружа, подъезжал к станции, — я вернусь в будущем году. Ты должен быть здоров к этому времени... Холмик на спине Бойчика сделался еще острее. Белая кляча ставила в грязь подагрические несгибающиеся ноги. Бойчик обернулся и показал вывороченные кровавые веки, кривой кушачок и пыльные пучки волос, лезшие из крохотного ли-

чка. — (Навряд ли, мадам Эрлих), — и вдруг завопил, — с ярмарки, с ярмарки домой...

Мягкий вагон был переделан из бывших вагонов (слово неразборчиво) Эстер сквозь широкие зеркальные окна в последний раз увидела сбившуюся толпу родных, рыжие пальто, солдатские обмотки, косые тальмы — старых сестер с большими, уже ненужными грудями, шурина Самуила, бывшего коммуножера, с вздутым перекошенным лицом, шурина Ефима, бывшего богача, в обмотках на сухих старческих бездомных ногах. Они толкались на перроне (как...) и что-то выкрикивали, когда поезд отошел. Сестра ее — Геня — бежала за поездом —

(В рукописи нет одной страницы).

Он показывал ей Россию с такой гордостью и уверенностью, точно эта страна создана была им, Борисом Эрлихом, и ему принадлежала. Впрочем, до некоторой степени так это и было — во всем — и в международных вагонах — и в отстроенных сахарных заводах, и в восстановленных ж.-д. станциях — была капля его меду, меду или крови комиссара корпуса (червоного казачества).

(Вычеркнуто полстраницы).

...Вечером он потребовал для всех белье и с детской гордостью показал как открывается синий свет на ночь и сияя открыл секрет шкафчика из красного дерева. Шкафчик этот оказался умывальником — тут же в купэ. Лежа в широких прохладных простынях, укачиваемая маслянистым качанием рессор, Эстер вглядываясь в синюю тьму глазами и слушая (сердцем) дыхание сына — он вскрикивал и метался во сне — она думала — не может быть, чтобы кому-нибудь не пришлось заплатить за этот замо́к, залитый огнем люстр (согретый сияющими медными трубами), несущийся по России. Это была еврейская мысль. Она не приходила Борису в голову. Подъезжая к Москве — он все тревожился — получил ли Алешка Селиванов телеграмму и выехал ли на вокзал с машиной. Алешка телеграмму получил и выехал с машиной. Машина эта была новый тридцатитысячный Паккард штаба РККА. Она отвезла Эрлихов в давно приготовленные Борисом комнаты на Осто-

женке. Алешка даже свез кое-какую мебель на квартиру своего товарища. И там — в двух комнатах — новое неисчерпаемое наслаждение не давало опомниться матери — он водил ее на кухню с газовой плитой, в ванную с газовой колонкой, показывал холодильные шкафы. Комнаты были великолепны. Они составляли часть квартиры, занимавшейся до революции помощником московского генерал-губернатора. И таская мать по кухням, ванным, антресолям княжеской этой квартиры Борис, сам того не сознавая, — исполнял предназначение древней семитической своей крови. Кладбище и могила неудачливого, ничего не дождавшегося его отца разбудила в нем ту могучую страсть семейственности, которой столько столетий держался его народ. На тридцать третьем году, повинаясь древним этим велениям, он ощутил себя отцом и мужем и братом — защитником женщин, их кормильцем, их опорой — и ощутил это со страстью, с мучительным и упрямым сжатием сердца, свойственным его народу. (Его мучила мысль — отец не дождался — и он хотел загладить вину опоздания тем, что мать, сестра перешли (от отца) в твердые руки — и если им будет лучше в этих руках, чем раньше — то таков безжалостный ход жизни.

V

Борис Эрлих студент Психо-неврологического ин-та (до революции во всех других университетах была процентная норма для евреев) проводил лето 17 года у своих родных в местечке. Обходя пешком окрестные буйные села, он объяснял крестьянам основы большевистского учения. Этой пропаганде мешал горбатый нос Эрлиха, мешал, но не слишком, в 17 году не до носов было. В то же лето к бухгалтеру уездной земской управы приехал из Верхоянской ссылки сын Алеша. Отдыхая от тюрьмы, поглощая родительские настойки и вареники с вишнями — Алеша раскопал, что род Селивановых происходит от бунчужного полковника Запорожской Сечи — Селиха. В бумагах повета он разыскал даже литографированный портрет своего предка в жупане с булавой, верхом на картонном коне — на портрете была выцветшая надпись по латыни. — Алеша

утверждал, что он узнает руку Орлика, украинского канцлера при Мазепе. Романтические эти изыскания сочетались в Алеше с принадлежностью к партии социалистов-революционеров. Перед глазами его стояли образы Желябова, Кибальчича, Каляева. В двадцать один год жизнь Алеши была полна. Юношескую его страсть возмутил Эрлих, носатый студент университета со странным наименованием. Они сдружились и Алеша сделался большевиком, когда оказалось, что нет такой партии в мире, которой больше надо было бы драться, ломать и двигать, чем партии полной такой математической и ученой страсти (о книгах и Коммунистическом Манифесте позаботился Эрлих). После переворота Алеша собрал своих местечковых друзей — девятнадцатилетнего еврея, механика из кино «Чары», другого еврея — кузнеца, неприкаянных нескольких унтер-офицеров и несколько ребят, вольницу из соседнего села. Он посадил их на коней и отряд стал повстанческим полком красных украинских казаков. Унтер-офицера сделали начальником штаба, Бориса комиссаром. Так как в Алешином полку дрались за ошутительно правое дело и в нем бойцы жили дружно, умирали гордо и ввали нивесть что — то к отряду что ни день прибывали силы — и он испытал судьбу ручейков — из которых сложилась Красная Армия. Из полка — стала бригада, из бригады — дивизия, дрались с бандами, с Петлюрой, с добровольцами, с поляками. При полках были уже политотделы, хозчасти, трибуналы и трофейная комиссия. Во Врангелевскую кампанию Алешка вступил командиром корпуса. Ему было в это время 24 года. Иностранные газеты писали о Буденном и об Алексее, что они изобрели новую тактику и стратегию кавалерийской войны. Академики стали изучать молниеносные рейды Алексея Селиванова. Слушатели академии решали тактические задачи, изучая операции корпуса украинских казаков. Вместе с ними изучали собственные свои операции Селиванов и бессменный его комиссар, посланные в Академию. — В Москве они образовали вместе с бывшим киномехаником и с бывшим унтер-офицером коммуны. Как и в корпусе честь и чувство товарищества — высоко, с мучительной страстью держал Борис Эрлих... Оттого ли, что раса его так долго лишена была лучшего

из человеческих свойств — дружбы в поле и в бою — Борис испытывал потребность, голод к дружбе и товариществу — (к защите, и верности в товариществе) — так болезненно, что в этом отношении в его дружбе можно было заметить болезненную горячность. Но в этой горячности и рыцарственности и самопожертвовании было то (притягательное) облагораживающее, что делало всегда конуру Бориса клубом «красных маршалов». Клуб этот пышно расцвел, когда к столу вместо колбасы МСПС и водки стала подаваться фаршированная рыба. Вместо жестяного чайника появился самовар, привезенный из Кременца и чай разливала старушечья успокоительная рука. Много лет — Алексей Селиванов — и бригадные его командиры не видели старушки за самоваром. Эта перемена была им приятна. Старуха была кротка и боязлива. И тиха, как мышь, а в фаршированной ее рыбе (пальцы над самоваром) чувствовалась (история еврейского народа), истинная с большим перцем страсть.

VI

По началу, из-за этой рыбы на Остоженке сгустились тучи. Жилица-профессорша сказала в кухне, что благодарение Богу, квартира совершенно провоняла. И действительно — с переездом Эрлихов душок чеснока, жареного луку (шиб) уже в передней...

И. Бабель

ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба: пример взводного развращает бойцов. Надо составить сопроводительную записку на пленных и отправить их в штаб для опроса.

Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова:

— Ты через очки смотришь на свет, — сказал он, глядя на меня с ненавистью.

— Через очки, — ответил я, — а ты как смотришь на свет, Голов?

— Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь, сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егереvские кальсоны пленного.

— Ты офицер, — сказал Голов, закрываясь рукой от солнца.

— Нет, — услышали мы твердый ответ.

— Наш брат таких не носит, — пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его белели и расширялись.

— Матка вязала, — сказал пленный с твердостью. Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его вились баки.

— Матка вязала, — повторил он и опустил глаза.

— Фабричная у тебя матка, — подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с упирающегося поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к Голову, осторожно снял у него с рук мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и легонько взмахнув плетью, отъехал от нас. Солнце вылилось в это мгновение из-за туч. Оно ослепительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качания ее куцого хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул: — «Республика наша живая еще, Андрей. Рано дележку делать. Скидай барахло».

Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена, — произнес тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок и цепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедленно повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк, — закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса, — как бы я не стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери. Тебе десяток шляхты прибрать — ты вон как у суету поднял. По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело..

И победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом. Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В одной первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия и в третьей — наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежащими пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки и на шербатой, оранжевой лысине Шульмейстера закипал сияющий на солнце пот.

Вы иуде, пане, — шептал он, судорожно лаская мое стремя.

Вы — визжал он, брызгая слюной и корчась от радости.

— Стать в ряды, Шульмейстер, — крикнул я еврею и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь: — почему вы знаете?

— Еврейский сладкий взгляд, — взвизгнул он, прыгая

на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след, — сладкий взгляд ваш, пане...

Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опомнился медленно как после контузии. Начальник штаба приказал мне распорядиться пулеметами и уехал к частям. Пулеметы втаскивали на пригорок как телят на веревках. Они двигались рядом, как дружное стадо и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах. И я увидел радугу на железе. Поляк, юноша с вьющимися баками, смотрел на них с деревенским любопытством. Он поддался всем корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к Голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голова поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на ученьи. Медленным движеньем отдающей женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на лице Голова. К нему легко вернулся румянец.

— Нашему брату матка таких исподников не вяжет, сказал он мне лукаво. — Вымарай одного, давай записку на восемь штук...

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием:

— Ты за все ответишь, Голова.

— Я отвечу, — закричал он с невыразимым торжеством, — не тебе, очкастому, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберет...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум прервал меня тотчас. Черкашин, штабной холуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, сле-

довал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне.

И. Бабель, Глихстаь, 4.8.23.



Я сегодня прочитал за завтраком:
«Все права сохранены за автором».
Я в отместку тоже буду щедрым
Все права сохранены за ветром,
За звездой, за Ноевым ковчегом,
За дождем, за прошлогодним снегом.

Автор с общественным весом,
Что за права ты отстаивал?
Право на пулю Дантеса
Или веревку Цветаевой?

Право на общую яму
Было дано Мандельштаму.

Право быть чистым и смелым,
Не отступаться от слов,
Право стоять под расстрелом
Как Николай Гумилев.

Авторов только хватило б
Ну, а права — как песок.
Право на пулю в затылок,
Право на пулю в висок.

Сколько тончайших оттенков!
Выбор отменный вполне:
Право на яму, на стенку,
Право на крюк на стене,

На приговор трибунала,
На эшафот, на тюрьму,
Право глядеть из подвала
Через решетки во тьму,

Право под стражей томиться,
Право испить клевету,
Жить, как живет Солженицын
С кляпом бессменным во рту!

Вот они — все до единого —
Авторы, — наши права.
Право на пулю Мартынова,
На семичастных слова,
Право как Блок задохнуться,
Как Пастернак умереть.
Эти права нам даются
И сохраняются впрямь.

...Все права сохранены за автором.
Будьте трижды прокляты, слова!
Вот он с подбородком к небу задранным
По-есенински осуществил права!

Вот он, современниками съеденный,
У дивана расстелил газетины,
Револьвер рывком последним сгреб —
И пускает лежа пулю в лоб.

Вот он, удостоенный за книжку
Звания народного врага,
Валится под лагерною вышкой
Доходягой на снега.

Господи, пошли нам долю лучшую,
Только я прошу Тебя сперва:
Не забудь отнять у нас при случае
Авторские страшные права.

Иван Елагин

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Мервиль уехал, я после этого еще долго оставался на Ривьере и вернулся в Париж только в начале октября. Я думал не без некоторого удовольствия о том, как я войду в свою квартиру и снова обрету те привычные удобства, которых я был лишен во время моего отсутствия из Парижа, — мое кресло, мой стол, мои книги над головой, мой диван, расположение всех предметов, каждый из которых я мог найти с закрытыми глазами, все, в чем прошло столько дней моей жизни и в чем не было никакого элемента неизвестности. Это было иллюзорным ограждением от внешнего мира и уходом от всего, что меня иногда так тяготило в отношениях с людьми и в необходимости поддерживать эти отношения. Я видел перед собой книжные полки, стены без гравюр и картин, строгую правильность линий стола, стульев, занавесок на окнах, прямоугольники зеркал в передней и ванной, ту геометрическую стройность, которая в такой совершенной степени отсутствовала в моей внутренней жизни, во всех этих провалах и исчезновениях того, что в течение некоторого времени я склонен был считать самым важным и существенным, и в возникновении чего-то, что я не мог себе представить еще минуту тому назад, — словом, в той бесформенной и неизменно смещавшейся действительности, над которой у меня не было власти, как ее не было ни у кого другого. Я думал о знакомой уютности зимних вечеров, когда за окном льет ледяной дождь и ровным светом горит лампа над креслом или над письменным столом, о белых, туго натянутых простынях моего дивана и о том, как каждую ночь, ложась спать и выкурив последнюю папиросу, я погружаюсь в мягкое небытие, которого я так боялся, когда был ребенком — потому что мне

каждый раз казалось, что я больше никогда не проснусь, — и к которому я с тех пор давно привык, как к теплой могиле. Я думал обо всем этом, подъезжая поздним вечером к дому, в котором я жил. Потом я широко открыл глаза от удивления: окна моей квартиры были освещены. Я не понимал, что могло произойти и кто мог там находиться. Я поднялся по лифту и отворил ключом дверь. Знакомый женский голос спросил с интонацией, которую я хорошо знаю:

— Кто там? Это ты?

Эвелина! Я меньше всего ожидал ее появления здесь — как встречи с Мервилем на юге. Я давно и хорошо знал Эвелину, так же, как ее знали Мервиль и еще двое наших университетских товарищей, Андрей и Артур, входившие в наш своеобразный и нерасторжимый союз, которого нельзя было бы себе представить без нее. Она была хороша собой, у нее были черные волосы и синие, холодные глаза, она была несомненно умна, очаровательна и, когда она этого хотела, неотразима; но я не мог себе представить более абсурдного и вздорного существования чем то, которое она вела. Она была наполовину испанка, наполовину голландка. Ее отец был богатым человеком, владельцем каких-то плантаций в Южной Америке, где он жил почти безвыездно, посылая своей дочери в Европу довольно крупные деньги, которых ей никогда не хватало. Время от времени он терял терпение, переставал отвечать на ее письма, приток денег прекращался и Эвелина оставалась без копейки. Тогда она переезжала к Мервилю или ко мне и ее пребывание у нас продолжалось ровно столько времени, сколько проходило до того дня, когда ее отец возобновлял свои денежные переводы. Затем снова начинались те нелепые события, которые составляли ее жизнь. Она была артисткой, балериной, журналисткой, переводчицей, — и каждый очередной эпизод ее существования кончался какой-то невероятной путаницей, в которой никто ничего не понимал и в которой все оказывались пострадавшими в той или иной степени, — все, кроме Эвелины. У нее были бурные увлечения, часто казавшиеся нам непонятными, которые кончались так же внезапно, как начинались. Когда она к нам возвращалась, то через некоторое время ока-

зывалось, что мы все были вовлечены в то, что с ней происходило и каждому из нас приходилось чем-то для нее жертвовать, — Мервилю деньгами и своим спокойствием, мне — тем, что в моей собственной квартире я переставал себя чувствовать дома, так как всюду была Эвелина — в спальне, в ванной, в столовой; в моем шкафу висели ее платья, на моем кресле оказывалась ее сумка, в ящиках моего письменного стола ее браслеты, серьги, ожерелья и кольца. Когда она была с нами, все мы, помимо нашего желания, были втянуты в какое-то стремительное движение и это продолжалось до тех пор, пока она не исчезала опять — и после этого все медленно начинало приходить в порядок.

— Ее несчастье в том, — сказал мне однажды Мервиль, — что много лет тому назад она взяла какой-то неудержимый разгон и никак не может остановиться. Что ей было бы нужно, это задержаться и задуматься о том, какой смысл имеет это хаотическое и беспорядочное движение ее жизни. — Ее несчастье и наше несчастье, не забывай этого. — Такова, повидимому, наша судьба, — сказал он. — Ты видишь возможность это изменить?

— Увы, нет, — ответил я. — Я не знаю, почему, но я твердо убежден, что этой возможности у нас нет.

Я знал в течение сравнительно короткого времени ее близость — и этого нельзя было забыть, глубины ее чувства, непередаваемых интонаций ее голоса, выражения ее глаз, душевной теплоты, мгновенного понимания каждого эмоционального движения, всего, что ее делало непохожей на других. И потом, без того, чтобы этому предшествовали размолвка или охлаждение, все это прекратилось и на следующий день Эвелина вновь возникла в своем обычном облике, — холодные ее глаза, такое впечатление, что между ней и мной никогда ничего не было, стремительность ее решений и поступков и наконец ее исчезновение, — «прощай, не забывай меня, мы может быть еще встретимся».

Никто из нас никогда не мог ей сопротивляться и никто не пробовал этого делать. Она могла быть утомительна и несносна, но никто из нас никогда не сказал ей ни одного резкого

слова и не отказал ей ни в одном требовании. Никто из нас не понимал, почему мы это делали. По отношению к ней мы все вели себя так, точно мы имели дело с каким-то отрицательным божеством, которое не следует раздражать ни в коем случае — и тогда может быть оно растворится и исчезнет.

То, что о ней сказал Мервиль, было верно, но это было не все. В ее глазах, например, была холодность, которая была ей не свойственна, так что они выражали то, чего в ней не было и это могло ввести в заблуждение всех, кто не знал ее так хорошо, как мы. В ее поведении была нелепость, которая тоже была чужда и подлинному ее характеру и ее уму. Ее бурные чувства и увлечения были, в конце концов, поверхностными и не задевали ее души. Все, что она делала, и то, как она жила, казалось неправдоподобным и поэтому раздражающим. Но до сих пор никому не удавалось это изменить.

— Я тебя не ждала, — сказала она. — Откуда ты?

— Я приехал с юга. И если я тебе скажу, что я тоже не ожидал тебя здесь встретить, ты, наверное, не удивишься.

— Я не хотела жить у Мервиля, — сказала она. — Знаешь почему? У него слишком много места. Здесь у тебя как-то уютнее.

Я очень польщен этим предпочтением.

— Когда ты излечишься от твоей постоянной иронии?

— Мы об этом поговорим в другой раз, — сказал я. — Если ты ничего не имеешь против, я хотел бы принять ванну.

— Мой милый, это невозможно. Ванна забита. Я вызывала водопроводчика, он обещал прийти на-днях.

— Печально, — сказал я.

— Да, еще одно. Тебе придется спать на твоём диване просто под одеялом, в пижаме. Ты помнишь, впрочем, я всегда находила, что спать голым, как ты это делаешь, неприлично. Я отдала в стирку все твои простыни. Они лежали в чистом белье, но были какие-то серые. Осталось только две простыни для меня.

— Эвелина, на твою жизнь никто никогда не покушался?

— Нет, — сказала она с такой теплой и неудержимой улыбкой, которая сразу изменила ее лицо, и за которую ей

можно было простить все. — Но, повторяю, я тебя не ждала. Я спрашивала Мервиля, когда ты вернешься, он мне сказал: — ты знаешь, с ним никогда ничего неизвестно. — Я так хорошо здесь отдыхала одна. Но я не могу на тебя сердиться, я всегда питала к тебе непонятную слабость.

Временную и незаслуженную, — сказал я.

— Ты неисправим, — сказала она со вздохом. — Хочешь чаю?

Она оставалась в моей квартире еще три недели, в течение которых я был, в сущности, лишен дома. Только за несколько дней до ее отъезда я заметил некоторые признаки того изменения, которое должно было наступить в ближайшем будущем. Она стала подолгу отсутствовать и возвращалась с оживленными глазами. И когда она спросила меня, понимаю ли я и понимал ли я вообще когда-нибудь, что такое настоящее чувство, я вздохнул с облегчением. Потом она мне сказала, вернувшись однажды в сумерках:

— Мой дорогой, можно тебя попросить об одном одолжении? Ты можешь сегодня ночевать не дома?

— Ты мне разрешаешь вернуться завтра?

— Только не очень рано утром, хорошо?

Я ночевал у Мервиля. Когда я вернулся домой на следующий день, в квартире был необыкновенный беспорядок. Но Эвелины не было. Она оставила записку:

«Мой дорогой, я уезжаю. Я не могу тебе рассказать в двух словах, что произошло. Во всяком случае я исчезаю — как ты выражаешься — надолго, может быть, навсегда. И если ты вспомнишь обо мне, подумай о том, что я впервые в жизни по настоящему счастлива».

Я потратил два дня, чтобы вновь сделать мою квартиру такой, какой она была до появления Эвелины. Я стирал с зеркал следы губной помады, которую она почему-то пробовала именно таким образом и следы пудры с моих книг. В ящике моего письменного стола я нашел чулок, который она там забыла. Мне пришлось купить новый гребешок, потому что мой она сломала, расчесывая свои густые волосы. Умывальник и ванна были опять забиты мокрой ватой, которую она употреб-

ляла в неумеренном количестве и в самых разных обстоятельствах. Она даже ничем не прикрыла постель, на которой провела ночь, оставив ее совершенно всклокоченной.

Мне понадобилось время, чтобы окончательно прийти в себя и медленными, постепенными усилиями восстановить то состояние, в котором я находился до тех пор, пока не увидел Эвелину. И я думал, что идея отрицательного счастья, — устранение бедствия, — заключает в себе такое богатство содержания, которого раньше я не мог себе представить.

И я вновь вернулся к той блаженной пустоте, о которой мы говорили с Мервилем на берегу Средиземного моря. После напряженной многомесячной работы, предшествовавшей моему отъезду на юг, мне было необходимо, — так, по крайней мере, мне казалось, — отсутствие какого бы то ни было усилия. Но совершенной пустоты все-таки не могло быть. Время от времени в моей памяти вставали те или иные образы или события, безмолвно возникавшие передо мной в далеком пространстве — события, образы, некоторые движения, некоторые слова, некоторые интонации, имевшие когда-то значение и потерявшие его теперь. Как это говорил Мервиль? «Исчезновение того лирического мира...» И я вдруг вспомнил, как он рассказывал мне вечером, на юге, накануне своего отъезда в Париж, то, что с ним случилось в поезде и чего он, по его словам, не мог забыть. В тот вечер я слушал его невнимательно и думал о чем-то другом; к тому же, история, которую он рассказывал, была как будто списана из какого нибудь фривольного журнала и то, что с ним произошло, было совершенно непохоже на него. В спальном вагоне он познакомился с миловидной, скромно одетой дамой. Разговор с ней кончился так, как это обыкновенно происходит в фарсах, к которым он питал такое непреодолимое отвращение, которое я всецело разделял.

— Так все это могло казаться, — сказал он мне, — но это было что-то совсем другое.

Он говорил об этом с необыкновенным волнением. Он сказал, что никогда в жизни он не знал ничего похожего на это, не потому, что эта женщина оказалась замечательнее других,

а оттого, что он испытал ощущение трагического восторга, которого не знал до этого.

— Почему трагического?

— Я не могу тебе этого объяснить, — сказал он. — Что могло бы быть, казалось бы, подлее и вульгарнее такого дорожного приключения? Но клянусь тебе, что это было совсем не то. Я ничего не знаю об этой женщине. Но по первому ее слову я бы отдал ей все, что у меня есть.

— И ты совершенно не знаешь, кто она такая?

Нет, он этого не знал. Она сошла в Ницце, он поехал дальше. Она дала ему свой ниццкий адрес и свою фамилию и сказала, что он может прийти к ней, когда хочет. В тот же день, вечером, он явился туда. Он помнил адрес наизусть: такая то улица, гостиница «Феникс». Но никакой гостиницы там не оказалось и никто не знал той фамилии, которую ему дала его спутница, — мадам Сильвестр. Он провел трое суток в Ницце, ища ее повсюду, но нигде не мог ее найти.

— Ты знаешь это впечатление, которое нельзя смешать ни с чем другим — когда ты видишь человека первый раз и через несколько минут тебе начинает казаться, что ты знал его всю жизнь. В ту ночь я понял, что никогда не знал счастья до этой женщины и что именно ее я ждал все эти годы. Судьба дала мне самое ценное, что мне было суждено на этом свете — и я его потерял.

— Какого она была вида?

Он ответил, что она была блондинка с черными глазами, высокого роста, что у нее был непередаваемый взгляд, что она говорила по-французски без южного акцента.

— Я никому не рискнул бы это рассказать, — сказал он. — Но ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, что я меньше всего похож на любителя таких вагонных приключений. Даю тебе слово, что это в такой же степени не характерно для нее.

И вот теперь, через несколько дней после отъезда Эвелины, я вдруг вспомнил об этом разговоре с Мервилем. Я знал, что он всегда был склонен к преувеличениям, не в том смысле, что он говорил неправду, а в том, что события, случавшиеся с ним, казались ему полными значения, которого они чаще

всего были лишены. Может быть, то, что произошло в поезде и чего он не мог забыть, было для его соседки чем-то обычным, случавшимся с ней далеко не первый раз. Но в конце концов это было не так важно. Существенно было то, как именно это представлял себе Мервиль, который действительно никогда не был искателем таких сомнительных историй. Я подумал о том, куда могло завести этого человека его постоянное ослепление или, вернее, та воображаемая действительность, которой он жил и которая тотчас же возникала, как только происходило какое-нибудь событие, заслоняя его, меняя его облик, как сумеречный свет меняет иногда очертания. Порой я невольно начинал ему завидовать — потому что я давно потерял доступ в тот иллюзорный мир, в котором он жил, и которого не могла разрушить никакая очевидность. Вместе с тем, я привык к мучительным усилиям воображения, которых требовала моя литературная работа. Но я столько раз заставлял себя переживать чувства моих героев, что под конец у меня не хватало сил для самого главного, — преображения моей собственной жизни. И та пустота, в которой я находился теперь, была в сущности, непосредственным результатом именно этого порядка вещей.



Была середина ноября, на редкость холодного и дождливого, когда ко мне однажды явился Андрей, один из наших товарищей, с очень неожиданной просьбой — сопровождать его в Перигё. У него был такой расстроенный вид, он находился в таком смятении, что мне стало его жаль. Он был инженер, очень милый человек, отличавшийся необыкновенной чувствительностью, которая, как я всегда думал, объяснялась тем, что его нервная система никуда не годилась. Он боялся всего — темноты, больших пространств, грозы, вида крови. То, что для других людей составляло обычное существование, было для него жестоким испытанием и каждый поступок, который он должен был совершить, требовал от него особенного усилия. В этом смысле он отличался своеобразным мужеством, потому что ему удавалось побеждать свой постоянный страх,

чем-то похожий на разбросанную манию преследования, бесформенную и угрожающую. Эта борьба с самим собой иногда совершенно изнуряла его, у него бывали припадки слабости, обмороки, сердечные перебои. Он пришел ко мне, упал в кресло, выпил чашку горячего кофе — руки его дрожали, губы дергались от волнения — и сказал, что я оказал бы ему большую услугу, если бы согласился поехать вместе с ним в Перигё, к его старшему брату, с которым произошел несчастный случай: он чистил ружье, оно выстрелило и ранило его очень серьезно, он, может быть, при смерти. Его старшего брата мы все знали хорошо по Парижу. Его звали Жорж, он был теперь состоятельным человеком, владельцем нескольких земельных участков возле Перигё, где он постоянно жил и куда он переехал из Парижа после смерти своего отца, сделавшего его своим единственным наследником и ничего не оставившего Андрею, младшему сыну.

Разговаривать с Андреем, как с нормальным человеком, было невозможно. Он торопился, хотел немедленно выезжать, но категорически заявил, что не поедет поездом, так как у него предчувствие, что случится катастрофа. Он предпочитал ехать на автомобиле, который ждал нас внизу и который ему дал Мервиль.

— У тебя гораздо больше шансов попасть в автомобильную катастрофу, чем в железнодорожную, — сказал я. — Ты только посмотри на себя, ты все время дрожишь. Едем поездом, хотя я не вижу, чем я тебе могу быть полезен.

— Нет, я тебя умоляю, — сказал он. — Я сяду в машину и просто закрою глаза.

— В поезде ты тоже можешь их закрыть.

— Нет, я с тобой буду спокойней. Ты сядешь за руль, — ты понимаешь, в таком состоянии я не могу править, я с трудом доехал от Мервиля к тебе, — и мы прямо поедem туда.

Он был совершенно невменяем и было ясно, что если я ему откажу, это вызовет истерический припадок. Я пожал плечами и согласился, хотя у меня не было ни малейшего желания ехать в Перигё.

Я сохранил самое отвратительное воспоминание об этой

поездке. Дождь лил, не переставая, колеса автомобиля скользили на скверной дороге, узкой и взгорбленной, все терялось во влажном тумане — луга, рощи, дома. По дороге мы ночевали в какой-то гостинице, с плохим отоплением и сырыми простынями. И когда мы наконец приехали в Перигё, выяснилось, что сообщение о несчастном случае с выстрелившим ружьем, не соответствовало действительности. Не было ни ружья, ни, строго говоря, несчастного случая. Было просто убийство. Жорж был найден в своей кровати с разможженным черепом.

Комната носила следы отчаянной борьбы. Что касается истории с выстрелившим ружьем, то ее придумала экономка Жоржа для того, чтобы постепенно, как она выразилась, подготовить Андрея к истине. Но не говоря о том, что эта постепенность существовала только в ее воображении, вообще подготовить Андрея к такой истине было совершенно невозможно. Он начал с глубокого обморока, за которым последовал сердечный припадок. Самое удивительное, однако, было то, что он всегда ненавидел своего брата и его судьба мало его трогала. Но на него произвели необыкновенное впечатление чисто внешние обстоятельства — труп в доме, то, что Жорж не просто умер, а был убит и то, что на него, Андрея, обрушилось это бедствие. Зная его, я понимал, что смерть брата, как таковая, конечно, его волновала меньше, чем удар грома в летнем небе или необходимость пройти одному через пустынное поле. И когда он несколько оправился от своего недомогания, вызванного потрясением, которое он испытал и в котором смерть Жоржа играла далеко не самую главную роль, он сказал мне:

— Знаешь, я продам теперь все эти земли, брошу службу, куплю себе небольшой дом где-нибудь на юге и наконец займу спокойно. Ты тогда приедешь в гости ко мне, ты обещаешь? Твой отказ меня бы очень огорчил.

— Боюсь, что до этого, то-есть до покупки дома на юге, тебе придется пройти через множество формальностей, — сказал я. — Но что ты вообще думаешь обо всем этом?

— Это, конечно, ужасно, — сказал он совершенно спо-

койным голосом. — Но ты знаешь, я всегда был склонен к религии.

— Я никогда этого не замечал.

— Ты просто не обращал на это внимания. Ты помнишь, в Евангелии сказано, что без воли Господа ни один волос не упадет с головы человека? Я преклоняюсь перед волей Всевышнего.

Мы сидели перед огромным камином, в котором дымились сырые дрова. Я быстро посмотрел на Андрея и подумал, что странности этого человека не ограничивались его болезненной боязнью событий. На его лице было выражение спокойствия, какого я до сих пор у него не видал. Но это продолжалось недолго и он снова начал волноваться, когда экономка сказала ему, что его хочет видеть инспектор полиции.

Это был человек средних лет с замкнутым выражением лица, неподвижными глазами и резким голосом, лишенным гибкости. Он спросил, кто мы такие, что мы здесь делаем, кто нас известил об убийстве и что мы об этом знаем.

— Мы только что приехали из Парижа, — сказал Андрей, — и это я должен был бы вас спросить, что вам известно о том, что произошло с моим братом. Я вам никаких указаний дать не могу по той простой причине, что я видел Жоржа последний раз два года тому назад.

В каких вы были с ним отношениях?

— Извините меня, пожалуйста, — сказал Андрей с резкостью, которая меня удивила, — но это вас совершенно не касается.

— Разрешите мне самому судить о том, что меня касается.

— Сколько угодно, — ответил Андрей. — Но я напоминаю вам, что я брат покойного, что меня вызвали из Парижа, я приехал сюда и узнал о его трагической смерти. Я полагаю, что это достаточное испытание и хотел бы быть избавленным от неуместных вопросов. Если вы хотите получить подробные сведения обо мне, обратитесь к мэру города: он был личным другом моего отца и знает меня с детства. Не смею вас удерживать.

Инспектор ушел, не попрощавшись.

— Какой бестактный субъект! — сказал Андрей. — Я уз-

наю трагическую новость, которой, может быть, мои нервы не в состоянии перенести и сюда вдруг является какой-то фрукт, который собирается устраивать мне допрос, ты себе представляешь? Нет, всякой бесцеремонности есть границы.

— Он на меня произвел впечатление человека не блестящего, — сказал я, — но согласись, что его любознательность понятна. Теоретически говоря, он должен найти убийцу. Ты имеешь какое-нибудь представление о знакомствах и частной жизни твоего брата?

— Нет, — сказал Андрей, — и по правде говоря, это меня никогда не интересовало.

— Кто-то его все-таки убил и какая-то причина для этого была.

— Вероятно, — сказал Андрей все с тем же спокойствием. — Но неужели тебя это так занимает?

— Как тебе сказать? Да, в известной мере. Если хочешь, чисто логически: мы знаем следствие, надо было бы узнать причину.

— Я надеюсь, — сказал Андрей, пожав плечами, — твоя наивность не доходит до того, чтобы предполагать, что все происходящее подчинено законам логической зависимости?

— Нет, — сказал я, — если бы это было так, все было бы слишком просто. Но все-таки, даже в чисто эмоциональной области логика нередко играет, как мне кажется, значительную роль. Это не всегда похоже на классический силлогизм, но это все-таки своеобразная логика. Если ты найдешь к ней ключ...

— Как к зашифрованной депеше?

— Если хочешь.

Андрей наклонился и бросил в камин небольшую щепку. Потом он поднял на меня глаза и сказал:

— Я тебе скажу откровенно, что я думаю: я не знаю и не интересуюсь знать, как и почему это произошло. Но одно я знаю: этот человек — я имею в виду моего брата, Жоржа, — не заслуживал ничего другого.



Я вернулся в Париж на следующий день, оставив в Перигё

Андрея, который, казалось, совершенно справился со своими нервами. Он долго благодарил меня за «моральную помощь», которую я ему оказал и обещал, что в Париже он мне расскажет обо всем, что ему удастся узнать. Я не мог отделаться от крайне странного впечатления, которое на меня произвело поведение Андрея. Я убедился, что его страх перед всякими событиями был больше всего метафизическим, он боялся не вещей, а своих собственных представлений, чаще всего произвольных. Его равнодушие к трагической судьбе его брата тоже казалось мне по меньшей мере удивительным. Я знал, что он ненавидел Жоржа, но все-таки я не ожидал от него такого спокойствия, не характерного для него ни при каких обстоятельствах вообще. Он вел себя как человек, который присутствует при совершенно естественном явлении, — точно жизнь его брата должна была кончиться именно так, как это произошло, этим «несчастливым случаем» — слова, которые упорно повторяла его экономка, от которой нельзя было добиться никакого толка. Ее печальная и спокойная глупость была настолько непоколебима, что разговор с ней по этому поводу, — так же, впрочем, как по всякому другому, — не мог привести ни к чему. Она только повторяла, что все это случилось глубокой ночью и что в доме не было никого, кроме ее хозяина и ее самой.

— Все-таки был еще кто-то, кто его убил, — сказал я.

— Я не знаю, — сказала она, — я никого не видела и не слышала, чтобы кто-нибудь входил. А у меня очень чуткий сон.

Я пожал плечами и отказался от дальнейших вопросов. Когда Андрей приехал в Париж — это было дней через десять — и пришел ко мне, я его спросил:

— Ты что-нибудь выяснил?

— Состояние оказалось несколько меньше, чем я предполагал, — сказал он. — Некоторые неудачные финансовые операции...

— Постой, это не так интересно, — сказал я. — Как продвигается расследование?

— В вечерних газетах ты прочтешь об аресте предполагаемого убийцы, — сказал Андрей. — Это бывший садовник Жоржа, Поль Клеман, человек с уголовным прошлым, которого

он недавно рассчитал и который неоднократно говорил, что он ему отомстит. Он, между прочим, категорически отрицает свою вину.

— После убийства была обнаружена какая-нибудь кража?

— Бумажник Жоржа, в котором, вероятно, было несколько тысяч франков.

А какие улики против Клемана?

— Улик, собственно говоря, нет, есть только подозрение.

— Ты лично считаешь его виновным?

Он отрицательно покачал головой. Он очень изменился за эти дни и от его прежней неуверенности в себе не осталось следа. Казалось, что смерть его брата подействовала на него так благотворно, как не мог бы подействовать никакой курс лечения. Я подумал о том, как плохо мы все знали Андрея и тотчас же после этого у меня мелькнула мысль, что он сам себя тоже не знал и так же, как мы, не мог предвидеть той перемены, которая с ним произошла.

— Слушай, Андрей, — сказал я, — мне кажется, что у тебя есть какие-то предположения о том, почему Жорж был убит. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление.

— Есть вещи, о которых трудно говорить, — сказал он. — Но твоя любознательность совершенно праздная. Какое значение для тебя имеет вся эта история? Алгебраическая задача? Что тебе до Жоржа, например? Ты всегда относился к нему отрицательно.

— Да, конечно. Но вот, скажем, арестован его садовник, который, может быть, тут не при чем.

— Если он, как ты говоришь, не при чем, то рано или поздно его выпустят. Но представь себе даже, что его приговорят к пожизненному заключению. В этом тоже не было бы никакого несчастья и никакой несправедливости, строго говоря. Это пьяница, ежедневно избивающий свою жену и своих детей и если он сгниет в тюрьме, то жалеть об этом не стоит.

У тебя очень своеобразное представление о правосудии.

Тут у меня нет особенных иллюзий, — сказал он, — я ему цену знаю.

Поэтому ты считаешь, что тот, кто действительно убил Жоржа, имеет какое-то право уклониться от ответственности?

— Этот вопрос мне кажется второстепенным, — сказал он. — Я не хочу рассматривать общую систему идей морального порядка, ты понимаешь? Я беру отдельный, совершенно определенный случай, убийство Жоржа. Вот мои заключения. Во-первых, никому решительно, кроме, пожалуй, его экономки, эта смерть не доставила никаких огорчений.

— Ах, да, экономки, у которой такой чуткий сон, как она говорит.

— Я не знаю, какой у нее сон, — сказал Андрей, — но могу тебе сообщить, что она каждый день к вечеру мертвецки пьяна. Но я продолжаю.

— Да, я слушаю.

— Во-вторых, есть один человек, которому переход Жоржа в лучший мир оказался очень кстати. Этот человек — я.

— Ты забываешь, что это все-таки твой брат.

— Я ничего не забываю, — сказал Андрей. — Как ты хочешь, чтобы я оплакивал Жоржа, который не дал бы мне корки хлеба, если бы я умирал с голода? Теперь я бросил службу, мне не надо думать о будущем и я наконец начну жить так, как хотел жить всегда. Я не хочу сказать, что я должен быть благодарен неизвестному убийце.

Он поднялся с кресла, на котором сидел и стал ходить по комнате.

— Если его найдут и он, как говорится, заплатит свой долг обществу, это будет понятно и законно. Но это дело полиции и судебных властей, а не мое. Дальше. Участь садовника, — ты со мной согласишься, — тоже не заслуживает того, чтобы о ней беспокоиться. Что остается? Праздный, в сущности, вопрос: имел ли право или, вернее, достаточные основания этот неизвестный человек так действовать? Этого мы не знаем. Я тебе могу только сказать, что если бы существовала та справедливость, о которой ты говоришь, то я не знаю, на чьей стороне она оказалась бы — на стороне убитого или на стороне убийцы.

Ты не думаешь, что это могло быть трагической случайностью?

— Это мне кажется чрезвычайно маловероятным. Но одно мне представляется несомненным: Жорж не ожидал покушения на его жизнь. Все произошло в несколько секунд. Я думаю, что он был убит, когда он спал.

— Это не совсем так, мне кажется. Вспомни, что комната носила следы борьбы.

Он опять отрицательно покачал головой. Я с удивлением посмотрел на него.

Что ты хочешь сказать?

Никакой борьбы не было.

Как не было?

Рапорт об этом составил тот полицейский инспектор, который, помнишь, приходил меня допрашивать. Ты был бы склонен доверять его заключениям?

— У меня было впечатление, что в смысле умственных способностей он вряд ли ушел далеко от экономки, — сказал я. — Но это только впечатление, может быть, ошибочное.

— Я эту комнату видел, — сказал Андрей. — Мебель действительно была перевернута. Но это было сделано с чрезвычайной осторожностью. Стекланные вещи не были разбиты. Ковер не был помят. Тяжелое старинное кресло, которое при падении должно было сломаться, цело. Ни на одном зеркале нет царапины. Часы, стоявшие на ночном столике, лежали на полу и ни один винтик не пострадал. Ты понимаешь?

— Другими словами, все это было сделано, чтобы ввести полицию в заблуждение?

Самым очевидным образом. И пропавший бумажник тоже.

Стало быть, садовник действительно не при чем.

Вне всякого сомнения.

Ну да, — сказал я. — Мы предполагаем, значит, что убийца вошел в дом ночью, что Жорж был убит во сне и что никакой борьбы не было. Убийца был человеком необыкновенного хладнокровия. Причины, по которым он действовал, неизвестны. Это приблизительно всё.

— Может быть, это была ревность, — рассеянно сказал Андрей. — Я имею ввиду мужскую ревность, — прибавил он, встретив мой вопросительный взгляд. — В последние годы своей жизни Жорж, кажется, интересовался молодыми людьми, отличающимися некоторыми особенностями... Ты понимаешь?

Я пожал плечами.

— Ты видишь теперь, — сказал Андрей, — что вся эта темная история не стоит того, чтобы мы с тобой теряли время на ее обсуждение. Некоторые ее последствия — другое дело. Я имею ввиду дом на юге.



В течение нескольких недель, после моей парижской встречи с Андреем, никакие внешние события не нарушали того душевного бездействия, в котором я теперь проводил свое время. Я сравнительно редко выходил из дому, никого не видел и читал случайные книги, которые мне попадались под руку. Несколько раз я вспоминал о поездке в Перигё, но без той вспышки интереса, которая у меня была вначале. Я знал из газет, что Поль Клеман был обвинен в убийстве и что во время допросов он не мог сколько нибудь связно рассказать о том, где именно он находился в ту ночь, когда Жорж был убит. Он говорил, что был пьян и ничего не помнил. Но так как домой он вернулся только под утро и до этого времени его никто не видел, то его объяснения были признаны недостаточными.

Через некоторое время все это стало казаться мне похожим на тягостный сон: сомнамбулическая экономка с неизменным выражением печальной глупости в глазах, внезапная перемена, которая произошла с Андреем, дом Жоржа с огромными, плохо отапливаемыми комнатами, осторожно перевернутая мебель, о которой Андрей мне говорил и наконец то, что я так мало знал моего старого товарища, которого я не считал способным ни к такому поведению, ни к такой наблюдательности. Но все это и не имело особенного значения, как, впрочем, ни что другое. Уже давно я замечал, что не только у меня, но у многих людей моего поколения началась эта потеря интереса к проис-

ходящему, которая со стороны должна бы казаться по меньшей мере преждевременной. То, что нас интересовало раньше, и что должно было, казалось, сохранить свое значение при всех обстоятельствах, медленно уходило от нас, бледнея и удаляясь. Может быть, это следовало объяснить усталостью, которая незаметно, все эти годы, проникала в нас, заставляя нас вести какое-то отраженное существование, нечто похожее на механическую последовательность поступков, слов и суждений, которые заменили настоящую жизнь, ту какую мы должны были вести, если бы все было нормально. Я с удивлением вспоминал, как еще не так давно я ночами сидел за книгами, в которых обсуждались те самые проблемы, которые теперь оставляли меня совершенно равнодушным. Но все-таки, время от времени я возвращался к вопросу о том, что произошло в Перигё. Я был твердо убежден, что результат судебного процесса не даст ответа на этот вопрос, независимо от того, каким будет решение присяжных.

Суждение Андрея о Клемане казалось мне все-таки слишком жестоким, хотя факты его в общем подтверждали: этот человек действительно был злобным пьяницей, действительно избивал жену и детей и в сущности теперь расплачивался именно за это, потому что если бы он был другим, подозрение в убийстве могло бы его не коснуться. Я понимал, как мне казалось, что соблазн подобного обвинения был слишком очевиден для того, чтобы люди, ведущие следствие, не поддались ему, может быть, искренно полагая, что они правы.

Я думал об этом, однако, не потому, что стремился во что бы то ни стало найти ответ на вопрос о том, что произошло в Перигё, — а заставлял себя возвращаться к этим размышлениям потому, что они каким-то образом связывали меня с действительностью, которая все время от меня ускользала. В этом искусственном уединении, в моей квартире, где не было никого, кроме меня, где всегда стояла тишина и не было никакого движения, я сидел часами в кресле с потухшей папиросой в рту и если бы Андрей мог видеть меня в этом состоянии, он конечно, не упрекнул бы меня в праздном интересе к чему бы то ни было. Мне ничего не было нужно и я с недоумением иногда

вспоминал о Мервиле и его судорожных поисках лирического мира, без которого жизнь казалась ему пустой.

Всякому факту, который теоретически мог бы произойти, предшествовало мое убеждение в его конечной несостоятельности и в том, что если бы он не произошел, это тоже было бы неважно — ощущение, к которому я в начале отнесся как к тревожному признаку душевного разложения, но к которому я давно привык. Это не было, однако, сознательным предпочтением созерцания действию: я был убежден, что даже если бы мне удалось понять до конца значительное количество вещей и если бы годы уединения оказались в этом смысле чрезвычайно плодотворными, это тоже ничего не изменило бы и не вернуло бы мне того бурного ощущения жизни, которое уходило от меня как тень, не оставляя за собой даже сожаления, но увеличивая немой груз ненужных воспоминаний, который я влечил за собой всю свою жизнь, как в прежние времена каторжники свое чугунное ядро, прикованное к ноге, *le boulet de trente six*, о котором я еще ребенком читал во французских романах начала прошлого столетия. Что-то когда-то произошло, чего я в свое время не заметил и не понял и что предопределило то состояние душевной пустоты, в котором я теперь находился. Я знал еще несколько лет тому назад притяжение «лирического мира», которое составляло смысл существования Мервиля, но и оно ушло от меня, бесшумно и незаметно, как все остальное. Может быть, существовали вещи, ради которых действительно стоило жить и для достижения которых не было жаль никаких усилий? Вероятно, я смутно все-таки верил в это; вернее, не я, а та совокупность нервов и мускулов, которая составляла меня, — она верила в это и потому моя жизнь состояла из неопределенного ожидания чего-то, чего я не знал и это было, быть может, только ошибкой ощущения, чем-то похожей на оптический обман, который заставляет нас видеть в воде согнутое под углом изображение палки, которая пряма, как стрела.

Может быть, это было именно так. Но в том мире и среди тех событий, в которых протекала моя жизнь, я не находил ничего, что стоило бы пристального внимания. И если я про-

должал в нем существовать и даже проявлять к нему некоторый внешний интерес, то это объяснялось, во всяком случае, не праздным любопытством, в котором упрекал меня Андрей, а судорожным желанием создать себе какое-то подобие жизни, для которого у меня, казалось, не оставалось внутренних оснований. И так как вещи, которых я был свидетелем, казались мне недостаточно значительными, я старался всячески их дополнить, втиснуть их в какую-то систему идей и убедиться в их соответствии уже существующим законам, которые предопределяли их развитие. Я знал, однако, что и это предположение было в сущности произвольным, потому что законы не предшествовали действительности, а следовали за ней и были в какой-то степени ее временным отражением — с той разницей, что она менялась, а они оставались неподвижными.

Я вспомнил, что некоторое время тому назад мне пришлось разговаривать с одним адвокатом, специалистом по уголовным делам. Его взгляды мне показались слишком упрощенными: может быть, это объяснялось тем, что он принадлежал к крайне левой политической партии и ее примитивные концепции оказали на него известное влияние. Он был убежден, что огромное большинство преступлений объясняются бедностью и недостатком образования. Мне трудно было бы с ним спорить и это не входило в мои намерения. Его познания в истории преступлений были чрезвычайно обширны. Он сказал:

— Посмотрите: такой-то, такой-то, такой-то. Убийство, ограбление, сведение счетов, снова убийство. Кто эти люди? Один маляр, другой кровельщик, третий сутенер, четвертый каменщик или литейщик, пятый батрак. Если это женщина, то это либо горничная, либо прачка, либо проститутка, либо наконец крестьянка.

Я привел ему другие примеры: аптекарь, врач, сын банкира. Он стал доказывать, что социальное соотношение бесспорно: девяносто процентов преступлений совершается людьми «снизу», как он выразился. Он обвинял в этом среду, воспитание или, вернее, отсутствие воспитания, нищету, условия жизни, государство. Он пользовался этими же доводами на

процессах, где он выступал. Его речи имели успех у его политических единомышленников и некоторой части аудитории, но очень редко у судей. Однако, если они не разделяли его взглядов на вину государства или бытовых условий, которые способствуют тому, что человек становится преступником, то убеждение, что уголовные поступки чаще всего совершаются людьми «снизу», казалось бесспорным. Другими словами, если бы одно и то же обвинение было теоретически предъявлено — с одинаковой степенью недоказанности, — рабочему или банковскому служащему, то осужден был бы вероятнее всего рабочий. Против него была статистика, — те немые цифры, которые вдруг оживали и приобретали значение страшной угрозы.

Поэтому я думал, что положение Клемана, если бы в течение следствия не произошло никакой сенсации, которая изменила бы все, было почти безнадежным. Я знал, что участь Клемана Андрея не интересовала, — прежде всего потому, что Клеман избивал своих маленьких детей, что Андрей считал большим преступлением, чем убийство. — Что изменится в мире, если будет открыта истина? — сказал он мне во время нашего последнего разговора. — Будет, как ты говоришь, одной несправедливостью меньше? Но у нас разные понятия о справедливости. Представь себе человека, который совершил преступление, оставшееся нераскрытым. Затем, через некоторое время его осуждают по обвинению в другом преступлении, в котором он действительно не виноват. Ты скажешь, что это судебная ошибка. Хронологически — да, ты прав. Но только хронологически. В остальном, люди, осудившие его, поступили совершенно правильно, хотя они сами этого не подозревают. Это другой вид справедливости и нисколько не менее убедительный. Ты не думаешь?



Я сохранил в памяти все сколько нибудь знаменательные даты этого периода времени. Я помнил, в частности, что двадцать четвертого ноября, выходя утром из дому, я встретил Эвелину, о которой ничего не знал с того дня, когда она уехала

из моей квартиры. Ее появление было настолько неожиданным, что я остановился, как вкопанный на пороге.

— У тебя такое выражение лица, что можно подумать, что ты увидел призрак, — сказала она, улыбаясь. — Я к тебе только на одни сутки. Ты уходишь? Дай мне ключ, я поднимусь сама.

— Нет, я предпочитаю подняться вместе с тобой, — сказал я. — Ты действительно только на один день?

— Да. Я хочу принять ванну, что-нибудь съесть и отдохнуть.

В передней она сбросила шубу, поправила перед зеркалом прическу и сказала, что идет принимать ванну.

— На этот раз она не забита, — сказал я.

— Тем лучше. Ты выйдешь что-нибудь купить к чаю? Масла, ветчины? Купи мне красной икры, пожалуйста.

Я спустился вниз за покупками, потом вернулся и накрыл стол. Через несколько минут Эвелина вышла из ванной в моем купальном халате и села против меня. Когда она отпила глоток чая и съела первый бутерброд с икрой, я спросил ее:

— Что происходит в твоей жизни?

— Если я тебе скажу, ты не поймешь.

— Я все-таки постараюсь.

— Ты знаешь, что такое метампсихоз?

Я сбоку посмотрел на нее. У нее были те же ясные глаза с холодным выражением, которое я хорошо знал.

— Ты наверное очень устала, — сказал я неуверенно.

— Я предупреждала тебя, что ты не поймешь.

После некоторого молчания я спросил:

— При чем тут метампсихоз и что все это значит?

— Я счастлива, — сказала она. — Ты понимаешь? Счастлива. У меня нет ни копейки, нет квартиры и я счастлива как никогда не была счастлива до сих пор.

Она так настойчиво повторяла это слово «счастлива», что у меня было впечатление, что она сама себя хочет в этом убедить.

— Я понимаю, но почему метампсихоз?

— Я звонила Мервиллю, — сказала она, не отвечая, — но

его не было дома. Он мне очень нужен. Я позволю ему через полчаса отсюда, я хочу предложить ему одно дело. Я бы предложила это тебе, если бы у тебя было достаточно денег.

Я сумрачно на нее смотрел. До сих пор дела, в которых участвовала Эвелина, неизменно кончались катастрофой для всех кроме нее. Она мне объяснила, что на этот раз она собирается открыть ночное кабаре и извлекать из него некоторый постоянный доход, который позволил бы Котику заниматься метампсихозом.

— Кто такой Котик и что значит заниматься метампсихозом? — спросил я. — Ты говоришь об этом так, точно это профессия или работа.

— Котик? — сказала она и в глазах ее появилось далекое выражение. — Один из самых замечательных людей, каких я знала в моей жизни.

И она стала мне рассказывать о Котике, который в ее описании выходил не столько замечательным, сколько чрезвычайно странным человеком. До недавнего времени он был инженером, где то служил и все шло более или менее нормально, пока он не встретил того, кто стал, по его словам, его духовным отцом. Это был — опять таки, по словам Котика — мудрец, погруженный в глубины восточной философии. После долгих разговоров с ним и после того, как Котик прочел книги, которые ему дал мудрец, он понял, что вся его жизнь была чудовищной ошибкой. Он объяснил это Эвелине. Он понял, что в нем, Котике, заключена частица той божественной и бессмертной материи, за которую он несет ответственность перед вечностью, что после его смерти, — которую теперь он склонен был рассматривать, как короткий этап эволюции, теряющейся во времени, — после его смерти эта частица перейдет в другое существо, после смерти этого существа в следующее и через три тысячи лет она вернется к нему, Котику и круг будет замкнут. Затем начнется новая эволюция. Никакие материальные соображения не имеют значения. Наша физическая оболочка — это только телесные границы заключенного в нас бессмертного духа. Забота о них недостойна человека.

— Ну да, — сказал я, — этот утомительный бред можно

продолжать до бесконечности. Согласись, однако, что это очень странное соединение — метампсихоз и ночное кабарэ. И почему у тебя нет ни квартиры, ни денег?

Она начала говорить о пифагорейцах и о Платоне, потом сказала, что в жизни Котика метампсихоз занимает такое место, что у него не остается времени думать о материальной стороне жизни. Поэтому она, Эвелина, должна взять эту заботу на себя — отсюда идея кабарэ. Все это было так нелепо и так по детски глупо, что я не понимал, как Эвелина, с ее умом и жизненным опытом, могла находить это приемлемым. Я сказал ей об этом.

— Но ты пойми, сказала она, — я живу теперь в другом мире.

— Все это так на тебя не похоже. В другом мире ... А в каком мире ты собираешься открывать кабарэ?

— Об этом сейчас будет речь, — сказала она. — Я иду звонить Мервилю. Алло! Да, это я. Я звоню из квартиры нашего друга, — она назвала меня. — Я хотела с тобой поговорить о деле. Ночное кабарэ. Да, все буду вести я. Да. Как нет денег? Этого не может быть. Это очень просто, ты отложишь свой отъезд на один день.

Я понимал, что Мервиль пытался защищаться, но я слишком хорошо знал Эвелину и знал, что исход предрешен заранее. Мне хотелось ему помочь, но я не видел, как это можно сделать.

— Завтра, — говорила Эвелина. — Мы обсудим это подробно. Я еще не знаю. Не так много, в конце концов. Хорошо, значит до завтра. Часов в десять утра.

Посмотрев внимательно на ее лицо, я сказал:

— Ты полна энергии, как всегда, но вид у тебя очень усталый. Как твоё здоровье?

— Об этом я забыла тебе сказать. Мне надо делать операцию и на это тоже у меня нет денег.

— Ты знаешь, — сказал я, — что тут тебе ни о чем беспокоиться не надо. Позвони по телефону, поезжай в клинику и не думай ни о чем. Но какая операция?

— Глупейшая, — сказала она, — аппендицит. Но до это-

го я во всяком случае должна повидать Мервиля. А сейчас я хочу отдохнуть.

Она легла в кровать — и через пять минут уже спала глубоким сном. Я вышел из дому и поехал к Мервилю, с которым у меня был долгий разговор. Я советовал ему сослаться на срочные платежи и сказать Эвелине, чтобы она отправила своему отцу телеграмму, составленную в самых патетических выражениях.

— Почему она вдруг решила открывать кабарэ? — спросил Мервиль.

— Это из-за метампсихоза. Не смотри на меня так, спешу тебе сказать, что с ума я не сошел.

И я подробно рассказал ему о том, что мне говорила Эвелина.

— Нет, всему есть все-таки границы, — сказал Мервиль. — Этому надо положить конец.

— Когда у тебя будет уверенность в том, что ты можешь это сделать, не забудь позвать меня, я хотел бы при этом присутствовать.

— Я тебе всегда говорил, что в этом есть какое-то колдовство, — сказал он. — Иначе чем объяснить, что она делает с нами все, что хочет? Почему ты должен уступать ей свою квартиру, из которой она тебя чуть ли не выгоняет? Почему я всегда обязан за нее платить? Мне денег не жалко, это ерунда, но это вопрос принципа. И вот теперь метампсихоз, какой-то Котик, о котором мы не имеем представления и ночное кабарэ. Нет, это слишком. Но когда я вспомню ее глаза... Как ты говорил? Какое в них выражение?

— Неумолимое, по моему. Но ей нужно теперь отказать без всяких объяснений.

— Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. У тебя когда-нибудь хватило мужества отказать ей в пользовании твоей квартирой?

— Нет, но в деньгах, я думаю, я мог бы ей отказать.

— Это ты говоришь только потому, что она к тебе за деньгами не обращалась.

Я сидел и смотрел в окно. Мне всегда нравился дом Мер-

вила, который он купил несколько лет тому назад у какого-то разорившегося миллионера. Огромные, во всю стену, окна выходили в сад, кончавшийся аллеей, деревянные переплеты которой были густо обвиты плющом. Аллея вела к железным воротам, выходившим на одну из тихих улиц, недалеко от Булонского леса. Ноябрьский дождь шумел за окном.

— Что же делать? — спросил Мервиль.

Он решил, в конце концов, уступая моим настояниям, принять план, который я ему предложил. Эвелина отправит длинную телеграмму своему отцу, объяснив ему, что она собирается открывать коммерческое предприятие и начинать новую жизнь. — К тому же, это действительно так, — сказал Мервиль. В том случае, если отец откажет ей в деньгах, Мервиль постарается найти какой-нибудь другой выход из положения. Это по крайней мере давало ему отсрочку — при условии, что Эвелина согласится ждать. Мервиль настаивал на том, чтобы я непременно присутствовал при его разговоре с Эвелиной.

На следующий день, через час после назначенного времени, Эвелина приехала к Мервилю на такси. Из моей квартиры она ушла рано утром. Она вошла в комнату, где мы сидели, посмотрела на меня и спросила:

— Это что? Заговор? Будь добр, — сказала она, обращаясь к Мервилю, — пошли горничную заплатить за такси. Как ты сюда попал?

Этот вопрос относился ко мне.

— Случайно, — сказал я. — Но это вышло кстати, это дает мне возможность еще раз видеть тебя.

— Оставь нас вдвоем, — сказала она, — мне надо серьезно поговорить с Мервилем.

— У меня от него нет секретов, — сказал Мервиль. — Мы все старые друзья, нам нечего скрывать друг от друга. Я тебя слушаю.

В течение сорока минут — я следил по часам — Эвелина рассказывала нам о том, как она предполагает устроить кабаре, — программа, импровизации, оркестр, цыганские скрипки, столики, освещение, туалеты: это было похоже на прекрасный репортаж. Она даже села к роялю и, аккомпанируя

себе, спела испанскую песенку. Голос ее вдруг изменился и я узнал в нем давно забытые интонации, которые я слышал в тот короткий период времени, когда она действительно питала ко мне слабость, как она выражалась. Потом она перешла к деловой стороне вопроса.

Она ушла поздно вечером, после ужина, унося с собой чек, который ей дал Мервиль. Но первый раз за все время она была не так неумолима, как всегда и согласилась ждать ответа из Южной Америки. После ее ухода Мервиль сказал:

— Я думаю, что я обязан тебе значительным сокращением расходов. Я был готов к худшему. Я тебе чрезвычайно благодарен.

— Милый друг, — сказал я, — твоя благодарность направлена не по адресу. У меня по этому поводу нет никаких иллюзий, я так же бессилен против Эвелины, как и ты. Ты должен быть благодарен не мне, а Котику.

— Ты думаешь?

— Разве ты не заметил, как она смягчилась, когда она пела, думая о нем?

— Да, может быть это Котик, — сказал он. — Кстати, что он собой представляет?

— Не могу об этом судить, — сказал я, — я никогда его не видел. Но ты знаешь, что Эвелина выбирает своих любовников только среди так называемых порядочных людей. Тут за нее можно быть спокойным.

— И почему вдруг этот нелепейший метампсихоз?

— Тут я на твоём месте воздержался бы от критики. Вспомни о своих собственных увлечениях. С тобой это тоже могло бы случиться, не в такой карикатурной форме, конечно, но могло бы. Конечно, это нелепо. Эвелина говорила со мной о пифагорейцах и Платоне.

— Интерес к этому мне вовсе не кажется чем-то неестественным.

— Вообще говоря, нет, конечно. Но у Эвелины это случайное отражение тех самых чувств и ощущений, в результате которых она открывает кабаре. Ты видишь, откуда возникает

воспоминание о философских доктринах и о том, что мы называем культурным наследством Эллады?

— Если это даже так, то что в этом дурного? — сказал Мервиль. — В конце концов, все это — слепое пантеистическое движение мира, выражающееся в неисчислимом множестве форм и вне этого нет жизни.

— Я понимаю, — сказал я. — Но некоторые формы мне хотелось бы из этого исключить.

— Мы не можем произвольно их исключать или не исключать. Мы вынуждены принимать мир таким, каким он создан, а не таким, каким мы хотели бы его видеть.

— Я мог бы тебе возразить и на это, — сказал я, — но уже поздно и это завело бы нас очень далеко. Я только должен лишний раз констатировать, что до тех пор, пока ты не впадаешь в твой очередной сентиментальный транс, ты рассуждаешь в общем как нормальный человек. Как обстоят твои дела в том, что ты всегда называл лирическим миром?

— Так же, как это было тогда, когда мы встретились с тобой на Ривьере, — сказал он, вставая. — Все пусто и мертво и даже музыка звучит так же печально, как она звучала тогда, в этом стеклянном ресторане, где играл на рояле этот круглоголовый импровизатор в смокинге.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов

НА ПРАЧЕЧНОМ МОСТУ

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшись в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться,
— сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
таращится, забыв о поплавке,
на зыбкое свое изображение.

Река его то молодит, то старит.

То проступают юные черты,
то набегают на чело морщины.

Он занял наше место. Что ж, он прав!

С недавних пор все то, что одиноко,
символизирует другое время;

а это — ордер на пространство.

Пусть

он смотрится спокойно в наши воды

и даже узнает себя. Ему

река теперь принадлежит по праву, как

дом, в который зеркало внесли,

но жить не стали.

1968

СОНЕТ

Как жаль, что тем, чем стало для меня

твое существование, не стало

мое существование для тебя .

... В который раз на старом пустыре

я запускаю в проволочный космос свой

медный грош, увенчанный гербом в

отчаянной попытке возвеличить

момент соединения ... Увы,

тому, кто не умеет заменить

собой весь мир, обычно остается

крутить щербатый телефонный диск,

как стол на спиритическом сеансе,

покуда призрак не ответит эхом

последним воплям зуммера в ночи.

1967

Эти стихи Иосифа Бродского мы получили из СССР и печатаем их
без ведома и согласия автора, в чем приносим ему наши извинения.

РЕД.

1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь,
поскольку больше дней, чем свеч
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймешь, что скупость — лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам —
чистосердечный дар.

Иосиф Бродский. 1965

СИРИУС

Война была еще словом невоплотившимся. О ней говорили, как о комете, грозящей столкновением с землей. И никто не знал, что она уже началась. Утром в Адмиралтействе стало известно о движении германского флота на восток. Полагали, что он идет к Финскому заливу, чтобы уничтожить внезапным ударом царский Балтийский флот. Но к вечеру германская эскадра в составе двенадцати больших кораблей и шести малых подошла к Либаве. Два крейсера, приблизившись к берегу на дистанцию сорока кабельтовых, открыли огонь. Ни одна пушка с берега не ответила. Чтобы не пустить вражеские суда в порт, местное начальство применило севастопольский метод, решив принести в жертву «Сига» — подводную лодку, одну из первых в русском флоте. От старости она не годилась к бою. Ее поставили поперек канала, соединяющего аванпорт с ковшем, и открыли кингстоны. Чтобы больше загромоздить проход, взорвали разводной мост перекинутый через канал. Было еще светло и весь город видел, как стреляли немецкие корабли, как загорелся провиантский магазин на окраине, как на пляже поднялись столбы песка и дыма. Улицы, набережные, крыши домов чернели народом. Постреляв с полчаса, крейсера отошли и скрылись за горизонтом. Не было ни убитых, ни раненых.

А в Гродно стоял плач, как во дни древних нашествий. Архиепископ Михаил с духовенством вынес из собора икону Коложанской Божией Матери и весь город прикладывался к ней со слезами. Четыре германских корпуса стояли на границе против Гродно. Русское же прикрытие — из четырех полков и одной артиллерийской бригады. С часу на час ждали появления немецких разъездов. Только к вечеру стало известно, что Грод-

См. кн. 43, 67, 88, 90, 91, 92. РЕД.

но спасено. Вильгельм отвел свои корпуса от границы, чтобы послать во Францию.

Но петербургскую публику волновали не Гродно и не Либава, а оккупация немцами Люксембурга и заточение герцогини люксембургской в одном из германских замков.



Неделя, последовавшая за объявлением войны, была поэмой экстаза. Будни ушли из жизни. Начались дни-столетия, дни-эпохи. Каждый приносил мировые события. Сначала — германский ультиматум Бельгии, требовавший пропуска немецких войск через ее территорию. Гордый отказ бельгийцев преисполнил россиян воодушевлением большим, чем их собственное вступление в войну. Бельгийскому послу, графу де Бюиссере, не давали прохода, засыпали цветами, оглушали криками — да здравствует Бельгия! — Пушечным выстрелом прозвучало объявление немцами войны Франции.

До этого война была русско-германской; теперь, как в театре, за первым занавесом поднялся второй, открывший недекорированную глубину сцены. Сараевское убийство, Сербия — разом померкли.

— Дело-то вот тут какое! — сказал Чемодуров. И Волков подтвердил:

— Да, видать что оно того!...

Ликующие толпы до позднего вечера собирались перед французским посольством. Конца не было аплодисментам, крикам, пению и вызовам членов миссии к раскрытым окнам, откуда они раскланивались, как актеры с авансцены.

— Ура! Франция с нами!...

Проходили манифестации и перед красным зданием, выходящим своими фасадами на набережную и на Марсово поле. Но британский сфинкс «молчал на весь Петербург», как выразился какой-то репортер. Джордж Бьюкенен избегал в эти дни встреч, не подходил к телефону. Лишь к вечеру, во вторник, пронеслась весть, что Англия предъявила ультиматум, требуя вывода немецких войск из Бельгии. Со стороны главного подъ-

езда, где красовался золотой лев на щите, стал собираться народ — русские и англичане, жившие в Петербурге. От них занавесили окна. Посольство, как крепость, село в осаду. Но осаждающие наутро явились в еще большем количестве и простояли весь день. Лишь с наступлением темноты открылось большое окно и голос с английским акцентом сказал по-русски: «Англия объявляет войну Германии». На другой день Австро-Венгрия объявила войну России.

— Теперь все инструменты оркестра вступили в строй, — сказал великий князь Николай Михайлович. — Что то нам сыграют — «Полет валькирий» или «Гибель богов»?



Николай Михайлович, как многие великие князья, носил генеральский мундир. Не в пример другим членам царствующего дома, он окончил в молодости Академию Генерального Штаба, но не считал себя военным человеком, увлекся историей, сблизился с профессорскими кругами, подолгу жил в Париже, был членом Французской Академии. Теперь он почувствовал, что пришло время сочетания его военных знаний с историческими.

Началось с оценок русских генералов. Про великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим, он говорил, что его способностей хватает только для командования парадом конницы. Янушкевича, начальника штаба, назвал «стратегической невинностью». Он один из первых изъявил желание ехать на войну. — И зачем едет? — ворчал Сухомлинов, — какой от него толк? Мешать только будет. — Великий князь сам знал, что толку не будет и не гнался за толком. Он не собирался как милые, простодушные Константиновичи, ехать на передовые позиции и участвовать в боях. Не собирался устраиваться в штабах, где мог бы, действительно, мешать. Цель его была — приехать, увидеть, написать.

Войну он считал событием достойным его пера и остроумия. Он ясно представлял успех в Париже своих писем с театра военных действий. Фредерик Масон будет цитировать их в Коллеж де Франс, Габриэль Ганото — ссылаться на них в Ака-

демии. Прогнозы и заключения «русского Филиппа Эгалитэ» станут предметом несмолкаемых толков в кулуарах Палэ Бурбон.

Узнав, что генерал Дубенский назначен официальным военным летописцем, он рассмеялся и захотел видеть своего соперника по перу.

— Вот кому завидую! — воскликнул великий князь, когда польщенный генерал явился к нему. — Что может быть лучше такого назначения? Состоять при особе государя, иметь доступ в Ставку, ездить по всем местам военных действий, бывать в тылу и на фронте, да это все равно, что возлежать на пиру богов!

Приятно-то оно приятно, ваше высочество, да и страшновато. Ну, как не оправдаю ожидания?... Ведь меня хвалили за слог канцеляристы, а из литераторов, — один покойный князь Мещерский, да и тот едва ли не в насмешку. — Вы, говорит, пишете так, что хоть в «Ниву»...

— Ну нашли кого вспомнить! Мещерского!... Его самого-то в «Ниве» бы не стали печатать. А у вас слог действительно хороший. Да тут ведь и мудрить много не надо. Берите пример с древнего летописца: «Отселе начнем и числа положим. В лета тысяща девятьсот четырнадцатое, вложи Сатана в сердце злохитростному и богопротивному Вильгельму...»

— Ох, не смейтесь, ваше высочество. «Великому времени нужны великие слова», как сказал мне вчера один знакомый. А что, как не найду таких слов?... Ведь даже высочайший манифест подвергся критике. Обвиняют в плагиате. Списано, говорят, с речи Александра Первого. А потом, эта «матушка Русь» из народного календаря... И вот еще беда: шлют со всех сторон советы, заваливают материалом. Какой-то чудакевед прислал ворох изречений из древних военных трактатов. Убеждает взять эпиграфом ко всему, что буду писать, слова Сун-Цзы: «Война — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять».

А ведь, в самом деле, замечательно!

— Другой пишет, что если я начну с «чудо-богатырей»

и с «осенения крестным знамением», то буду давать ответ Богу, ибо после такого вступления, он немедленно дезертирует из армии.

— А вы бы, Дмитрий Николаевич, посоветовались с литераторами.

— Пытался. Сологуб не стал и разговаривать: «Не могу давать советы генералам». Куприн сказал, что пьянство офицеров в мирное время он кое-как еще мог описывать, но войны не видал и не знает что тут нужно. К Леониду Андрееву я сам не пошел. А больше с кем и разговаривать? Нет у нас писателей-баталистов. Поэты — другое дело. Повели меня вчера в какой-то литературный кабак. Надел пиджак, сижу за столиком со своим чичероне, а уже вся публика знает кто я такой. Подходит этакий детина в сажень ростом и рычит:

Славьте войны динозавромордие,
Славьте руки высочайшей водительство!
Смелее, ваши благородия!
За перья, превосходительства!

Я уже хотел уйти, но подсел интеллигентного вида человек с голубыми глазами и начал о безднах духа, о пении серафимов, которое я должен подслушать. В этом, по его мнению, и состоит моя задача, а регистрировать факты, описывать сражения и операции — кому это нужно? Тут, кто-то с голым черепом, севший за наш стол без всякого позволения, закричал: «Неверно! Совсем неверно! Именно факт должен быть восстановлен в правах, как литературное явление. Надо уметь поднести факт, чтобы он стал словом. Только тогда слово будет Бог. Копите слова-факты, составляйте из них ряды, скрещивайте ряды, противопоставляйте слова друг другу. И, пожалуйста, отдайте приказ по армии военных корреспондентов, чтобы уничтожен был «град пуль», «залитые кровью поля» и «доблестные сыны отечества». — Как так? — Нельзя! Нельзя! Все погубите. Вас читать не станут. И вот еще что: когда будете описывать храбрость, не забудьте обо вшах, о вони, об отхожих местах... А победы генералов надо объяснять их неумением. Иначе из вас ничего кроме Тита Ливия в генеральском чине не

получится. — Ну, а если, — говорю, — они все-таки кое-что умеют? — Ничего не значит. Форма обязывает. Мотивировка победы гением полководца, теперь уже не литература... — Вот как! — засмеялся Николай Михайлович. — Почаще в такие места похаживайте!



Начались пожертвования на войну. Почин сделало петербургское дворянство, за ним калужское земство, потом раскошелилась вся Русь. Частные лица, повыждав немного, чтобы общественные организации выдохлись, пошли отваливать суммы, заставлявшие ахать весь мир. Абамелек-Лазарев — сто тысяч, эмир Бухарский — сто тысяч, Елисеевы, Монташевы, Парамоновы, Батолины сыпали и сыпали.

На улицах не смолкала военная музыка. Это полки, при несметном стечении народа, отправлялись на войну. Их забрасывали цветами, оглушали криками «ура!»

Уходил сто сорок пятый Новочеркасский, в котором служил, до своего нового назначения, Дондуа. Ему очень хотелось сходить попрощаться с товарищами. Но, как устроившемуся в тылу показаться тем, которые идут на смерть? Порой он готов был отказаться от нового назначения и вернуться к своим. Сейчас это было бы и достойно, и красиво. Но какая-то тонкая крепкая нить удерживала. Он знал, что это не трусость, но на войну не шел.

В день выступления новочеркасцев, он рано утром отправился на Литейный и смешался с толпой. С моста, от Выборгской стороны, спускалась лавина штыков светившихся, казалось, не от солнца, а от лихого марша, под который шли молодцы-новочеркасцы. Ступив на торцовую мостовую они пошли, как на параде. Тысячи рук поднялись для благословения и приветствия. Из раскрытых окон, с переполненных балконов махали платками, шарфами. Дондуа никогда не мог забыть букета хризантем, повисшего на штыке рядового четвертой роты.

— Детушки мои!... Голубчики!... — причитала стоявшая рядом старушка.

Женщины плакали и Дондуа стоило много труда, чтобы сдержаться.

Домой возвращался раздавленный, уничтоженный. Хотя он привык, за последние три недели к странным случайностям, но сегодняшней встречи на набережной никак не предвидел. К нему шел, улыбаясь, красивый полковник, разговаривавший с ним в галлерее 1812 года.

Вы меня, конечно, не помните, поручик!

— Помилуйте, господин полковник! Как же не помнить!...

— Ну и прекрасно. Будем знакомы.

Он назвалсЯ флигель-адъютантом его императорского величества Жуковым и прибавил, что поручика и всю его историю знает и может поздравить с успехом. Великие княжны его вспоминают, а цесаревич нет-нет да и спросит Марию Николаевну: «Так вы из Тамбовской губернии?»...

— Вот я и попал в скоморохи.

— Не говорите так. Вы и не знаете какие это милые существа! Тут простая детская веселость... Но вижу, что из прежнего полка вы уже выбыли и скоро, надеюсь, будем встречаться в Царском Селе.

— Ах, господин полковник, если бы вы знали!... Я только что видел, как мой полк уходил на войну, а я... Знай я, что будет война!...

— Не горюйте, поручик. Война от нас не уйдет. Все там будем. Но на войну надо идти имея что-то за плечами. Я говорю не о ранце. Вот, средневековые рыцари, помните, шли в бой повязанные шарфами своих дам. Есть у вас, простите за нескромность, прекрасная дама? Если нет — вам рано идти на войну. Обзаведитесь сначала таким шарфом, который могли бы целовать в тяжком походе, перед боем, перед смертью. Без этого замерзнете... Война страшна не пулями и бомбами, а холодом. Горе бойцу, которому нечем согреть сердце! Когда я попал на японскую войну, у меня не только «шарфа», но отца-матери не было. Приехал в Манчжурию и чувствую: один на всем свете! Никто обо мне не вспоминает, никто не знает, что я сутками валяюсь в грязи и если меня убьют, это будет никем не замеченное событие. И знаете, что меня спасло? Ты-

сяча и одна ночь... Да, петербургский двор — это сказка. Особенно в те годы. Парады, смотры, разводы, приемы королей и принцев, балы ослепительнее которых нигде не было. Я не знал, на земле я или на небе? И вот, верите ли, на войне это была моя прекрасная дама. Бывало приткнешься где-нибудь, в спокойную минуту, и вспомнишь Михайловский манеж в день полкового праздника кавалергардов. В ложах дамы, высочайшие особы, а вдоль фронта государь едет... И сразу тепло, уютно и невзгод как не бывало.

— Вы были счастливее меня. Я только мельком, со стороны видел это.

— Вот так же и я. Сначала мельком, а потом взапой... Теперь я уж не тот, но когда увидел вас в галлерее двенадцатого года, вы мне представились новым изданием меня самого. Лет двадцать тому назад, я так же очарованно смотрел на Багратиона... Не терзайтесь сомнениями, предайтесь своему влечению и постарайтесь как можно больше взять от волшебного мира. Мы еще увидимся.



В этот вечер у Петра Семеновича Лучникова был «чай», на который, как всегда, собралось много народа — члены Думы, журналисты, профессора. Политических убеждений хозяина никто толком не знал. Сам он тоже. Ни к одной партии не принадлежал, хотя относил себя к левому думскому крылу. Кто-то назвал его лидером «общественности». Восьмидесятилетняя борода, старомодное пенсне с черным шнурком, длинные волосы и вечно нечищенный сюртук давали ему неоспоримое право представлять самое популярное и самое необъяснимое из слов русского языка. Думцы любили Петра Семеновича, даже правые, и охотно посещали вечера в его доме. Там забывалась партийность, фракционность. Центристская лань сидела рядом с черносотенным зубром и социал-демократическим ягуаром. Горячились, спорили, но никогда не ссорились.

Первой явилась шумная ватага человек в восемь. Еще поднимаясь по лестнице, она кричала о переходе бельгийской

границы армией фон Эммиха, о бомбардировке Льежа, о движении на Антверпен.

Стоя в передней и слушая их гладко выбритый господин, пришедший раньше всех, говорил с укоризной Петру Семеновичу: «Вот она Русь! Уже реки слез пролиты из-за Льежа, об Антверпене стихи пишут, дамы ночей не спят при вести об аэропланах над Парижем. Ах, родной Париж!... Ах, Нотр Дам!... Ах, Пляс Вандом!... И никто не вспомнит немецкие зверства в Калише, обстрел Либава. Вот извечная болезнь нашей интеллигенции: есть хлеб своей страны, а душой жить на Елисейских Полях!

Ввалившись в переднюю и повесив котелки и тросточки, гости продолжали свои дебаты. — «Войны не будет!... Не будет!... — кричал кто-то бабьим голосом. — Госпожа Гиппиус против войны. Вышла на балкон и на всю Сергиевскую, на всю Фурштаттскую: «Не приемлю! Отрицаю метафизически и исторически!... Либо всегда можно убивать, либо никогда нельзя!»

— Ох уж это толстовство!

— Какое толстовство? Тут речь не о том, чтобы подставить правую щеку. Война, видите ли, отдаляет нас от вселенскости, от соборности. Каково?

— Сбрасывать таких дам с балкона на Сергиевскую!

— Успокойтесь. Она в меньшинстве. Даже собинный друг, Карташев, религиозно приемлет войну и составляет план расчленения Габсбургской Империи. А Башня — открыто против Семирамиды. В Башне знают, что война не отдаляет от вселенскости, но сама является вселенским сокровенным, сверхразумным делом. Погрешили-то против вселенскости, оказывается, не мы, а немцы — переполнили меру, допустили нарушение и вызвали месть Эриний. Мы же выступили принуждением Божественного Промысла и взялись за меч земной не ради захвата Того и Камеруна, а для защиты святынь и данных нам обетований духа, а через то и за вселенское свое дело.

Гости прибывали. В передней стало тесно. Прошли в гостиную и в кабинет. Через четверть часа квартира шумела. Когда Дондуа вернулся домой и пробирался по корридору в свою комнату, из раскрытых настежь дверей неслись обрывки

речей. Молодой трудовик, неизменный оратор на тему: «Эти Романовы-Голштин-Готорпские» горячо говорил о повороте в народном сознании: «Я, конечно, как был так и остаюсь противником самодержавия, но сегодня — другое дело. Эту войну я не имею оснований считать, как войну 1904 года, делом рук царя и его присных; она во многом народна. Только слепой станет отрицать это. А быть с народом наш святой долг».

Петр Семенович поспешил напомнить, как они с Павлом Николаевичем Милюковым еще за день до объявления войны пришли к заключению о неуместности продолжения оппозиции правительству.

В дверях показался невысокий человек с этрусским носом и спутанной бородкой клинышком.

— Очаровательно, Петр Семеныч, очаровательно! И как приятно, что в этой комнате впервые за девять лет, не говорят о забастовках, о еврейских погромах, о том как реакция поднимает голову... Только, вот, слышал я, что в артели вашего Павла Николаевича не все благополучно. Родичев, говорят, на дыбы встает: «неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить?»

Петр Семенович смущенно поправил свое восьмидесятилетнее пенсне и указал вошедшему на свободный стул: «А мы вас ждали».

Степана Степановича Левкоева, в самом деле, любили слушать. Почитали за ум, знания, прощали издевательства над прогрессивной интеллигенцией и сотрудничество в «Новом Времени».

— Извините если невпопад пришел, кое-что подслушал... «Проклятое самодержавие» амнистируете. Очаровательно!... Ушам не поверил.

— Но почему же? Разве во Франции все партии не примирились перед лицом внешней опасности?

— Франция нам не указ. Там возможна борьба партий, но борьба против Франции невозможна. Там никогда не было подлого словечка «пораженчество». Мнения разные, но душа у всех французская. Там политическая вражда и примирение —

вопрос рассудка, а не совести. А чтобы нам примириться с правительством, надо совершить клятвопреступление. Мы ведь его трижды прокляли, детям и правнукам заказали люциферову ненависть к нему. И вдруг мириться!... Не стыдно ли, господа? И опять же. Допустим, что при вашей богатырской поддержке, Россия победит. Разве это не будет победой и укреплением самодержавия? Не совершаете ли вы тут преступления против революционной совести?

Гостинная и кабинет разом забурили так, что трудно было разобрать кто что говорил. Но дождавшись конца бури, Степан Степанович продолжал:

— Слышал я, что господа трудовики призывают рабочих и крестьян защищать страну от внешнего врага, чтобы потом освободить. Слово «потом», надо думать, вставлено по недоразумению. Не так уж они просты, чтобы не понимать, что «потом» будет поздно. Отделаться от самодержавия легче всего, конечно, во время войны. Но если дело в том, чтобы «освободить», так не проще ли сделаться пораженцами? Вильгельм и Франц-Иосиф — конституционные монархи; победив, они безусловно распространят на нас блага парламентаризма, как Наполеон хотел, завоевав Россию, отменить в ней крепостное право. Подумайте, какая возможность! Мечты целого столетия сбудутся. Это, только глупый русский мужик мог не видеть своего счастья и встретить французов вилами. Но вы-то не мужики, вам пора научиться не упускать случай.

— Не изощряйтесь! Мы поддерживаем правительство потому, что отечество в опасности.

— Отечество? Очаровательно!... А вы бы не покраснели, если бы я преподнес вам букет ваших изречений об отечестве, хотя бы за последние десять лет? Ни одна интеллигенция в мире не оплевывала так свою родину, как вы. Разве она для вас не вертеп рабства, дикости, угнетения, черной реакции? То ли дело Франция!... Либертэ!... Эгалитэ!... Ну и любите ее. Что вам наша дура-Россия? К чему защищать такую страну?

— Мы с народом!... — раздался из кабинета почти петушиный крик.

— Потихе, потихе, господа! Я не такой уж дурачок, что-

бы поддаться вашей декламации. Фаланстер, вы ставили выше народа, еще выше поземельную общину, а когда ваши мозги озарил свет марксизма, народ вовсе перестал для вас существовать, его заменил «пролетариат». Да и в пролетариате вы видели не часть народа, а какую-то питательную среду, нужную для разведения бацилл социализма. У вас не социализм для народа, а народ для социализма. Только, вот что, народ-то вас не знает.

— Уж будто бы?

— Не будто бы, а так и есть. Хотите расскажу чего стоит ваше «единение» с народом? В воскресенье, когда вы на площади кричали «ура», встретил я одного из ваших думцев, усталого. «Мы, — говорит, — с Михаилом Владимировичем сегодня, как две курсистки, в народ ходили». — «Очаровательно, — говорю, — расскажите ради Бога? Уж не надевал ли Михаил Владимирович картуз и смазные сапоги?» Сердится. Уверяет, что они хорошо узнали народные чувства. Михаил Владимирович, при встречах с рабочими спрашивал: «Вы же совсем недавно с красным флагом выходили, а теперь «ура» кричите? Как же так?» А те ему степенно растолковывают: «Что было то было, а сейчас война всё надо забыть». Один, даже, назвал забастовки «баловством». Михаилу Владимировичу это, как маслом по сердцу. Попалась им кучка рабочих с завода Лангензипен. Михаил Владимирович к ним: «Ну как, братцы, знаете ли за что войну начинаем, меч обнажаем?» — «Да какого-то там эрцгерц-перца убили...» — «Ну, а братья славяне, а Сербия?» — «Оно, конечно... и Сербия тоже»... — «Темный, все-таки наш народ», — сокрушался Михаил Владимирович. Тут мой рассказчик и шепни одному из рабочих: «Знаете ли кто это говорит с вами? Это председатель Государственной Думы». — «Ах это тот что с золотой цепью на шее ходит?» — «Нет, то городской голова». — «Ну так он самый и есть. Это, ведь, его Дума на Невском, на пожарную каланчу похожа?». — «Да нет, то Городская Дума, а это Государственная». Вот теперь и судите, клевету ли я, когда говорю, что ваша Дума — не народное представительство, а игра в парламент?

Гостиная и кабинет опять зашумели. Но Степан Степаныч встал и поднял руку.

— И вот загадка, господа: народ не знает Думы, не знает Родзянко и Милюкова, не знает причин войны, но откуда он знает, что забастовки теперь баловство, что прежнее надо забыть и грудью стать за родину? Кто подсказал ему эту великую мысль? В этом и есть тайна народной души. Воевать то, ведь, придется народу, а не вам. Это его телами будут устилаться поля. И вот, он не хочет больше бастовать, идет на войну без всяких разъяснений с вашей и с чьей бы то ни было стороны.

— Ну, Цицерон, идите на кухню, — сказал Петр Семенович, — там Наталья Ларионовна собирается увенчать вас лавровым листом с грибками.

— Божественная! — пропел дьячком Степан Степанович и проворно исчез.

Талант! Хотя и черная сотня, а талант!

Не талант, а талантище...



Диндуа слышал, как шумели гости, но он давно научился прпускать ненужный шум мимо ушей. Не замечал и политических страстей всегда бурливших в дядиной квартире. Дядя обижался, но с некоторых пор махнул рукой.

— Фантазер ты, Александр! И как только держат тебя в полку? Комната у тебя завалена стихами... Да разве это чтение? Хотя бы военную литературу читал, раз ничто другое в голову не идет.

Но иногда он любил заходить к «принцессе грезе», как называл племянника, и усевшись на диване и раскрыв наугад какую-нибудь книжку, язвительно допрашивал его, что означает тот или иной стих.

И латник в черном не даст ответа
Пока не застигнет его заря.

Что это за латник?

Это статуя на крыше Зимнего дворца.

Ну, а какой же он ответ должен дать и кому?

— Ах, дядя Петя!...

— Простой набор слов! — ворчал Петр Семеныч. — А конец так уж совсем тарабарский.

Тогда алея над водной бездной
Пусть он угрюмей опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь.

Можешь ты мне объяснить, что за премудрость тут скрыта?

— Стихи не объясняют.

— Нет уж извини! У тебя тут каждое слово подчеркнуто и на полях восклицательные знаки. Тут ваша милость какой-то великий смысл открыть изволили...

Дондуа улыбнулся, вспомнив этот разговор. Закрыв глаза, он с упоением повторил:

Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь.

В дверь постучали.

— Александр, к тебе гости!

Вошел господин, с которым Дондуа обедал у Пивато.

— Простите ради Бога. Узнав, что вы племянник моего коллеги Петра Семеновича, я не мог устоять от соблазна... Ведь мы с вами связаны некоей тайной. Не правда ли? Сейчас, может быть, нехорошо и неуместно гадать о будущем, но не кажется ли вам, что именно в такие дни гадания прощительны и, если хотите, оправданы?

Дондуа улыбнулся: «Мне предсказано такое, что совсем не ко времени».

— Что предсказано, то предсказано, от судьбы не уйдешь. Важно — истинное это предсказание или ложное. Сам я не получил еще ни одного подтверждения, но я верю. Господин Перэн не может ошибаться. Вы — единственный, кто мог бы укрепить меня в этой вере.

— Боюсь, как бы не разочаровать... С тех пор, как мы

виделись, в моей судьбе не произошло ничего кроме перевода в другой полк.

— Patience! Patience! Не будем назойливы с фортуной. Когда объявили войну, тайный голос шепнул мне, что предсказанное близко. Живите и вы такой же верой. Когда ваш полк уходит?...

— Н...не знаю. Он... кажется не уходит. Это собственный его императорского величества железнодорожный полк.

Лицо Протопопова преобразилось, как у влюбленного услышавшего «да».

— И вы об этом молчите? И вы это считаете незначительным событием?... О, как вы молоды! Да ведь это и есть перст судьбы. Предсказанное вам начинает сбываться. Боже мой!... Не улыбайтесь, не испытывайте незримые силы, помогающие вам? Вы должны понять, что обещанная вам карьера не с гофмаршала начинается... Поздравляю! Поздравляю, мой юный друг! Теперь нет сомнений. Не могу и сказать, какими надеждами окрыляет меня ваше сообщение!



На другой день Дума была «именинницей». К одиннадцати часам она, в полном составе, явилась в Зимний дворец. Придворные, помнившие 1905 год, синие блузы, смазные сапоги, черкески, запорожские шаровары, явившиеся тогда на прием во дворец, не заметили теперь ничего портившего европейский облик депутатов. «Серые батюшки», так ужаснувшие императрицу Марию Федоровну, сменились дородным, благообразным духовенством в шелковых рясах. Николаевский зал, как в день объявления войны, был полон. Так же присутствовали особы царствующего дома, двор, правительство и так же сверкали скипетр и корона. Когда государь обратился к членам Думы и Государственного Совета с кратким приветствием и призывом помочь пережить неиспытанное испытание и закончил восклицанием: «Велик Бог земли русской!» — необъятное «ура» снова, как в минувшее воскресенье, заколебало хрусталь в люстрах. Ответные речи произнесли Голубев, заместитель

председателя Государственного Совета, и Родзянко — председатель Государственной Думы. Голубев сказал приличествующую случаю чиновничью речь, но Родзянко, воодушевлением и голосом, гудевшим, как Иван Великий, потряс весь зал.

— Ваше величество! С чувством глубокой радости и гордости услышала Россия призыв своего царя объединиться вокруг него в час страшного испытания. Россия знает, государь, что все ваше желание и все наши помыслы клонились всегда к одному — доставить вашему народу возможность спокойной жизни и мирного труда. Но страшный час настал. Все от самых смиренных до самых сильных из ваших подданных понимают важность этих исторических событий. Единство и благополучие родины в опасности...

Голосом, усиливавшимся с каждой минутой, он уверял, что народ и Дума, одушевленные пылкой верой в Небесное Провидение, встанут несокрушимой стеной вокруг своего венценосного вождя. Забывши все различия во мнениях и убеждениях они готовы из всех сил бороться за честь и славу родины. Твердо веря в небесное покровительство, они ни перед чем не остановятся, пока враги не будут сокрушены.

— Дерзайте, государь! Народ с вами!

Император сердечно благодарил за выражение патриотических чувств, сказал, что никогда в них не сомневался и закончил свое краткое ответное слово восклицанием: «С нами Бог!» Он перекрестился и за ним перекрестился весь зал. Запели «Спаси, Господи, люди твоя».

— Ну, Родзянко, — воскликнул великий князь Николай Николаевич, обнимая председателя Думы, — проси чего хочешь. Я твой до гроба!



Из Зимнего Дума вернулась в Таврический дворец. Туда же прибыли министры и дипломатический корпус. Преосвященный Антоний с думским духовенством отслужил молебен, на котором присутствовали все члены Думы, вплоть до трудовиков, мусульман и католиков. Взойдя на председательское место,

Родзянко открыл заседание возгласом: «Да здравствует государь император!» Он призывал сплотиться вокруг царя.

— Спокойно, без задора мы можем сказать нападающим на нас: «Руки прочь!»... Народ наш миролюбив и добр, но могуч и страшен, когда вынужден постоять за себя. Наши мысли и пожелания в этот час там, на границах, где бестрепетно идут в бой наша доблестная армия, наш славный флот... Помогите им Всевышний Господь, укрепи и защити!...

Рукоплескания, возгласы, пение национального гимна покрывали речь председателя. Приветственная телеграмма от сербской и черногорской Скупщины вызвала новый взрыв восторга. Последовало бурное чествование сербского посла Спалайковича. Кто-то крикнул: «Да здравствует Франция!» и зал загремел с еще большим одушевлением. Черный чуб Спалайковича сменился у барьера ложи бритым черепом Мориса Палеолога. Иступленно чествуя Францию, вспомнили про Англию. Но когда глянуло трезвое лицо Бьюкенена, аплодисменты не смолкли, но какая-то струна вдохновения лопнула и его едва хватило на чествование бельгийского посла Бюиссерэ.

Как только отгремели овации, на трибуну поднялся седой как лунь Горемыкин. Старческим, но хорошо слышным голосом, он произнес бодрящую речь, призывая, как и Родзянко, забыть распри и все другие страсти, кроме одной — победить. Эпиграммы, остроты, кулуарное злоречие, сыпавшиеся еще недавно на председателя совета министров — отступили куда-то. Старика то и дело прерывали аплодисментами, особенно, когда он приравнял начавшуюся войну к Отечественной войне 1812 года.

Но истинным триумфатором был в этот день Сазонов. Взойдя на трибуну, он долго не мог говорить из-за несмолкаемых аплодисментов. Потом, низко поклонившись Думе, начал при полной тишине:

— В трудные минуты ответственных решений, правительство почерпало силы в сознании полного единомыслия своего с народной совестью. Когда история будет выносить свой беспристрастный приговор, она не осудит нас за то, что мы не считали возможным для России уклониться от дерзкого вызова

врагов. Она не могла отказаться от лучших заветов своей истории, она не могла перестать быть великой Россией.

Газетные корреспонденты обратили особое внимание на левое крыло Думы, неистово хлопавшее в ладоши при упоминании о «великой России». С еще большим пылом хлопали словам министра о нежелании правительства согласиться на положение, при котором воля Австрии и Германии была бы законом для Европы. Обильной и хорошо слаженной аргументацией Сазонов убедил Думу в миролюбивом поведении государя во время кризиса. Горячие овации, следовавшие за его речью, означали вотум полного доверия правительству.

Цифры и проза министра финансов Барка, говорившего после Сазонова грозили потушить энтузиазм собрания, но депутаты оценили изворотливость, с которой министр спас сто миллионов рублей, лежавших в берлинских банках. Весь зал кричал «браво», когда он рассказал, как при первом же известии об австрийском ультиматуме, чиновники его министерства поехали в Берлин, чтобы изъять русские процентные бумаги и перевести суммы Государственного казначейства и Государственного банка в Россию, в Англию, во Францию. Вспомнили каламбур, пущенный кем-то, после назначения Барка министром: «Если не нашлось подходящего корабля, то можно vyplыть и на барке». Теперь признали за баркой качество хорошего судна и наградили шумными рукоплесканиями.



Не верю я нашей Думе вот ни на столько, — говорил министр Маклаков Сухомлинову и Григоровичу, по выходе из Таврического дворца.

— Как так? Неужели вам мало этого изъявления верно-подданических чувств? — удивился Григорович. На него произвели впечатление выступления депутатов, начавшиеся после часового перерыва заседания. Особенно поразил его Милюков, бранивший правительство до самого дня объявления войны, а сегодня произнесший патриотическую речь.

— Да ведь эта лисица оставила изрядный камень за па-

зухой. Неужели вы не обратили внимания, как он подчеркнул конечные цели своей партии, от которых она вовсе не отрывается? Она, видите ли, только временно подчиняет их задаче спасения родины. Бестия Керенский еще откровеннее сказал о «временности»... Хоть он и заявил, будто стихия российской демократии даст решительный отпор нападающему врагу, но помяните мое слово, не пройдет и трех месяцев, как эта стихия придумает что-нибудь...

— Ну, уж вы... знаете... нельзя так! — ворчал Григорович. Раздражение Маклакова он приписывал тому, что его имя ни разу не было упомянуто в заседании, тогда как Григоровичу и Сухомлинову устроили овацию после речи Маркова Второго.

— И что вам эта демократия далась? — пробурчал Сухомлинов. — Дрянь. Горсточка, существующая только благодаря попустительству нашей полиции.

Военный министр придавал большее значение речам литовца Ичаса и поляка Яронского, вспомнивших Грюнвальдскую битву и готовых снова бить тевтонов, как во дни Ягайла и Витовта. Понравился ему и Гольдман, сказавший, что у латышей и эстонцев, в ответ на обстрел Либавы, нет и не будет иного восклицания кроме: «Да здравствует Россия!»

— Верю, верю. И херсонскому немцу Люцу, и курляндскому Фелькерзаму. Они безусловно выступают по первому зову монарха. Верю еврею Фридману, что он пойдет «плечом к плечу» вместе со всеми племенами России. Не верю только нашей демократии — всем этим Гучковым, Милюковым, Родичевым. Вот увидите какими они сделаются, как только война разгорится! — Сухомлинов не питал нежности к Думе, но слушал Маклакова рассеянно. «Иная на сердце забота», — хотелось ему сказать. Как только автомобиль домчал его до подъезда военного министерства, речи Родзянко, Милюкова, думский шум вылетели разом из головы. Вернулись черные мысли, не покидавшие министра вот уже пятый день.

Мобилизация русской армии шла образцово, сыпались со всех сторон поздравления, благодарности, но поездка в Новую Знаменку к великому князю, по случаю назначения его верховным главнокомандующим, лишила генерала победной осан-

ки. Точно непрощенный гость вошел он в великокняжескую гостиную. В открытую дверь кабинета видно было, как Николай Николаевич заканчивал поцелуи и объятия с седеньким генералом в отставке — одним из своих прежних начальников.

— Дай Бог! Дай Бог!... На славу и защиту России! — твердил генерал, исчезая в исполинских объятиях великого князя. Он едва достигал Андреевской звезды на груди Николая Николаевича.

Сухомлинова встретила великая княгиня Анастасия Николаевна и занимала пока муж, отпустив генерала, принимал благословение и наставления высокопреосвященного Питирима. Она называла министра «ваше высокопревосходительство» и ни разу не назвала Владимиром Александровичем. А проходившего мимо Данилова окликнула: «Подождите уходить, Юрий Никифорович». «Свой» кружок, успевший образоваться вокруг великого князя, чувствовался во всем. С нескрываемым видом фаворита сидел в плюшевом кресле Янушкевич, слушавший какие-то рассуждения Кривошеина, тучный князь Орлов, переваливаясь с ноги на ногу, подходил то к тому, то к другому из гостей. Впавший в немилость при большом дворе, он оживал здесь.

Наконец Сухомлинов предстал перед верховным главнокомандующим. Пока он говорил заранее приготовленное поздравление, Янушкевич, перестав слушать Кривошеина, впился в лица министра и великого князя. Ему лучше всех были известны их отношения. Сегодня они могли круто измениться. Полагали, что великий князь скажет что-то о необходимости совместной работы, пригласит на деловой разговор с глазу на глаз. Но Николай Николаевич успел устать от поздравлений. Никто не слышал, что он ответил министру, разговор был непродолжительный.

Возвратившись с думского заседания и сидя за большим письменным столом черного дерева, Сухомлинов снова перебирал в памяти подробности новознаменского визита.ложили о приезде протопресвитера российской армии отца Георгия Шавельского. Генерал был рад ему.

— Орден, орден обещал! — крикнул он, когда отец Геор-

гий переступал порог. — А за что — так и не сказал. Как вы думаете, за что мне орден?

— Ну, за мобилизацию, конечно. Везде только и говорят... без сучка, без задоринки...

— И я так думаю. Ничего другого за мной не числится, чтобы орден получить. Но отчего же так прямо и не сказать? Это значит, легче наградить, чем признать заслугу. Вот и всегда так. Если кого не взлюбит, так даже на людях скрывать не может.

— С чего же ему не любить вас?

— Бог его знает. Никогда с моей стороны не было повода к неприязни. Верно всему причиной это несчастное верховное командование.

— Так это правда, что вас хотели назначить? Я уже второй раз слышу.

— К сожалению — правда. Государь имел намерение сам встать во главе армии, но когда высказал это на заседании совета министров, все начали умолять его не делать такого шага, особенно Горемыкин, Кривошеин, Щегловитов. Его величество поколебался. «А что скажет наш военный министр?» Я давно знал желание государя и в соответствии с ним формировал штаб и составлял положение о полевом управлении. Мог ли я в тот момент не сказать, что армия счастлива будет видеть своего верховного вождя в своих рядах? Но я прибавил, что как член совета остаюсь в одиночестве и единодушное мнение моих товарищей не дает мне нравственного права идти одному против всех. Явившись после этого заседания на доклад к государю, я услышал: «Вы пошли против меня, так я теперь назначаю вас верховным главнокомандующим».

— Ну и что же? Как же случилось другое назначение?

Сухомлинов горестно помолчал.

— А случилось так, что я не потерял головы и спросил государя, каково будет положение великого князя Николая Николаевича? Ведь я знал, что он ночей не спит, мечтая о верховном командовании. «Он будет командовать шестой армией», — ответил государь. И тут я выразил сомнение, окажется ли такой пост подходящим для великого князя. Его ве-

личество сначала стал уверять будто Николай Николаевич не согласится взять верховное командование, но потом, подумав, решил лично переговорить с великим князем. С своей стороны я доложил, что если его высочество откажется и государю угодно будет, чтобы я принял командование, то пусть распорядится мною, как ему заблагорассудится... Но помяните мое слово, не верю я, что этот человек способен спасти Россию. Господь Бог отпустил ему только одно важное качество — необыкновенную силу воли, но оно парализовано ограниченностью ума, слабостью образования, высокомерием, заносчивостью и необузданностью...

Отца Георгия Сухомлинов считал своим человеком и говорил без всякого опасения.

— Ну, будем молиться Богу! — вздохнул протопресвитер. — На все Его святая воля. Что сделано, то сделано. Долг наш, теперь, грудью встать за отечество. Тяжело становится на душе, когда слышишь такое, что довелось мне сегодня, перед тем, как ехать к вам.

— А что?

— Да что! Государыне в оба уха нашептывают о «малом дворе» в Новой Знаменке. Обеих великих княгинь изображают некоронованными царицами, а самому великому князю приписывают принятие прошений о назначении людей в такие ведомства, которые ему не подчинены. Даже прошения о помиловании, будто бы, принимает.

— Гм! Это на него похоже. Хмель быстро бьет ему в голову. Ну, а что же государыня?

— Государыня спрашивала Фредерикса — правда ли это? Граф, разумеется, успокоил, но прибавил, что к своему огорчению, имел возможность убедиться, как чувство радости по поводу высокого назначения заглушает у его императорского высочества чувство ответственности и сознание необыкновенной трудности возложенного на него бремени.

— Умница этот граф! Но вот загадка: в Петергофе знают, что государыня не любит великого князя, что государь и в мыслях не держал его назначения, и все-таки назначил, все-таки — он главнокомандующий.

— Армия, Владимир Александрович. Не забудьте какую оvation устроили ему в Николаевском зале после того, как государь покинул его. На руки подняли, ура кричали. В военных кругах были бы удивлены, если бы выбор пал не на великого князя. В нем с давних пор видели будущего главнокомандующего.

— Н...да! Приходится признать... Но чем, чем покори́л он сердца? Уж не тем ли, что у него лучшая в России конюшня, что в Першине образцовая псарня, да по матерной бранится образцово? Ведь не военными же талантами. Их нет у него. А командир он самый распушенный даже для мирного времени; это мы знаем по Петербургскому военному округу. Мне только что сообщили о панических слухах: ждут нападения немецкого флота, столица-де беззащитна с моря. С чего бы вы думали пошло это? Бьюсь об заклад, что это отголосок недавнего служебного преступления совершенного одним из помощников его высочества. Вы знаете, конечно, генерала Газенкампа. Так вот, эта разиня потеряла недавно журналы главного крепостного комитета по вопросам обороны Финского залива. И как потеряла?... Ехал на извозчике к великому князю на доклад, а у дворца сошел, забывши документы на подушке сиденья. Потом — ни извозчика, ни документов.

— Господи! Господи!

— Можно ли допустить, чтобы подобное произошло в Берлине или в Лондоне? А если бы произошло, то можно ли предположить, чтобы виновный избежал военного суда? Нашего же Газенкампа не только не судили, но мне, военному министру, не доложили об этом деле.

Ну хоть сам-то великий князь наказал его?

— Какое! Гуляет как миленький и в таком же почете, как был.

Отец Георгий уткнулся в свою черную бороду и задумался. Сухомлинов продолжал:

— Завидую тем, которые «ура» кричат, ясно у них на душе. А вот, когда знаешь в чьи руки переходит наша судьба, так не до «ура» становится. Знаете ли вы еще одну особенность великого князя? Это тоже не легкий крест, который предстоит

нести России — его любимцы. Он облеплен ими, как корабль ракушками. Все эти Влади, Коки, Жоржи, с которыми он отправляется — люди бесполезные и вредные на войне. Мне вам не нужно говорить насколько подходящ в должности начальника штаба наш милейший Янушкевич. В мирное время, это еще полбеды, а вот как подумаешь, что эта канцелярская душа встанет во главе штаба действующей армии, так холодок по спине.

Почувствовав, что разговор становится неблагоприятным, Сухомлинов переменял тему.

— Ну, а вы когда едете?

— Да говорят скоро. Чемоданы уложены. Но все держится в страшном секрете.

— Тайна! Военная тайна! — саркастически улыбнулся министр. — И, конечно, такая же тайна — местонахождение будущей Ставки Верховного Главнокомандующего. Уж одна эта детская игра чего стоит. Не знать что такое немецкий шпионаж и стараться скрыть такие вещи, о которых Мольтке давно осведомлен, способен только Янушкевич. Знаете ли, что рассказал мне полковник Спиридович? Приезжает к нему от Янушкевича и от великого князя офицер, собирающий сведения о немцах, проживающих в Петергофе. — А зачем это вам? — Как зачем? Ну, знаете... шпионы... и все такое. Кроме того, в Петергофе царская резиденция... — Охрана царской резиденции, это моя работа, — отвечает ему Спиридович, — а вот, что генеральный штаб до момента объявления войны не потрудился узнать о «Самсоне» — это, конечно, не хорошо. — Причем тут «Самсон»? — возмутился офицер. Почему генеральный штаб должен фонтанами интересоваться? — Да речь не о фонтане, а о гостинице «Самсон», самой лучшей в Петергофе. Знает ли ваше начальство, что ею уже двадцать пять лет владеет немец и что в каждом номере гостиницы висит портрет Бисмарка, Мольтке или Бюлова, что в ней происходят настоящие немецкие съезды с участием членов германского посольства в Петербурге? Видели бы вы, — рассказывал Спиридович, — какие глаза сделал бедный офицер! Вот вам, отец Георгий, пример работы Янушкевича.

Ох-ох! — сокрушался отец Георгий.

Протопресвитер поднялся.

— Дай вам Бог успеха в вашей пастырской миссии, молитесь за нас, наставляйте воинство и да помогут вам заступники земли русской.

— И вам, Владимир Александрович, не малое бремя на долю выпало. Только сильным плечам предназначается такое. Покажите же, что не оскудела русская земля стойкими вождями, а о врагах и недоброжелателях не думайте. У кого из больших людей их не было?



На третий день после того, как военный министр был так холодно принят великим князем, к нему явился генерал Жилинский, назначенный командующим северо-западным фронтом.

— Я поступил по вашему совету, — сказал Николай Николаевич, — и вызвал вместе с вами их обоих. Сегодня мы должны уладить это дело.

Это очень важно, ваше высочество.

Кстати, напомните вкратце, что такое между ними было?

Была очень неприличная сцена на перроне мукденского вокзала, десять лет тому назад, где они встретились после нашего несчастного дела под Бен-Си-Хо. Самсонов, при виде своего бывшего начальника, пославшего его с сибирской казачьей дивизией против вдвое сильнеешего неприятеля и оставившего без всякой поддержки, бросил ему при свидетелях жестокое обвинение. Ренненкампф не выдержал и между ними начались препирательства, перешедшие в такую грубую брань, что адъютанты пришли в ужас. С тех пор — они враги. Если вашему высочеству не удастся их сегодня помирить, то надлежит серьезно подумать, можно ли доверять им совместное выполнение такой задачи, от которой, может быть, зависит исход войны.

— Ну, попробуем. Я жду сейчас Самсонова, а вы поезжайте за Ренненкампфом.

Через четверть часа вошел начинавший слегка тучнеть, но бравый генерал. Своим открытым, смелым лицом он понравился великому князю. Кавалерийское сердце Николая Николаевича поверило в славу лихого кавалериста, сопровождавшую имени Самсонова.

Рад вас видеть, генерал. Как в армии?

Армия готова исполнить свой долг, ваше высочество.

Спасибо. Ну, а с припасами как?

Всего достаточно, ваше высочество.

Великий князь прошелся по кабинету, не зная с чего начать. В петербургском военном округе он поступил бы просто: вызвал обоих, поставил на вытяжку, распек, приказал бы подать друг другу руки, а потом пригласил за стол. Сейчас такая метода казалась недостаточной. Нужна была дипломатия...

Я на вас надеюсь, генерал.

— Рад стараться, ваше императорское высочество.

— Да нет, не то... Вы должны как-то это сделать... Ну, понимаете? Я не знаю, что там у вас... Но нельзя же так дальше. Ведь война!... Ну, подайте, наконец, друг другу руки!...

Самсонов покраснел от бороды до коротких волос над его высоким лбом.

— Осмелюсь спросить: ваше высочество, имеете в виду мои отношения с генералом Ренненкампом?

— Ну да! Да!... Ведь вам придется действовать согласованно...

— Я готов примириться. Но в согласованность действий с генералом Ренненкампом не верю. Слов «согласованность», «поддержка», «помощь», для него не существует. Он воюет по английской методе «safety first». Для своих соратников, русских генералов, он опаснее неприятеля.

— Что такое!... Замолчите!... Я не для того вас позвал...

Генерал Жилинский, тем временем, подъезжал к отелю «Самсон», где остановился Ренненкамф. Он думал, что попал на прием к царственной особе. В парадном мундире, при ордене и знаках отличия, Ренненкамф стоял посреди комнаты полной народа. То были отцы, матери, жены молодых офицеров устраиваемых Ренненкампом при своем штабе. Проведав

о внезапном приезде генерала они хлынули к нему толпой. Жилинский понял, что эта армия для Ренненкампа важнее той, которая стоит в преддверии Восточной Пруссии. Он знал всех этих камергеров, фрейлин, чинов дворцового ведомства, уже говоривших всюду о военном гении своего полководца.

— Вижу, ваше превосходительство, — сказал он с улыбкой, когда они остались вдвоем, — что победу при дворе вы одержали раньше, чем под Кёнигсбергом.

Чтобы не дать времени генералу рассердиться, он приступил сразу к делу.

— Буду краток, без всяких предисловий. Вы, вероятно, догадываетесь о причине, по которой его высочество вызвал вас к себе?

Ренненкамф медленно провел рукой по усам, заканчивавшимся на щеках пышными бакенами и подняв без того высоко поднятый подбородок, заявил, что он этого не знает.

— Между тем, вы должны бы были об этом подумать. Вы и Самсонов командуете двумя армиями, имеющими общее задание — действовать в Восточной Пруссии. Представьте теперь состояние верховного главнокомандующего, великого князя, и меня, командующего северным фронтом, знающих, что в прошлом у вас с Самсоновым были какие-то крупные нелады.

Ренненкамф опять провел по усам-бакенбардам.

— Понимаю.

Ему не понравилось, что склонял его на примирение Жилинский, а не сам великий князь. Хотелось, чтобы уговаривание было продолжительным, дабы видна была тяжесть жертвы, которую он приносил, мирясь с врагом. Но Жилинский повел дело круто. Сейчас они вместе должны ехать к великому князю и Ренненкамф, конечно, не сделает так, чтобы в числе тревог и волнений верховного главнокомандующего оставалась еще эта забота о взаимоотношениях двух командующих армиями.

— Вы безусловно правы. Я не из тех, кто в такой момент способен поставить свои личные чувства выше долга перед царем и отечеством. В грозный час...

— Ну вот и отлично!

Когда оба генерала входили в приемную великого князя,

дверь из кабинета открылась и показались Николай Николаевич с Самсоновым. Самсонов твердым шагом направился к Ренненкампу и протянул руку. Повеселевший великий князь шепнул начальнику северного фронта: «Я думаю, что мы можем вытравить Ляоян из наших воспоминаний». За последовавшим угощением он присматривался ко всем троим. Самсонов с прямым честным лицом нравился ему больше, чем Ренненкампу. Если бы сбрить Ренненкампу усы и бакены, то получилась бы физиономия небольшого хищника, вроде хорька или ласки. Не нравилась постоянная его забота о позе и мине. Несмотря на состоявшееся примирение, бывшие враги разговаривали за столом то с великим князем, то с Жилинским, но не сказали друг другу ни слова. Вскоре Самсонов извинился перед августейшим хозяином и попросил отпустить его на поезд.

— Ну, с Богом, Александр Васильевич! Ждем от вас добрых вестей.

Николай Николаевич обнял генерала и проводил до дверей. Через некоторое время и Ренненкампу встал, чтобы ехать к себе в Вильно. Оставшись с Жилинским, великий князь спросил его — все ли у него так, как надо?

— Все, ваше императорское высочество. Я думаю, мы спасем Париж.

Великий князь, точно уколотый, дернулся на своем сиденье. Идея похода в Восточную Пруссию возникла несколько лет тому назад на франко-русских военных совещаниях, была навязана французами и главной целью имела спасение Парижа. Он это знал. Тем не менее «мы спасем Париж» прозвучало так, что испортило настроение верховному главнокомандующему.

— Спаситель нашелся! — хотелось ему сказать Жилинскому. Чтобы хоть как-нибудь оправдать свое раздражение, он вспомнил о самочинном поступке его, тогдашнего начальника генерального штаба, при подписании союзного протокола.

— Теперь вам, как командующему фронтом, предстоит выходить из вами же созданного положения.

— Что вы имеете в виду, ваше высочество?

А то, что вы дали обязательство двинуть наши армии не на двадцать девятый, а на пятнадцатый день после начала мобилизации.

— Но вашему высочеству известно, как просили об этом французы.

— Просили... Ну посмотрим! Посмотрим!...



Темным вечером, перед петергофским вокзалом столпились ландо, кареты, автомобили. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, отправлялся в действующую армию. В зале первого класса собрались высшие придворные и военные чины. Когда зал наполнился, генерал-майор Саханский, назначенный комендантом Ставки, предложил великим князьям и княгиням с детьми перейти в парадные комнаты, где — мягкая мебель и пол, устланный коврами. Туда же прошли военные представители союзников — маркиз Дэ Ла Гиш, сэр Хембури Вильямс, бельгиец барон Дэ Рикель и серб, полковник Лайткевич. Генералы Янушкевич и Данилов, тоже приглашенные, шли последними.

— Что хотите, не нравится мне такой отъезд. Поздно вечером, чуть не в полночь... точно тайком...

Янушкевич оправдывался, ссылаясь на другие времена, когда вовсе не обязательно, чтобы князья выступали в поход вместе с дружиной, как было при Святославах и Игорях.

— Пусть так, но нельзя лишать народ поднимающего дух зрелища, отъезда вождя в действующую армию. Вы сами видели, что происходит на улицах, когда полки идут на войну.

— Но существует еще и военная тайна, — многозначительно возразил Янушкевич.

В ожидании прибытия «самого», генерал Дубенский, отойдя в сторонку, заносил в записную книжку набросок для будущих очерков. Он рисовал великого князя за работой, в Ставке, «где-то в глубине наших западных лесов, в постоянных напряженных трудах и размышлениях».

Гул в залах второго и третьего классов, переполненных офицерами, смолк.

Великий князь в пути и прибывает с минуты на минуту. Толпа, стоявшая на площади, сняла шапки, офицеры вытянулись и взяли под козырек, когда он с братом Петром Николаевичем и с великими княгинями вошел в парадные комнаты вокзала. Все заметили, что счастливое выражение лица, не сходившее последние десять дней, сменилось раздумьем, почти грустью. Здравовался торопливо, бросал беспокойные взгляды по сторонам. До отхода поезда оставалось двадцать минут. Все были в сборе, но все ждали, как ждут на свадьбах отца или мать с иконой, чтобы благословить сына перед отъездом под венец. Никто не допускал, чтобы государь император не приехал проводить на войну того, кому придется нести все ее бремя и кого уже теперь называли «судьбой России».

Через несколько минут показался царский автомобиль. Когда он подкатил к подъезду, вышел дворцовый комендант Воейков. Подойдя к верховному главнокомандующему он сказал, что государь прислал его приветствовать, пожелать счастливому пути и закончить войну победой. В наступившей тишине, великий князь громко проговорил:

— Я тронут вниманием его величества.

— Это она! Она!... — прошептала на ухо сестре великая княгиня Милица.

Протопресвитер отец Георгий Шавельсий встал перед иконой и начал молитву. Все опустились на колени. Наблюдавшие прежде, как Николай Николаевич становился на колени, испытывали всегда род страха. Похоже было на падение великана. Сегодня он рухнул, как сраженный. По окончании молитвы, генерал Саханский предложил занимать места в поезде. Отправилась свита, союзные атташэ, потом адъютанты, генерал-квартирмейстер Данилов, начальник штаба Янушкевич, последним — великий князь. Простившись с родными и близкими, он поднялся на площадку вагона, повернулся лицом к публике, запрудившей платформу, и остался стоять, пока не задребезжал свисток.

Когда темные вагоны с занавешенными окнами замелькали перед провожавшими, не раздалось ни одного «ура», только дамы махали платками. С грохотом пронесся последний вагон, оставив за собой черную пустоту. Провожавшие притихли, потянулись вслед убегавшим во тьму красным огням и долго прислушивались к стуку колес гулко отдававшемуся в сердцах.

Н. Ульянов



Голубая Офелия, Дама-камелия,
О, в какой мы стране? — Мы в холодной Печалии
(Ну, в Корее, Карелии, ну, в Португалии).
Мы на севере Грустии, в Южной Унынии,
Не в Инонии, нет, не в Тоскане — в Тоскании.

И гуляет, качаясь, ночная красавица,
И большая купава над нею качается,
И ночной господин за кустом дожидается.
По аллее магнолий Офелия шляется.

А луна прилетела из Южной Мечтании
И стоит, как лунатик, на куполе здания,
Где живет, где лежит полудева Феврония
(Не совсем-то живет: во блаженном успении).

Там в нетопленном зале валяются пыльные
Голубые надежды, мечты и желания
И лежит в облаках, в лебедё, в чернобыльнике
Мировая душа, упоительно пьяная —
Лизавета Смердящая, глупо несчастная,
Или нет — Василиса, нет, Васька Прекрасная.



Напомнило неясное сиянье
Жемчужных риз — другую чистоту,
Другое незаметное мерцанье
Так осветило каждую черту —

И мертвое Его лицо и венчик
Ты мертвым полюбила на кресте,
Когда напомнил светлосерый жемчуг
О смерти, совершенстве, чистоте.



Хрустальным кристаллом
Казался июль,
И в зареве алом
Проехал патруль.

Играл на свирели
Убитый солдат,
И лилии пели
Для малых ребят.

И в струях напалма
Горело село,
И черная пальма
Поймала крыло

Того самолета,
Который — ну, да.
И летчик горел,
Как большая звезда.



Как это солнцу спокойно сияется,
Птицам поется, розам цветется,
Саду шумится и морю мерцается,
Филину спится, фонтану журчится,

Если тебе не ложится, не пишется,
Только вздыхается, даже не дышится,
Только жалеется, смутно желается,
Только тоскуется, только скучается?

Игорь Чиннов

РАССКАЗЫ О МАРШАЛЕ БЕРИЯ

1. «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ»

Правда, правда, Сашурка-бичико,¹ это хорошая русская поговорка: «Тише едешь, дальше будешь». Хо-хо-хо...

Слушай, а у тебя остался кто-нибудь в Тбилиси? Нет? Значит ты навсегда перекочевал в Москву. Ну, и доволен? Конечно, русскому, который пишет по-русски, все же лучше жить в России. Но Грузия твоя родина. Ты же родился у нас. Твой покойный отец преподавал в Кутаисской классической гимназии рисование. Замечательный был человек. Я помню тебя совсем малышом.

Кстати, как идет твоя драма «Честь металлурга» на сцене Малого? В прессе очень хвалили. Я читал рецензию Кабалова в «Правде». Он не дурак. А сколько денег ты имеешь? Хо-хо-хо, это неплохо, это совсем неплохо, Сашурка-бичико. Аржаны, знаешь ли, в условиях коммунизма и капитализма, увы, адекватно необходимы. Хи-хи-хи...

Пишешь что-нибудь новое, советский де Мюссе? Трилогию о войне? Это интересно. Это очень интересно. Социалистическому театру нужна величаявая эпика. Пора кончать с мелкотемием и бытовым эмпиризмом.

«Карамболина, Карамболета, всегда послушна и мила...»

Черт подери, эта пустая песенка с самого Таллина засела в какой-то извилине моего мозга.

Эй, осторожней! Лихач ты, Сашурка-бичико. Почему не

¹ По-грузински: «Сашурка-мальчик».

От автора: Все эти рассказы основаны на фактах советской действительности. Разумеется, некоторые имена и фамилии мною изменены. Кое-что дополнено «художественным вымыслом». Я старался избразить не только Лаврентия Берия, но и ряд типичных характеров.

сбавить скорости? Куда торопишься? Ведь ужинать и ночевать будем в Нарве. Да? Надеюсь, там найдется приличный ресторан и гостиница, кацо. А сколько до Нарвы? Нет, я почему говорю? Я говорю потому, что твоя «Волга» имеет очень мягкие рессоры, к тому же шоссе первый класс, просто удивительно, в Эстонии и такое шоссе! (Оно напоминает мне лучшие автостреды Франции) К тому же красивый, но однообразный пейзаж. (Поля, поля, как на Руси) Вот ты нет-нет, а клюешь носом. (Я люблю это русское выражение: клевать носом. Образно!) Правда, правда, Сашурка-бичико, клюешь. Не отрицай. Знаешь ли, аллюр 90 километров в час, к сожалению, еще не аллюр нашей великой отчизны, нам лучше не превышать 70-ти. У меня, Сашурка-бичико, в Тбилиси жена, дочь и двое очаровательных внуков. Имей это ввиду, кацо. Нет, я не боюсь за свою жизнь, но трансцендентальный мир никогда не казался мне привлекательным. (Тьфу-тьфу-тьфу)

«Ти-ше едешь, да-альше бу-будешь...»

Да, Сашурка-бичико, я хотел спросить: это у тебя экспортный вариант «Волги» или обыкновенный? Кажется с никелированным цоколем? Значит — экспортный. А, ты купил его по спец. спискам ССП. Понятно. Я собираюсь подарить «Волгу» своему зятю. Он у меня всего-навсего учитель. Беден, как король Лир, но красив, как Таризель.

У-ух, ты же выехал на осевую линию! И не гони, не гони, Сашурка-бичико. Посмотри, твое ветровое стекло покрылось трупами мошек, несчастных мошек, которые только что имели и туловища и крылышки, и, быть может, усы, а сейчас, сейчас от них остался почему-то светложелтый, как живописцы говорят, стринциановый след. Жестокий ты человек...

Да, и все судьба. Судьба. Ты знаешь, что такое судьба-фортуна, Сашурка-бичико? Это поразительная штука...

«Карамболина, Карамболета всегда послушна и...». Ах, черт!

Разве не судьба свела нас с тобой в гостинице «Палас» в Таллине? Конечно, она, мадам Фортуна. Уверяю тебя. Я хоть и материалист и марксист, но верю в нее. Вот тебе причинность и следствие. Я еду из Тбилиси в Таллин для того, чтобы принять

участие во Всесоюзном симпозиуме критиков на тему: «Эволюция эстетических взглядов — от Аристотеля до Ленина». Ты же отдыхаешь в Литфондовском Доме творчества в Фаланге. (Там чудесные коттеджи). Прочитав с успехом, я говорю это объективно, свой доклад, я собираюсь в Москву на Всесоюзное совещание переводчиков с французского, на котором мне придется сделать сообщение: «Луи Арагон в переводе на грузинский язык». Ты же, проездом из Фаланги, останавливаешься в «Паласе», идешь в ресторан обедать и тут мы встречаемся. (Хороший «татарский бифштекс» нам подали, а?) Наши пути, так сказать, лежат в одном направлении. Москва. Столица. И вот мы в твоей «Волге» мчимся, я бы сказал, чрезмерно быстро, вперед. Наш курс: Нарва, Ленинград, Новгород, Калинин, Москва.

Гмерто,² разве это не судьба? Кто это сказал: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Хи-хи-хи...

Итак, Сашурка-бичико, ты, значит, отстроился и имеешь теперь в Москве квартиру в Литфондовском Доме. Где? На улице Черняховского. Знаю. А сколько у тебя комнат? Две. Это совсем неплохо, Сашурка-бичико, ты же один. Две комнаты на одного это, знаешь ли, что-то вроде излишества, даже если ты писатель... И телефон есть? И мусоропровод, конечно...

Атенсьон! Встречная машина. Нет, нет, Сашурка-бичико, как ты не говори, а тебя клонит в сон. Я же вижу. Ты несомненно клюешь носом. (Обожаю это русское выражение) И как нарочно мы оба не курим. Собственно, я прежде курил. Много курил, по две пачки «Казбека» в день. Но пришлось бросить. Аорта шалит...

А этот знак!? Разве ты не видел, Сашурка-бичико, мы только что проехали знак, рекомендующий скорость 80 километров в час, а у тебя на спидометре все время 100 и 100.

«Ти-ише едешь, да-альше бу-удешь...»

Ладно, Сашурка-бичико, я не буду тебе досаждать. Честное слово. Знаешь что? Я беру на себя роль рассказчика. Да, да, главное, чтобы ты не дремал. Я же поэтому и говорю бес-

² По-грузински: «Господи».

прерывно. Моя задача отвлекать тебя от этого проклятого шоферского сна.

Что бы такое особенное рассказать тебе, чтобы у тебя дух перехватило? (И это русское выражение я очень, очень люблю) Слушай, я расскажу тебе, как в прошлом году я путешествовал по Франции. Представляешь, кацо, лучшие отели, самые дорогие рестораны, оплата по счетам. Мечта. Се манифик, как говорят французы. Так путешествуют маркизы и виконты. И я один, один, без «искусствоведа в штацком». Словом, так: меня, как самого крупного литературоведа Грузинской ССР (ты же знаешь, я в Грузии король и единственный, кто владеет европейскими языками) пригласила на две недели «Лига поклонников Бодлера». Почему они пригласили именно меня не знаю. Может быть потому, что прочитали в «Литературке» мою статью о влиянии Шота Руставели на творчество Теофиля Готье. Короче, ко мне прикрепили очаровательную «Петит Нана» и в ее компании десять дней я разъезжал по Франции. Мечта. Се манифик! Сначала, в соответствии с инструкцией, полученной в Москве, я думал, что Нана представляет французскую секретную службу, но в первую же ночь, когда она залезла ко мне в постель и стала заниматься тем, чем занималась когда-то Сесиль Воланж, требуя от меня сноровки кавалера Дансени, я понял, что она всего-навсего поклонница Бодлера...

Ну я, конечно, прочитал на торжественном заседании Лиги доклад «Бодлер и Маяковский» и процитировал наизусть по-французски отрывки из «Кандида». Это вызвало у присутствующих «мирно-сосуществующие» слезы на глазах. В результате, мне подарили от имени Лиги письменный прибор с бюстом Бодлера и, что особенно ценно, дюжину шикарных сорочек. Вуаля!

Нет, Сашурка-бичико, ты все же продолжаешь клевать носом и забываешь про руль. Уж не делаешь ли ты это нарочно, не подтруниваешь ли ты надо мной... а? Тебе не приходилось попадать в «происшествия»? Нет, я не боюсь за свою жизнь, но... Просто мой рассказ тебя не захватил. Не спорь. Тебе это не очень интересно. Хорошо. Хорошо, тогда я расскажу тебе о... о том, как я работал по линии КИМ'а в Норвегии, нелегаль-

но, разумеется. Это было в 1929 году. Я сначала жил в Берлине в качестве студента, а затем с фальшивым паспортом меня перебрали в Осло...

Берегись! Фу-у... Сашурка-бичико, ты же чуть не врезался в грузовик. Ох и лихач. Сонный лихач. У меня даже сердце екнуло. (Русский язык такой образный. Екнуло) Слушай, я тебя прошу, кацо, не гони, разве нельзя ехать тихонько, спокойно, как музыканты говорят: лярго, лярго. Спать при скорости 100 километров это, знаешь ли...

Что? Рассказать про Берия? А-а-а-а, а ты небось слышал в Тбилиси о том, что я был близко с ним знаком? Хорошо. Хорошо, расскажу тебе про Лаврентия. Это правда, мы вместе с ним учились в начальной школе. Однако, мои враги, в те времена, когда Берия был у власти, утверждали, что я вру, что я вовсе не учился с ним в одной начальной школе, а что просто Берия был любовником моей жены и что знакомство наше основано на этой почве. После же ликвидации Лаврентия, мои враги утверждали, что мы с ним действительно учились в одной школе, в одном классе, мало того, что мы с ним из одного села, хотя он мингрелец, а я имеретин, и что мы чуть ли не молочные братья. Хо-хо-хо, враги, враги, чего только они не предпринимают, чтобы угробить человека. И, между прочим, они меня тогда чуть не угробили. После ликвидации Берия я ведь больше двух лет «висел» между небом и землей. Меня хотели исключить из партии. Не печатали. Если бы не родственники, я бы умер с голода. И тогда, конечно, Сашурка-бичико, как ты понимаешь, я был вынужден отрицать свою близость к Берия и валить все на красоты своей «легкомысленной» жены. (Ты же знаешь, что моя Лело считалась, да и сейчас еще считается самой красивой женщиной в Грузии).

«Карамболина, Карамболета, всегда послушна и мила...»

Дело прошлое, Сашурка-бичико, но я тебе скажу тет-а-тет. Перетрусил я тогда здорово. На нелегальной работе в Норвегии не было так страшно. На нелегалке что? Завалишься — три или шесть месяцев европейской тюрьмы. А теперь так совсем лафа. Обменивают. Одного шпиона на другого. В антибериевский же

период я знал, что если посадят, то, так сказать, всерьез и **долго...**

У тебя в машине магнитофон не установлен? Не включен? Хи-хи-хи. Хорошо, тогда я тебе скажу откровенно. Берия уничтожили зря. Не был он врагом народа и государственным преступником. Это все блеф. Да, да, блеф. Басни. Басни Лафонтена. Просто он был очень сильным и талантливым человеком. Его боялись...

Знаешь, Сашурка-бичико, мингрельцы в деревнях до сих пор устраивают в день кончины Берия **панихиды**. (Комедия! Аристофан!) Приглашают плакальщиц, те, честь по чести, распускают волосы, царапают до крови свои лица и истошно вопят:

Враг народа Бэ-э-э-эрия
Вышел из довэ-э-э-э-эрия!

А ты знаешь, кстати сказать, что Лаврентий хотел назначить меня заместителем министра иностранных дел СССР? (А почему бы и нет? Я же был заместителем министра культуры Грузинской ССР, я же был председателем ГОКС'а, я же был директором Киностудии, я же был ректором Государственного университета) Уже все документы были подготовлены. И оргбюро ЦК прошел. Сталин дал согласие. Но в последний момент, эта сволочь, Маленков, желая подкузьмить Лаврентия, сунул хозяину докладную записку о моем провале в Норвегии.

Словом, Сашурка-бичико, теперь, по прошествии многих лет с того времени, как мы, грузины, были «ниспровергнуты». (Хорошее русское слово. А?) Я уже не отрицаю своей дружбы с Берия. Ну, конечно, в интимной обстановке, с людьми, которым я доверяю. И без магнитофона. Без, так сказать, акустики. Хи-хи-хи. (Ты же не стукач, хотя все мы немного стукачи).

Да и нельзя же отрицать исторические факты. В конце концов, кому мы практически обязаны атомной мощью? Лаврентию Берия. Он был начальником первого (атомного) управления Совмида Союза. Последнее время он курировал всю нашу оборонную, вернее сказать, военную промышленность и это под его руководством немецкие специалисты начали раз-

рабатывать под Сухуми проект первой советской ракеты. Да и деятельность Берия в предыдущие годы в органах. На ком держалась советская государственность? Я спрашиваю, на ком? На Лаврентии Берия. Конечно, он выполнял волю белади,³ но одно дело идея, другое дело ее реализация. Да и говоря чисто-сердечно, без «гуманной демагогии», в истории нет примера, когда великие свершения происходили бы чистенько, без крови, без ужасов и так далее...

Я абсолютно уверен, что Лаврентий в душе был кристальным ленинцем и ортодоксальным марксистом.

Вуаля! Теперь ты не клюешь носом, Сашурка-бичико. Стоило заговорить о Берия... Хи-хи-хи, я бы хотел посмотреть на такого чудака, который бы сейчас стал спать...

Слушай, Сашурка-бичико, я знаю Лаврентия, как облупленного, и я могу под присягой заявить, что у него был только один недостаток. Бабы. Что правда, то правда, баб он любил безмерно, хотя это и не мешало ему нежно любить свою жену, Нину. Однако, его страсть к женскому полу по сравнению с тем огромным, что он делал для нашего государства, для торжества коммунизма, это была чепуха. И это можно было ему простить. Идеальных людей, мон шер, как ты уже сам, вероятно, в этом убедился, на свете нет. И Сталин поначалу прощал ему это. Но в последние годы это почему-то раздражало старика и он стал держать Берия на «дистанции», тем самым давая возможность Маленкову строить разные козни.

У Лаврентия было два начальника охраны. Один Надорая, а второй Саркисов, Рафик. Так вот этот Рафик и заведывал всеми половыми делами Берия. Он только этим, по существу, и занимался. В шутку, свои люди, называли его начальником гарема Берия, бериевским евнухом. (Парадоксально, но сам Рафик был примерным семьянином) Целые дни и ночи Рафик был озабочен только тем, чтобы найти для Лаврентия новую красивую девочку и организовать все подобающим образом. Часто ему приходилось знакомиться с женщинами прямо на улице. Лаврентий любил из окна машины, вернее, через окно

³ По-грузински: «тений».

машины, указывать пальцем на ту или иную «Петит Нана». Рафик выскакивал из машины, подходил к указанной, брал под козырек и представлялся: «Полковник Государственной безопасности Союза Саркисов, из личной охраны маршала Берия». (Представляешь какое впечатление это производило на баб!?)

Эй, Сашурка-бичико, а что это там виднеется? Слева. Поезд? Нет, это, скорее, тучка. Какой удивительной формы. Ты знаешь она напоминает силуэт кентавра, да, да, кентавра. Ты не находишь?

А мне нравится эта скорость. Сколько ты сейчас держишь? 65 километров. Вот это нормально. И без риска. И можно разглядывать, что вокруг. Хи-хи-хи. Стоило мне заговорить о Берия и его любовных похождениях, как ты сбавил скорость, глаза у тебя загорелись и теперь ты, конечно, уж не хочешь спать. Еще бы...

Только теперь ты меня не торопи, не торопи. Дай посмаковать и потянуть время. Знаешь, как бывает в футболе... Хи-хи-хи.

Ладно, для того, чтобы доставить тебе истинное удовольствие и обезопасить себя в смысле возможности каких-либо дорожных неприятностей, я расскажу тебе о том, как Лаврентий однажды чуть было не лишил меня жизни, из-за бабы.

Как правило, почти всегда, когда Сосо выезжал на лето в свое гос. имение в Эшерах (знаешь, у него там был целый мыс, почти полуостров), Берия поселялся на своей гос. даче в Гаграх, а Маленков, чуть подальше, в Сочи. Между прочим, я думаю, что великий человек забавлялся, натравливая этих двух друг на друга. Ей Богу. Вообще говоря пребывание Сталина на Черноморском побережье преображало всю тамошнюю жизнь на московский лад. Все дороги были запружены тысячами офицеров МГБ Союза, на машинах, на мотоциклетах, преимущественно в милицейской форме. В магазинах появлялись столичные товары, газеты выходили чуть ли не на шести полосах.

Ну вот...

Однажды, сию у у себя дома, в Тбилиси, за письменным столом (я занимаю шестикомнатную квартиру в новом доме у

моста Челюскинцев), как вдруг раздается телефонный звонок. Снимаю трубку, слышу голос генерала Мичурина, начальника 7-го отдела МГБ Грузинской ССР. Он говорит:

«Вовочка, Лаврентий Павлович хочет, чтобы вы немедленно приехали к нему на дачу в Гагры. Ему без вас скучно. И вообще, Вова, он вас очень любит. Да, он просил захватить с собой Медейку». (Медейка, то-есть, Медея, моя дочь. Она пианист, лауреат Всесоюзной премии имени Льва Оборина).

Вуаля! Что мне было делать после этих слов Мичурина. Я отложил в сторону свою, позже нашумевшую, статью «Витязь в тигровой шкуре» и горьковский романтизм, как предтечи социалистического реализма», взял с собой Медею, сел в самолет и через час был в Сухуми. Тут нас уже ждала машина из 1-го управления МГБ центра и мы помчались к Лаврентию в Гагры, минуя многочисленные «охранные зоны», иначе говоря, посты сотрудников МГБ.

Скажу честно, я не раз бывал в гостях у Берия и в Гаграх, и в Москве, на Малой Никитской, и в бывшем имении графа Орлова, под Москвой. Ну, все это, разумеется, выглядело шикарно. Десятки горничных, полк кухарок, поваров, повсюду охрана, ну, плавательные бассейны, теннисные корты, волейбольные площадки, бильярдные, тир, залы для просмотров кинофильмов. Словом, се манифик. Конечно, все это было государственным. И я лично думаю, что в этом царском блеске не было ничего зазорного. Государственные деятели во всем мире живут так...

Обычно мы играли с Лаврентием в бильярд и в волейбол, при участии охраны (о-о-о-о, он прекрасно играл в волейбол, хотя последние годы сильно растолстел), обедали, как обедали Пантагрюэль и Гаргантюа, разумеется, сидели в семейном кругу, с женой Ниной и его любимым сыном, Серго. Словом, я бывал у Лаврентия запросто.

Об этом в Грузии хорошо знали и поэтому либо побаивались меня, либо заискивали передо мной. Ну и распускались всякие слухи. Говорили, например, что я чуть ли не спекулирую на дружбе с Берия и веду себя как Хлестаков. Например, в присутствии литераторов, критиков, звоню по телефону секретарю

ЦК КП Грузии, Кандиду Несторовичу Чарквиани, и говорю ему: «Здравствуй, Кандидушка. Слушай, дай команду, чтобы моего племянника Васо Чхитишвили приняли в университет без экзаменов». Утверждали, при этом, что я набирал свой домашний номер, то-есть, инсценировал все это. Враки это, враки, мон шер. И не верь брехне насчет моей жены, Лело. Слушай, Сашурка-бичико, Лаврентий был человеком с принципами и он был **грузином**. Он жен своих товарищей не трогал. Ей Богу это так. Что, не веришь?

На этот раз Лаврентий попросил Медейку сыграть Шопена, Берлиоза и Рахманинова. В гостиной стоял великолепный Стейнвей. Нина была с нами. Серго же улетел накануне в Москву. Когда Медейка играла второй прелюд Рахманинова на глаза у Лаврентия навернулись слезы. Я видел их. Ей Богу! Да, да, слезы. Он подошел к моей дочери, после того, как она кончила играть, и поцеловал ее в лоб. Вуаля! Нет, Берия, конечно, не был интеллектуально рафинированным человеком, он, к моему ужасу, например, никогда не читал Шелли, но у него был от природы пытливый грузинский ум и очень темпераментная душа.

После обеда Берия позвал меня «прокатиться», как он сказал, на его новом катере. Ему только что прислали из ГДР чудесный катер. (Кажется, построенный на верфях в Ростове) Солнце палило нещадно. Море было гладким, как зеркало. Гагринский пляж сплошь усеяли людские тела. Что? Нет, нет, это в Новых Гаграх, не в Старых, а в Новых.

Разумеется, катер Лаврентия стоял у спец. причала, который днем и ночью охранялся офицерами МГБ центра. Мы подъехали к причалу в бронированном черном «Паккарде». (В нем когда-то ездил сам Ежов. Помнишь выражение: «Ежовые рукавицы». Хи-хи-хи) Несмотря на все предосторожности охраны, народ узнал Берия, рванулся к причалу и стал кричать: «Да здравствует товарищ Берия!» (Ей Богу, правда). Лаврентий приветливо помахал рукой, снял штаны, рубашку и, оставшись в плавках, полез в катер. Пришлось и мне раздеваться...

Вот я тебе говорю, как перед иконой, Сашурка-бичико: Лаврентий был сильным человеком, физически, хотя к концу

жизни, как я уже сказал, ожирел и обрюзг. Но в общем он был заядлым физкультурником. В молодости играл в футбол, в команде Зак. и Груз. ГПУ. Теперь же он увлекался водным спортом. Катер. Он их менял один за другим, требуя, чтобы ему построили самый быстроходный в мире. Этот, немецкий, был среднего размера, с сидением на троих спереди, с автомобильным рулем и с достаточно просторным местом позади сидения, где лежали два мата. Мотор был авиационный и давал возможность развивать скорость до 80 километров в час. (На воде. Представляешь?!)

Итак, залез я вслед за Лаврентием в катер и через пятьдесят минут мы были уже, так сказать, на горизонте Черного моря. Катер мчался, как вихрь. (Чудесное русское сравнение) Вокруг были одни брызги, пелена воды и рокот как от реактивного самолета. Феерия, шер ами. (Помнишь, у Репина есть картина «Какой простор!»).

А через полчаса, берег с Рафиком Саркисовым, который устроился в специальной наблюдательной будке с телескопом, ушел из поля нашего зрения. (Надоря в этот день был «выходным»).

Мы с Лаврентием были в открытом море. Он застопорил мотор, улыбнулся и сказал:

«Вовка, вон там Турция. Хочешь драпанем. А?»

Я посмотрел на него и серьезно ответил:

«Так ведь турки нас повесят».

Берия сказал:

«Тебя да, ты же марксист. А я за гаремы. Так что мы с ними найдем общий язык».

В этот момент, обзирая горизонт в свой полевой бинокль, Берия вдруг ахнул:

«Вовка, это же... человек плывет... и, знаешь, в направлении к Турции... Что смотрит наша погранохрана...»

Он включил скорость и, не раздумывая, бесстрашно начал приближаться к человеку в море. На расстоянии около пятидесяти метров он снова застопорил мотор и, посмотрев в бинокль, сказал:

«Вах, это же... баба!...»

Лаврентий преобразился, как-то весь подтянулся, помолодел даже. И действительно, когда мы оказались уже метрах в десяти от плывущего человека, я увидел молодую женщину, которая красивыми и размеренными движениями разрезала волну.

«Здравствуй, детка! — крикнул ей Лаврентий. — Ты куда собралась? Не в Турцию ли? Зачем тебе Турция, разве у нас мало хороших мужиков?»

Девушка увидела нас и, конечно, узнала Берия. Она перестала плыть и как бы стояла в воде. Она что-то произнесла в ответ, но было и без того ясно, что она плавчиха, что она совершает тренировочный заплыв на дистанцию, готовясь к очередному чемпионату. Выяснилось, что она состоит в обществе «Динамо» и уже является мастером спорта. (Знаешь, мастера спорта у нас имеют постоянную зарплату 150 рублей в месяц, а в те времена — 1500 рублей).

Лаврентий пришел в восторг.

«Так это же мое общество: МГБ и МВД, — сказал он, — там у меня генерал Аполлонов сидит. Стало быть, детка, ты динамовка. Вот и хорошо. Теперь я могу от тебя, как от рядового члена моего общества узнать как идут дела. Это демократично, не правда ли, Вовка? А ну-ка, детка, влезай ко мне в катер. Поговорим. Давай, давай я тебе помогу...»

Плавчиха растерянно и чуть испуганно смотрела на Лаврентия, отфыркивая соленую воду. Она не знала, что ей делать. Тем временем Берия, перегнувшись через борт, схватил ее под мышки и стал втаскивать в катер. Он, конечно, не преминул облапать ее и даже, найдя, чмокнул в шею.

Девушка, лет двадцати, очень миловидная, плотная, так сказать, ядреная, в синем купальнике с буквой «Д» на груди, стояла перед нами, как только что вылезшая из воды русалка. Честное слово, она напоминала русалку. Поверь мне, Сашурка-бичико. Ее светлые волосы были запрятаны под резиновый чепчик. Она беспомощно улыбалась и бессмысленно повторяла:

«Так у меня ж тренировочный заплыв...»

Берия тотчас же взял ее на руки и перелез вместе с ней в заднюю часть катера. Он говорил с ней так, как говорят муж-

чины, умеющие сразу укорачивать отношения и немедленно приближаются к цели. (Завидую таким) Это, вместе с безусловным страхом обезоружило девушку.

«Смотри, Вовка, какая она красotka, — без стеснения говорил Берия. — какая фигура, бедра, грудь... Прелесть!»

И он добавил еще по-грузински кое-что уже вовсе неприличное. (Кобель!).

Сказать тебе честно, Сашурка-бичико, я был totally шокирован и не знал как мне реагировать на эту выходку Лаврентия.

«Как тебя зовут?» — спросил Берия плавчиху.

«Маша Ермолаева», — последовал ответ.

(Как видишь, я запомнил ее имя и фамилию, Сашурка-бичико).

«Вот и прекрасно, Машенька-детка. Нам с тобой есть о чем побеседовать», — проговорил Берия.

Маша старалась прикрыть руками грудь, а губы ее чуть посинели.

И вдруг Лаврентий, повернувшись в мою сторону, произнес:

«Вовка, ныряй и плыви к берегу. Нам с Машей надо поговорить о делах. Доверительно. Она должна рассказать мне как работает Аполлонов».

По-грузински же он добавил, что хочет «позабавиться» с девушкой, но что мое присутствие ее смущает. Знаешь, Сашурка-бичико, как перед иконой скажу, что меня в тот момент охватил ужас. Гмерто! Увы. Я понял, что Лаврентий не шутит.

«Как можно, Лаврентий Павлович, — воскликнул я, — до берега наверное километров пять-шесть, а я плаваю, как топор...»

Пенсне на носу Берия блеснуло так, что я почувствовал себя ослепленным. Честное слово. Он умел как-то манипулировать своим пенсне. И это было зловещим признаком. Я знал, что Лаврентий не терпел, когда ему перечили.

Берия, молча, перескочил на сидение, включил максимальную скорость и минут через пять мы были примерно в кило-

метре от берега. Застопорив мотор, Берия сухо и коротко сказал:

«Ныряй!»

Вероятно, вид у меня в ту минуту был отчаянный, кажется, я даже дрожал от страха и уж, конечно, был блее полотна (не стыжусь признаться, Сашурка-бичико), потому что Лаврентий на секунду ухмыльнулся. Тем не менее я нашел в себе силы сказать:

«Не могу, кацо, не могу».

Берия чуть приподнялся на сидении, сгреб меня в охапку и вышвырнул без единого слова в море. Вуаля...

Кошмарная история. Даже сейчас вспоминать и то страшно. Можешь ты себе представить все это, Сашурка-бичико? Это, пожалуй, был самый жуткий момент в моей жизни. Да, да, да. Даже в Керчи, когда я был ответ. секретарем армейской газеты (44-ая армия) и немец бомбил нас круглые сутки, безостановочно, я не испытал такого. Я забарахтался в воде, обдаваемый мощной волной, которую произвел катер, тотчас же умчавшийся обратно на линию горизонта вместе с маршалом Берия и мастером спорта Ермолаевой. Хо-хо-хо, вода была нестерпимо холодная. (А я даже дома по утрам умываюсь теплой) И сразу же я почувствовал судорогу в правой ноге. На память неумолимо пришел Мартин Иден и сам Джек Лондон. (Бедняга утонул) И в глазах возникли красные круги. (Почему красные?) Гмерто, я, конечно же, подумал о том, что в Черное море нередко заплывают средиземноморские акулы. А берег, берег, увы, маячил где-то впереди узенькой горной полоской. Мобилизовав, так сакзать, все свое мужество, я попытался успокоить себя и представил себе, как сейчас моя Медея гуляет по саду с Ниной, а моя жена, Лело, сидит за маленьким столиком в доме Челюскинцев и играет сама с собой в «кончинку».⁴ Я попытался лечь на спину, как меня в юности учил дядя Амвросий, сам, между прочим, утонувший в Черном море. Я попытался медленно плыть в сторону берега, приговаривая: «тихо-нечко, спокойненько, лярго». Но через пару минут судорога

⁴ Карточная игра.

свела мою левую ногу. Потом повторилось в правой. Ноги начали неметь. О-о-о-о, не желаю этого самому злему врагу. Словом, я начал тонуть, постепенно, всячески оттягивая последнюю минуту. Да, да, Сашурка-бичико, я начал тонуть. Не смейся. Это факт. Я начал глотать воду, я начал захлебываться. Сердце билось, как у умирающего в час агонии. Я уже не мог думать, я уже был во власти животного страха. Последнее, что я представил себе, это глубину, безумную глубину под мной, а это, говорят, очевидный признак того, что тонешь...

Не буду растягивать описание моего состояния (хотя топиться некуда), скажу тебе, дорогой друг, что я, разумеется, утонул бы и не имел бы возможности совершить с тобой эту замечательную поездку из Таллина в Москву (правда, она еще не кончена, вернее, не окончена благополучно), если бы не Рафик Саркисов. Дело в том, что Рафик из наблюдательной будки в телескоп заметил, как Берия выкинул меня за борт катера и приказал своим «мальчикам» подобрать меня. Они сели в моторную лодку, стоявшую у причала и готовую в любой момент к действию, и помчались ко мне. Именно тогда, когда я уже потерял сознание и был больше под водой, чем над водой, цепкие руки офицеров МГБ центра, обученные всему, чему могут быть обучены человеческие руки, выхватили меня из, я бы сказал, морской пучины. (Красиво звучит: морская пучина. Правда?).

Ну, на берегу, конечно, мне сразу стали делать искусственное дыхание. Вода брызнула из меня фонтаном. (Это Рафик потом мне рассказывал). Немедленно приехали кремлевские медики-профессора, что-то впрыснули мне в ягодицу. И через час я уже был в норме и уж мог в обществе охраны Берия даже смеяться и с умилением и почтением дожидаться триумфального возвращения босса. (Не триумфальным оно быть не могло).

Лаврентий вернулся один. «Побеседовав» с Машей о том, как генерал Аполлонов руководит деятельностью его спортивного общества («Динамо»), он, вероятно, дал ей после этого возможность продолжать «тренировочный заплыв».

Когда мы сели в «Паккард», Лаврентий сказал мне:

«Ах, какая прелестная детка. Ты знаешь, Вовка, сначала

она чуть сопротивлялась, а потом... Завтра в 12 дня у меня с ней опять встреча, на том же месте...» — и Берия миролюбиво добавил: — «Ты извини меня, Вовка, что я с тобой так обошелся...»

Мы долго хохотали.

Что? Ты, Сашурка-бичико, сказал: «Здорово! Ай, да Лаврентий!» Ну знаешь, лучше бы ты сказал: «и смех и грех». А как насчет морали, шер ами? И вообще все это **диалектика**. Да, да, да, диалектика.

Естественно, за ужином, в обществе Нины и моей дочери и еще двух высокопоставленных деятелей Совмида Союза, один из которых был академиком и называл нас «джентльменами», мы с Лаврентием об этом морском эпизоде не говорили. Но позже, во время игры в бильярд, снова хохотали до упада.

А вот теперь, Сашурка-бичико, представь себе, умозрительно, так сказать, гипотетично, такую ситуацию: я утонул. Да, да, да, я утонул. Меня не спасли офицеры МГБ центра. Повторяю, представь себе это гипотетично. (Имей ввиду, что я ведь человек не без юмора). Что было бы в этом печальном случае? Ну, мой труп, безусловно, с почетом, в отдельном вагоне, предоставленном ЗКЖД по распоряжению Берия, перевезли бы в Тбилиси, украсили бы в гробу чайными розами (обожаю именно чайные) и установили бы в Доме литераторов в Сололаках. В торжественном, почетном карауле, конечно, дежурили бы: крупнейший грузинский романист Константэ Кахурадзе (по знакомству я в своих критических статьях всегда сравниваю его с Оноре де Бальзаком), боюсь, что он даже по случаю моей кончины не снял бы свои традиционные столетние краги, затем поэт-чекист Санешвили, косоглазый доктринер Бесо Гургенидзе, одно время пытавшийся доказать, что я занимаюсь плагиатом и компиляциями, списывая отдельные фразы у Белинского и Добролюбова, и многие другие. В речах меня называли бы «замечательным эрудитом», может быть кто-либо по ошибке или в избытке траурного подхалимажа, сказал бы, что я был профессором и дожидался присуждения степени действительного члена Академии наук Грузинской ССР. (Нет, это неправда. Я не профессор). А в некрологе в республиканских газетах

«Заря Востока» и «Комунисти» было бы написано, что я трагически погиб «на боевом посту». (Так же было бы написано и в «Литературке»). Думаю, что к началу гражданской панихиды генерал Мичурин внес бы в зал венок из чайных роз (ох, обожаю чайные!) с траурной лентой, на которой бы значилось: «Вовке от Лаврентия» или нет, иначе: «Владимиру Ксенафоновичу от Л. П. Берия».

Хи-хи-хи-хи-хи...

«Карамболина, Карамболета, всегда послушна и мила...»

Эй, друг, Сашурка-бичико, а что это за город мелькнул впереди? Смотри, там за буграми, и какая-то крепость и много домов, старых, новых... что это? Неужели Нарва? Вот здорово! Как мы незаметно добрались до Нарвы. Не правда ли? Значит, можно будет еще погулять по городу, осмотреть его немного. Это ведь старина. Нарва... И ты, скажу честно, не клевал уже носом. Вел машину как бог. А кто помог? Лаврентий Берия. Хи-хи-хи. Да, Сашурка-бичико, надо не забыть утром заправиться бензином. Ты сказал, чтобы я тебе напомнил. Но плачу я. Нет, нет, плачу я. Давай договоримся так. Машина твоя. Шофер твой. А бензин мой. Раз лапаракоб, генацвале?⁵ Ну, хорошо, карги, карги.⁶ Не будем ссориться. Это правда, что ты пригласил меня ехать на машине. Кстати, Сашурка-бичико, сколько твоя «Волга» берет на сто километров? 12 литров? Ну, это неплохо, это совсем неплохо, Сашурка-бичико.

Да... вот что... Ты не подумай, что я боюсь или что-либо в этом роде, но... то, что я тебе рассказывал для увеселения, все это о Берия, это, конечно, не для распространения, как ты сам понимаешь. Все это тет-а-тет. А то ведь, знаешь, люди разные бывают, а диктатура пролетариата все еще не кончилась, затянулась, так сказать... Хи-хи-хи... Ну, а насчет того, что Берия расстреляли зря и что он не был государственным преступником, это я пошутил, Сашурка-бичико. Его расстреляли не зря. Прежде всего он собирался распустить колхозы и реставрировать капитализм... О-о-о-о, он был бо-ольшой сво-

⁵ По-грузински: «что ты говоришь, дорогой?».

⁶ По-грузински: «Хорошо».

лочью, этот Берия. Можешь судить даже по этой морской истории...

Что? Тебе она понравилась? А... ты и сам имел как-то связь с девушкой в купе поезда? Ах ты «энкапезовский» Дон Жуан.⁷ А знаешь, твои отец и мать были однолюбам. Столько лет прожили вместе. Сколько? Тридцать... Ну вот видишь, о них так и говорили в Тбилиси: однолюбы. А ты, видно, то яблоко, которое да-алеко откатилось от яблони...

«Карамболина, Карамболета...»

Стало быть мы уже в Нарве. А что, солидный город... а? Нарва-Нарва...

Что? Ты спрашиваешь, как Берия убили, то-есть расстреляли ли его?

Знаешь, Сашурка-бичико, об этом я поведаю тебе, когда мы выедем из Нарвы в Ленинград, завтра утром, или на пути из Ленинграда в Москву. Это долгая дорога. Тебя же опять будет клонить в сон, ты же опять будешь клевать носом, а меня это не устраивает, я уже тебе говорил, что трансцендентальный мир никогда не казался мне привлекательным. (Тьфу-тьфу-тьфу). И, повторяю, у меня жена, дочь и двое внуков. (Зятя я не считаю, он, пожалуй будет рад если я погибну, он у меня «новой формации», хотя я и собираюсь подарить ему «Волгу»).

Ну хорошо, скажу тебе в двух словах, как покончили с Берия. Его убили во время перестрелки на его подмосковной даче. Началась перестрелка с охраной. То-есть, с одной стороны, офицеры маршала Конева, а с другой — охрана Берия. Сам Лаврентий с двумя маузерами в руках отстреливался до последнего патрона. У него было еще несколько гранат, когда он бросал третью, в него попала пуля снайпера, прямо в лоб.

Что? Хи-хи-хи... смешной ты парень... какой суд? Не было суда, просто это инсценировали...

Эй! Аба! Куда ты!? Кацо... Ол-л-ля-ля! Ну вот, все же под конец ты врезался в крыло «Москвича». Гмерто. Какой же ты

⁷ «Энкапезовский» от НКПС: народный комиссариат путей сообщения.

лихач, Сашурка-бичико. Что же теперь будет? Хо-хо-хо. Вон уже милиционер свистит и бежит к нам. А хозяин «Москвича», кажется, собирается бить нам морды. Хо-хо-хо... Я же тебе говорил: «Тише едешь, дальше будешь...» Что? От того места куда едешь?... Ты еще смеешься, Сашурка-бичико? Хо-хо-хо... Оптимист!

2. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА

**(Неправленная стенограмма речи товарища А. П.
на партактиве ЦК и ТК КП Грузии, 12 ноября 195... года).**

Товарищи участники партактива ЦК и ТК компартии Грузии, амханагебо!¹

Сегодня мы собрались вот здесь в ордена Ленина, академическом театре оперы и балета имени Захария Палиашвили, где в обычное время мы слушаем, например, такую замечательную оперу, как «Кармен» Глинки (в зале реплика: «Бизе!»). Правильно, амханагебо, Бизе, для того, чтобы в своем партийном кругу обсудить весьма важный, я бы сказал, животрепещущий вопрос об антипартийной и антигосударственной деятельности... (Остановился, тяжело дышет. В зале голоса: «Берия! Берия!») правильно, товарищи, антипартийной и антигосударственной деятельности товарища Лаврентия Павловича Берия. Нет, нет, товарищи, извините. Не товарища, не Лаврентия и не Павловича, а просто Берия, врага народа, изменника и предателя Берия. (В зале шум, говор).

Чумат,² амханагебо! Не надо поднимать волну. Вы не на Верийском базаре и не на Дезертирке. В чем дело? Я не Берия...

(Первый секретарь ЦК КП Грузии, в президиуме, стучит карандашом о стакан и призывает к порядку).

Товарищи! В закрытом письме ЦК КПСС приведены исчерпывающие и красноречивые факты, которые подтверждают то, что этот самый... (Остановился, тяжело дышет) этот самый Берия был агентом американской разведки Си-Ай-Эй, то-есть, ставленником международных монополий, которые рассчитывали с его помощью реставрировать у нас в стране капитализм, который наши отцы и братья уничтожили в 1917-1921 годах.

(Кричит, как будто бы его режут, жилы на шее вздуваются, стучит кулаком по трибуне). Не вышло это дело, товарищи-амханагебо! Не вышло потому, что наша великая коммунистическая партия и наше любимое правительство, под руководством славных ленинцев, товарищей Маленкова и Хрущева, разгромила этого самого... Берия! Разгромила и обезвредила его и его банду. (Пьет «Боржоми». В зале тихо).

Я, как и выступавшие передо мной ораторы, от своего имени и от имени грузинских коммунистов, от души, от всего сердца, искренне поддерживаю политику нашей родной партии и нашего родного правительства.

Товарищи! Выступавший передо мной, уважаемый батон³ Михако Бараташвили, член партии с 1906 года, сказал правильно о том, что недостаточно заклеить позором этих негодяев, Берия и его компанию, этих подлецов, сволочей и хулиганов. Надо еще, нам, коммунистам, сделать соответствующие выводы. Правильно, амханагебо, выводы! Ведь этот самый Берия был тоже грузином, товарищи-амханагебо, и не для кого не секрет, что в течение многих лет этот мерзавец, готферан и дедал,⁴ работал здесь в нашем дорогом солнечном Тбилиси, среди нас, по существу, являясь руководителем партийной организации Грузии и всего Закавказья. Именно поэтому, товарищи-амханагебо, мы, грузинские коммунисты, несем особую ответственность за то, что мы оказались недостаточно бдительными и позволили этому самому Берия, мерзавцу и негодю Берия, втереться в доверие к нашему вождю и учителю товарищу Сталину и причинить неисчислимый ущерб нашему социалистическому обществу. (В зале реплика: «О себе говори!»).

Товарищи, не поднимайте волну...

Я спрашиваю вас, товарищи-амханагебо, разве мы с вами не знали, что проходимец Берия был агентом муссаватистов? Знали, но молчали.

Я спрашиваю вас, товарищи-амханагебо, разве мы с вами не знали, что злодей Берия виновен в том, что наш пламенный

¹ По-грузински: «товарищи»; ² «тише»; ³ «хозяин»; ⁴ ругательства.

соотечественник, первый Наркомтяжпром Серго Орджоникидзе застрелился? Знали, но молчали.

Я спрашиваю вас, товарищи-амханагебо, разве мы с вами не знали о том, что Берия был инспиратором восстания немцев в Берлине? Знали и молчали.

Я спрашиваю вас, товарищи-амханагебо, разве мы с вами не знали о том, что Берия имел преступную связь с ренегатом Тито? Знали, но молчали.

Я спрашиваю вас, товарищи-амханагебо, разве мы с вами не знали о том, что Берия злостный бабник? Знали, но молчали...

(В зале поднимается шум, выкрики: «Вот об этом вам и надо говорить!» «Расскажи, как служил Берия!»).

Чумат, чумат, амханагебо. Вы не на Верийском базаре... Я скажу и об этом. Всеу свой час. Я скажу обо всем, о чем должен сказать честный коммунист, но прошу соблюдать большевистскую дисциплину. Стыдно, товарищи... (Развязывает галстук, расстегивает сорочку, на лбу капли пота). Почему же все мы, коммунисты Грузии, молчали тогда, когда надо было говорить во всеуслышание хотя бы о нарушении партийных норм, о «местничестве» и «кумовстве»? Во-первых, товарищи, надо признать тот факт, что многие среди нас, да, да, многие, я подчеркиваю это, особенно мингрельцы, а я тоже мингрелец, с окончаниями фамилий на «ия», «оя», «ая», честно говоря, даже хвастались тем, что Берия занимает высокий пост в Москве. Это, так сказать, льстило нашему национальному самолюбию. Правильно я говорю? Правильно. Мало того, что товарищ Сталин грузин, карталинец, вождь всего прогрессивного человечества, вот Лаврентий Павлович Берия, мингрелец, держит в руках чекистский меч. Дело дошло до того, товарищи, что мингрельцы начали называть себя «грузинами-первый сорт», в отличие от других. (В зале шум). Да, да, товарищи-амханагебо, это не секрет и незачем теперь делать вид, что этого не было. Вот, товарищи, например, вам такой факт: один мингрелец из района решил переехать в Тбилиси и устроиться на хорошую работу только потому, что он мингрелец. Приехав в Тбилиси, он выбрал красивое здание, вошел в него и стал искать земляков. Идет по коридорам, смотрит на двери и читает над-

писи: «Бухгалтерия», «Канцелярия». Сердце радуется у него. Он потирает руки и сам себе говорит: «Молодцы мингрельцы, везде мингрельцы». Идет дальше, читает надпись на двери: «Уборная». Тут он пришел в полный восторг и сказал сам себе: «Вот сюда я и пойду!» (В зале смех и аплодисменты. Выкрики: «Позор»! «Стыдно мингрельцам!» «А еще говорят о евреях!»).

Нет, дорогие товарищи, это вам не хурма, это факт, это весьма печальный факт. Но мы должны без утайки говорить о том, что привело нас к притуплению нашей партийной бдительности!

Во-вторых, товарищи-амханагебо, вот в присутствии нашего первого секретаря и приехавшего к нам из Москвы секретаря ЦК КПСС, я должен сказать прямо и открыто с большевистской честностью, что многие из нас, если не все, **боялись** этого самого Берия. Да, да, боялись. Это несмываемое пятно на нас, но это так. Мы больше походили на чиновника, который в прежнее время чихнув на мундир начальника, потом не знал, как искупить свою вину, как об этом написано в замечательном рассказе Лермонтова. (В зале реплика: «Чехова!»). Правильно, товарищи, Чехова, мы дрожали за свою шкуру, мы угодничали, подхалимничали, лизоблюдничали! Я не говорю обо всех, но я говорю о многих, многих... (В зале опять шум). Нет, нет, товарищи, это вам не хурма. И вот почему наша первая задача сегодня, здесь на активе, в порядке большевистской критики и самокритики, выявить ставленников и прихлебателей товарища Лаврентия Павловича Берия. Извините, товарищи, не товарища, не Лаврентия и не Павловича, а просто **империалиста** Берия. (Шум в зале усиливается). Не надо создавать впечатление, товарищи-амханагебо, что я был главным ставленником и прихлебателем Берия. Повторяю, я не говорю обо всех, но я говорю о тех, которые сейчас сидят в этом замечательном зале, в качестве участников этого партактива, а на прежних партактивах и партконференциях, в этом же замечательном зале, кричали до потери сознания: «Да здравствует руководитель большевиков Закавказья, лучший ученик великого Сталина, Лаврентий Павлович Берия!» Кричали, товарищи? Кричали. До потери сознания? До потери сознания. О чем говорить?! Вот по-

чему, товарищи-амханагебо, я повторяю, наша первая задача, сегодня здесь на активе, в порядке большевистской критики и самокритики, выявить и ставленников Берия и его прихлебателей! (В зале реплики: «О себе говори!» «Ты и есть прихлебатель!» «Признавай свои грехи!»).

Правильно, товарищи. Правильно! Я должен прежде всего рассказать о самом себе и чистосердечно покаяться перед нашей родной партией и ее боевым ЦК. Это, товарищи, не так легко признать свои ошибки, но откровенная исповедь единственный путь к предотвращению дальнейших ошибок. Этому учит нас наша родная партия, наша партия-мать. И вот от обидных слов, товарищи-амханагебо, в порядке большевистской критики и самокритики, я перехожу к конкретным фактам. Однако, прежде чем перейти к конкретным фактам, я должен сказать, что во время перерыва, тут в кулуарах кое-кто из ответственных товарищей, кое-кто из номенклатурных товарищей, советовал мне добровольно стать, так сказать, «козлом отпущения», то-есть, принять на себя, так сказать, главный удар. Я ответил этим ответственным товарищам, этим номенклатурным товарищам, что я не могу этого сделать, так как это не честно, так как это противно моей партийной совести. Я могу отвечать только за себя, за свои действия, но я не могу отвечать за действия других. А еще мне посоветовали добрые друзья заболеть, схватить грипп или изобразить дипломатическую ангину и не явиться на актив. А один очень темпераментный работник из ТК, вот тут в театре имени Захария Палиашвили, предложил мне свой парабеллум, чтобы я пошел в туалет и застрелился... (В зале реплики: «Кто эти люди? Имена! Имена!»).

Обойдемся без имен, товарищи-амханагебо, не будем усугублять наши ошибки. Важно, что я отверг все эти порочные и беспринципные идеи и решил, что самое правильное в моем положении это принести на алтарь партии свое искреннее покаяние! (На глазах у А. П. выступили слезы).

Позвольте мне, товарищи, выпить «Боржоми» перед тем, как начать конкретный разговор. (Пьет «Боржоми», снимает галстук, кладет его в карман, пот льется с него градом, вытирает платком глаза).

Итак, товарищи-амханагебо, участники партактива ЦК и ТК КП Грузии, вам, конечно, известно, что я до сих пор являюсь председателем Комитета по делам физической культуры и спорта при Совмиде Грузинской ССР и кандидатом в члены ЦК КП Грузии. Думаю, что сегодня, вот выйдя на эту трибуну, я последний раз говорю, как председатель Комитета по делам физической культуры и спорта при Совмиде Грузинской ССР и как кандидат в члены нашего ЦК, потому что завтра на Бюро ЦК меня, по справедливости, снимут с занимаемого поста, выведут из кандидатов в члены ЦК и отберут великолепную квартиру в 8 комнат, которую я занимаю вот уже 10 лет. Повторяю, это будет справедливым решением. Больше того, я должен получить строгое партийное взыскание и быть направлен на «низовую» работу в какой-либо Ахалцхский район... (Реплики: «Слез не будет, не жди!» «Сочувствия ищешь!?»). Нет, товарищи, я не ищу сочувствия. Я признаю целиком и полностью свою вину. И я не могу и не имею права преуменьшать ее. Нет, товарищи, нет!

В течение более десяти лет, находясь на посту председателя Комитета по делам физической культуры и спорта, я поставлял Лаврентию Павловичу Берия живой товар в виде молодых физкультурниц... (В зале шум, говор, слышны реплики: «Бесплатно или в порядке хозрасчета?» «В каком объеме?»).

Вот тут спрашивают: «Бесплатно или в порядке хозрасчета?» Нет, товарищи, бесплатно, бесплатно и добровольно, на, так сказать, партийно-патриотических началах. Что правда, то правда. Впрочем, если бы я этого не делал или отказался бы от этого, то меня давно бы выкинули, как говорят, на помойную яму истории или сослали бы в отдаленные места необъятной Сибири. Это была, если хотите, служебная необходимость, так сказать, дань, оброк, налог. Собственно, говоря честно, в порядке большевистской критики и самокритики, именно в результате своднической деятельности я и продержался на своем посту так долго, это ведь редкий случай в нашей государственной и партийной практике, чтобы человек просидел на одном месте более десяти лет. Правильно я говорю? Правильно!

Как же все это происходило и как все это началось?

Я должен рассказать об этом чистосердечно и без утайки. Но прошу, товарищи-амханагебо, не поднимать волну и не перебивать меня репликами. (В зале становится абсолютно тихо).

Вам всем хорошо известно, товарищи-амханагебо, что по почину великого гения человечества Сталина, в нашей стране с давних времен празднуется так называемый День Физкультурника. В этот день в Москве, на Красной площади, устраивается массовая демонстрация физкультурных коллективов Российской Федерации и национальных республик, с большим количеством аттракционов, спортивных игр и, так сказать, театрализованных представлений, иными словами говоря, пантомимы и так далее.

В этом параде физкультурников, который мы по праву называем «Парадом силы и красоты», повторяю, принимали участие делегации всех 16 суверенных нац. республик. И между делегациями этих республик, естественно, происходили соревнования. Наша грузинская делегация, как правило, всегда была в числе лучших, если не наилучших. Мы тратили на подготовку наших физкультурников, на шитье костюмов, на цветы, на снаряды, на постановку и репетиции огромные деньги, миллионы рублей. А вы представляете каких денег все это стоило государству в совокупности!? Поездки, гостиницы, кормежка. Зато это всегда было великолепным зрелищем, прославляющим нашу Родину, и Совмид СССР сделал правильно, постановив на следующий день после парада устраивать на стадионе «Динамо», а позже в Лужниках, повторный парад, но уже с продажей билетов, чтобы окупить в определенной мере расходы... (Реплика: «Ближе к делу!»).

Правильная реплика, товарищи. Я приближаюсь к «делу».

Однажды, это было в 1946 году, да, через год после окончания войны, когда я привез свою спортивную делегацию в столицу, накануне парада, мне позвонили в гостиницу «Москва», где я остановился и где находился штаб грузинских физкультурников, и передали, что Берия приглашает меня, а со мной вместе и группу физкультурников Грузии, к себе на дачу, сегодня вечером. Звонил мне начальник секретариата Берия, ныне репрессированный Степан Мамулов. Извините, товарищи,

не Степан, а просто Мамулов. Этот самый Мамулов весело добавил, что предпочтительно взять с собой девушек-физкультурниц. Я повторяю, товарищи-амханагебо, девушек-физкультурниц.

Теперь, чтобы не вводить в заблуждение участников этого партактива, положив руку на сердце, я должен признаться, что о том, что Берия любит женщин и меняет их, как перчатки, я знал уже давно, еще находясь на комсомольской работе, в период, когда Берия, будучи секретарем Закрайкома ВКП(б), устраивал у себя на даче в Ликанах небольшие «афинские ночи». Я знал даже о том, что один из секретарей ЦК комсомола Грузии, не буду называть его имя, так как он вошел в историю чистым и незапятнанным человеком и уже почитает там, на небесах, возил к нему на дачу, то-есть, на дачу Берия грузиночек из комсомольского актива и они там, так сказать... (В зале реплика: «Играли в кошки-мышки!»). Правильно, товарищи, именно так: играли в кошки-мышки. Так что когда этот самый Мамулов сказал мне, что лучше взять с собой девушек-физкультурниц, я понял в чем дело... (Реплики: «Дальше! Дальше!»).

Позвольте, товарищи, мне выпить «Боржоми». (Пьет «Боржоми», тяжело дышет). И не торопите меня, товарищи-амханагебо. Имейте в виду, что я, хотя и являюсь председателем Комитета по делам физической культуры и спорта, как я сказал, последний день, у меня очень больное сердце и мне трудно дышать. (Реплика: «Может быть, ожирение сердца?»). Правильно, товарищи, номенклатурная болезнь: ожирение сердца. Так вот, товарищи... Лаврентий Павлович закатил шикарный ужин. Я, конечно, взял с собой самых красивых девушек, предупредив о том, что Берия не любит, когда девушки его не слушаются. Я сказал об этом в шуточной форме, но девушки меня сразу поняли, на то они и девушки, чтобы такие намеки сразу понимать... (В зале смех). Среди них была чемпион по бегу на 100 метров, заслуженный мастер спорта Лили Квиркелия. Я называю эту фамилию, товарищи, так как о том, что Лили была любовницей Берия знают у нас даже школьники. Это не для кого не секрет. Или может быть это секрет только для мужа Лили, уважаемого профессора Ираклия Квиркелия...

(В зале смех, первый секретарь в президиуме стучит карандашом о стакан. Восстанавливается тишина). И вот именно в тот вечер Лили и стала любовницей Берия и, автоматически, заслуженным мастером спорта. В дальнейшем же она, так сказать, отбивала у меня хлеб, так как тоже поставляла Лаврентию молодых и красивых девиц.

В тот вечер, по существу, я лично познакомился с Берия, так как до того, всего лишь видел его и слышал его выступления на различных активах, конференциях и так далее. Лаврентий Павлович даже провозгласил за столом тост за мое здоровье, назвав меня вождем грузинских физкультурников. Да, да, товарищи, это факт, а не реклама. (В зале иронические аплодисменты). Вино лилось рекой, шашлыки, чехохбили, бозбаши, сулгуни, сациви — стол ломился от грузинских кушаний... Представляете себе? Не думаю, чтобы у царя Ираклия был такой стол. (Пауза). А потом Берия дал мне весьма недвусмысленное указание: каждый год к Дню Физкультурника подготавливать для него нескольких грузинских физкультурниц. (Реплика в зале: «Что ты и делал, вождь грузинских физкультурников!»).

Правильно, товарищи, что я и делал. В составе своей делегации я всегда имел нескольких девушек уже заранее предупрежденных о том, что они будут «представлены» в Москве лично Берия. Но кроме того, да, да, кроме того Берия, находясь на мавзолее рядом с великим Сталиным, во время парада, мог выбрать себе девочку, разглядывая нашу делегацию. В этом случае он запоминал ее место в соответствующей шеренге, а Рафик Саркисов, нет просто Саркисов, начальник его охраны, звонил мне и говорил: «Привези шестую справа, в третьей шеренге». Я привозил шестую справа. И никогда не ошибался. Нет, товарищи, не ошибался! Иногда мне приказывали привезти двух или трех одновременно. Я привозил двух или трех одновременно. Из разных шеренг. Одну, например, гимнастку, и двух ядрометательниц. Берия особенно любил ядрометательниц. И рекордсменок, с медалями. Как-то на даче у Лаврентия я был свидетелем такой пикантной сцены. Но это не для стено-

граммы. Я прошу в стенографическую запись это не вносить. (Следует рассказ нецензурного характера, с неприличными словами. В зале возгласы возмущения перемежаются со взрывами смеха и даже с улюлюканием, первый секретарь ЦК КП Грузии стучит карандашом по стакану и переговаривается с секретарем ЦК КПСС, постепенно в зале восстанавливается порядок).

Товарищи участники партактива ЦК и ТК КП Грузии, амханагебо. Берия требовал от меня сванок, а где я мог взять сванок, когда их по пальцам пересчитать, на всю Грузию две-три студентки в Госунте...

Товарищи участники партактива Центрального комитета и Тбилисского комитета Коммунистической партии Грузии, я заявляю решительным образом, что о том, что я поставляю Берия грузинских физкультурниц было хорошо известно в ЦК КП Грузии, прежнему первому секретарю ЦК и кое-кому еще из бюро ЦК. Больше того некоторые высокопоставленные товарищи всячески поощряли эту мою деятельность, так сказать, «нагрузку», и один из них, например, всегда при встрече говорил мне, что надо подбирать пухленьких, да, да, он так и говорил, **пухленьких** и рыженьких, а рыженьких, как известно, в Грузии днем с огнем не найдешь, мало их, очень мало, так же мало, как и сванок. Больше того, один из секретарей ЦК, арестованный по мингрельскому делу и недавно выпущенный на свободу, приезжал на репетиции, которые мы проводили на стадионе имени Лаврентия Павловича Берия, перед поездкой в Москву и «просматривал» тех девушек, которых я подготовил для Берия. Но и это не все, товарищи-амханагебо. Вокруг этого «дела» существовал известный ажиотаж. Да, да, ажиотаж. Мне со всех сторон звонили достаточно важные люди и предлагали кандидатов в физкультурную делегацию, имея ввиду, конечно, специальную миссию, т.-е., «представление» Берия. Как-то мне позвонил по правительственному телефону уважаемый всеми нами товарищ, министр, я не буду называть его имени, но он сейчас сидит в этом зале, позвонил и предложил в состав делегации свою дочь. Он сказал: «Она хорошенькая и Лаврентию

понравится». Добрый папаша, не правда ли? (В зале выкрики: «Безобразие! Имя! Кто этот министр? Имя! Имя! Возмутительно! Позор!»).

Я не могу без разрешения первого секретаря ЦК КП Грузии назвать имя этого министра. Но если первый секретарь разрешит... вот видите, товарищи, он делает знак, что лучше воздержаться. Я воздерживаюсь, товарищи-амханагебо. (А. П. выпивает «Боржоми», вытирает со лба пот, ждет когда в зале станет совсем тихо).

Теперь, товарищи, обратимся к внутренней, так сказать, психологической стороне дела. Вот я задаю такой вопрос: как же это случилось, что я занимался такой позорной деятельностью? Нет, я спрашиваю: о чем я думал, когда занимался всем этим, вернее, как я себя оправдывал в собственных глазах, занимаясь сводничеством на столь высоком государственном и партийном уровне? Или я был таким подлецом, что вовсе об этом не думал?

Нет, товарищи, я об этом думал, думал. Много думал. И я не был подлецом. Я, товарищи, вырос в бедной семье около Мухранского моста. Отец мой умер, когда мне было три года. Мать моя, Аграфена, стирая белье и убирая в богатых домах, вырастила меня и мою сестру, Верико. Моя мать, Аграфена, воспитала меня морально чистым и выдержанным человеком. И таким меня сделал наш ленинский комсомол. Пять лет, товарищи, я учился в Москве. У меня, товарищи, жена и трое детей. Всем известно, что я никогда не бегал за девочками и что я примерный семьянин. Я люблю свою жену и своих детей. Но как же я, примерный семьянин и морально выдержанный коммунист, мог, наряду со своей основной, государственной работой в Комитете по делам физической культуры и спорта, которую я всегда любил и которой я отдавал все свои силы, все знания, всю энергию, как же я мог наряду с этим «обслуживать» сексуальные нужды Берия и дискредитировать, по существу, такой замечательный праздник, как День Физкультурника?

Скажу откровенно, товарищи-амханагебо, в порядке большевистской критики и самокритики, что я говорил себе следующее: «Берия второй или почти второй человек после великого

Сталина. Он ведет огромную государственную работу и в интересах нашего великого народа, чтобы он был здоров и работоспособен, а для этого... (Реплика в зале: «Значит ты заболел о здоровье Берия!?»). Да, товарищи-амханагебо, я заболел о здоровье Берия так, как бы я заболел о здоровье и нуждах нашего отца, товарища Сталина, Иосифа Виссарионовича, если бы такие были. Я говорил сам себе, что эти мелкие издержки неизбежны, что в государственных делах надо уметь отличать первостепенное от второстепенного. Я говорил себе, что девушек миллионы, а Берия один. Конечно, я был не прав, товарищи-амханагебо. Я это говорю сейчас только для того, чтобы показать вам, каким был ход моей мысли, при попытке оправдаться перед собственной партийной совестью.

(В зале поднимается сильный шум. Со всех сторон реплики: «Сводник с партийным билетом!» «Он еще философствует, подлец!» «Позор!» «Вон из партии!» «Получил команду сверху — кайся, а то хуже будет!». Первый секретарь встает и делает предупреждение. Шум продолжается. Первый секретарь призывает актив к порядку. А. П. пьет «Боржом» и сморкается. Шум постепенно стихает).

Во-первых, товарищи, никто мне сверху не говорил: «Кайся, а то хуже будет». (Первый секретарь кашляет). Я каюсь потому, что у меня есть в этом внутренняя большевистская потребность, потому что так приказывает моя партийная совесть. Да, да, совесть! Во-вторых, реплики: «Позор», «Сводник» и другие — правильные реплики, товарищи, правильные. С этой высокой трибуны я торжественно заявляю, что я виноват и искупление своей вины вижу только в одном, в чистосердечном раскаянии. Я приму любое партийное взыскание, но я прошу ЦК оставить меня в рядах партии и дать мне возможность искупить свою вину... (Тяжело дышет, на глазах слезы, в зале слышится что-то вроде смеха, но реплик нет, так как первый секретарь ЦК КП Грузии заранее стучит карандашом о стакан).

А кроме того, товарищи-амханагебо, я спрашиваю вас: в чем дело? Рамбавия?⁵ Почему? За что? Вы вот создаете впечатление, что я был чуть ли не самим Берия, вы поднимаете

⁵ По-грузински: «В чем дело?»

волну, а посмотрите на самих себя, вспомните о том, что это вы, вы, да, да, вы (стучит кулаком по трибуне, переходит на крик, жилы на шее вздуваются, становится весь красный, как арбуз) называли главную и самую красивую площадь в Тбилиси площадью имени Лаврентия Павловича Берия. А разве не вы, вы, да, да, вы называли наш замечательный стадион, стадионом имени Лаврентия Павловича Берия? А разве не вы, да, да, вы называли многие районы в нашей республике, колхозы и совхозы, заводы и фабрики именем Лаврентия Павловича Берия? Почему вы не хотите, чтобы я разделил вину вместе с художниками Грузии, с писателями Грузии, с кинематографистами, театральными работниками, с деятелями науки, которые создавали полотна, скульптуры, романы, пьесы, фильмы, спектакли и научные исследования, посвященные Лаврентию Павловичу Берия? Так, например, в Академии наук Грузии был написан труд: «Роль Лаврентия Павловича Берия в развитии грузинского шелкопряда». (В зале тишина).

А-а-а-а, теперь вы молчите!? Притихли? (Стучит кулаком по трибуне). А я вам скажу, товарищи-амханагебо, прямо, по партийному или, если хотите, по комсомольски, так сказать, с комсомольским задором: «Вот мне в перерыве один ответ-работник предлагал свой парабеллум. Ну, что ж, можно и застрелиться. Но если уж стреляться, то давайте, товарищи, стреляться все вместе! Тут одним парабеллумом не обойтись!» (В зале раздаются аплодисменты, но сразу стихают).

Товарищи, я только что получил записку из зала, без подписи, анонимная. Читаю эту записку: «Как был убит ваш Берия?» Почему мой, он не мой. И вообще странная записка. Станный вопрос. Как? Очень просто. Как расстреливают предателей? Ставят к стенке, завязывают глаза, раздается команда «пли». Вот и все. Говорят, правда, что Берия в последнюю минуту закричал: «Да здравствует коммунизм!», но это выдумка, товарищи-амханагебо, выдумка. Как Берия мог это закричать, когда он был агентом американской разведки Си-Ай-Эй. Вот если бы он в последнюю минуту закричал: «Да здравствует Уолл-стрит!» или по крайней мере: «Да здравствуют бабы!» Вот в это я бы поверил. А вообще говоря, товарищи, я считаю

этот вопрос праздным. По-моему, стыдно, да, да, стыдно, товарищи, в такой момент проявлять подобное любопытство. Это значит, что некоторые наши коммунисты до сих пор не понимают того, что произошло и проявляют редкое легкомыслие, более того, это означает что среди нас есть коммунисты, которые не верят в сообщение нашей прессы, а в прессе было сообщено, что было судебное разбирательство дела Берия и что его приговорили к расстрелу. Не достаточно ли этого? Вот тут в президиуме сидит уважаемый, почтенный товарищ Михаил Кучава, который был членом этого суда и, которого, между прочим, позже некоторые мингрельцы, к их позору, шепотом называли «братоубийцей», так как товарищ Кучава тоже мингрелец и тоже имеет окончание фамилии «ава»... (Из президиума А. П. дают знать, что регламент вышел).

Я кончаю. Товарищи-амханагебо... (Охрип, пьет «Боржом»). Я кончаю свое выступление призывом к тому, чтобы утроить нашу бдительность и быть достойными сынами нашей великой эпохи, нашей дорогой партии, нашей замечательной **Родины**. Никакие Лаврентии Павловичи Берии, нет, товарищи, не Лаврентии, не Павловичи, а просто Берии, никто не сможет остановить поступательного движения социализма, который захватил умы всего прогрессивного человечества и который явится могильщиком империализма, принеся людям, населяющим земной шар, долгожданное счастье.

Да здравствует, товарищи-амханагебо, наш народ-созидатель! Да здравствует наша родная коммунистическая партия и правительство, тоже родное, конечно, и да здравствуют славные ленинцы, товарищи Маленков и товарищ Хрущев!

(В зале бурные аплодисменты).

Юрий Кротков

МАНИФЕСТ

Я, Одоевцева, громогласно —
Всем правительствам и всем народам —
Заявляю о своих правах
На владение луной.

Мне принадлежит луна,
Мне и никому другому!
Кто бы первый не ступил на луну
И чей бы флаг не взвился на ней — Луна моя!

Это ясно и бесспорно,
В этом и сомненья нет —
Ведь луну мне Гумилев
Подарил в морозный вечер
В девятнадцатом году.
Он сказал уверенно и твердо
Голосом гортанным, глуховатым
И торжественно его слова звучали:
— Властью данной Богом мне
Я сегодня вам дарю луну!
Вам она принадлежит навеки,
Вы теперь богаче всех на свете —
Никогда не забывайте —
Вам принадлежит луна!

Гумилев тогда своим подарком
Изменил мою дальнейшую судьбу —
Оттого-то я была богата
В самой черной нищете,
Оттого-то ни одна утрата
Мне не причинила зла,
Оттого я и в аду крошечном
Эмиграции легко прошла,
Что вела меня по гибельным дорогам
Мне принадлежащая луна.

Против лунников и всех Аполло,
Тех, что кружатся вокруг луны,
Я не протестую.
Разрешаю даже космонавтам — если смогут —
Высадиться на луну.
А к кому — законно и неоспоримо —
По моей последней воле
Перейдет луна
Я еще пока что не решила.
Все же обещаю скоро
Обнародовать мое решение.

Ирина Одоевцева, 1969

МОИ РОДИТЕЛИ*

ГЛАВА 34

Когда отцом была окончена повесть «Крейцерова Соната» цензура по каким-то причинам не сочла нужным ее пропустить в печать. Моя мать сейчас же решила ехать в Петербург хлопотать у царя о снятии цензуры и разрешении печатать.

Приехав в Петербург, она обратилась к гр. А. А. Толстой, прося ее устроить прием у царя, который согласился принять мою мать, вопреки своим правилам никогда не принимать женщин по деловым вопросам. Моя мать отправилась во дворец, ее встретил скороход и повел наверх по большой лестнице в приемные комнаты. Следуя довольно быстро за ним, а мать всегда ходила быстро, она не рассчитала своих сил и войдя в приемную почувствовала сильное сердцебиение и испугалась, что того гляди лишится чувств. Сев в кресло она собрала всю силу воли, чтобы успокоиться. На ее счастье она приехала во дворец на полчаса ранее назначенного ей времени и за это время сердцебиение прекратилось.

Когда государь вышел она могла спокойно изложить ему свою просьбу. Государь выслушал ее с большим вниманием и обещал рассмотреть ее дело. Он говорил с ней 45 минут, расспрашивал про отца, про нашу семью, интересовался что пишет отец в настоящее время и был очень ласков и внимателен.

Моя мать уехала в тот же вечер в Москву очень довольная приемом и в радужных надеждах. Через некоторое время царь снял запрет цензуры и «Крейцерова Соната» была напечатана, а в голодный год была продана в один из больших русских журналов, и вся выручка, не помню сколько десятков тысяч, была отдана на помощь голодающим. Драма «Власть Тьмы» была также запрещена цензурой для постановки в русских театрах.

Мать также выхлопотала ее постановку при помощи друга

* См. кн. 93, 94 «Н. Ж.».

нашей семьи А. А. Стаховича, который был принят во дворце и будучи прекрасным чтецом предложил государю прочесть эту драму. Царь согласился. Во дворец было приглашено много народа и Стахович прекрасно прочел «Власть Тьмы», произведя сильное впечатление на слушающих. Особенно впечатлен был царь. Он приказал снять запрет и «Власть Тьмы» была поставлена во всех театрах Российской Империи.

Графиня А. А. Толстая говорила, что Александр III очень ценил и гордился моим отцом, как большим русским писателем, но конечно порицал его философское учение, считая его разрушительным для государственного строя и вредным для молодежи, которая ложно понимая его учение революционизируется.

Несмотря на многократные предложения министра Победоносцева обезвредить Толстого, выслав его за границу, царь с ним не соглашался. Он говорил, что Толстого я никому не дам тронуть, это гордость России и с такими предложениями больше ко мне не обращайтесь. Я не намерен делать из Толстого мученика и обратить на себя всеобщее негодование.

Отца это мучило, так как за его учение, как например, отказ от воинской повинности, отказ от платежей налогов и за другие противогосударственные поступки некоторые из его последователей были судимы и посажены в тюрьмы, а его самого главного пропагандиста, не трогали. Это было тяжело моему отцу, хотевшему самому пострадать за свои убеждения.

ГЛАВА 35

В 1892 году в России был неурожайный год и отец с моими старшими сестрами и братьями уехали в губернии, охваченные голодом. Как я писал раньше отец всегда с увлечением отдавался делу, которое начинал, и с большим рвением организовывал помощь голодающим. Он написал горячую статью в газеты с просьбой присылать пожертвования, которые полились со всех сторон России и даже Европы. На эти деньги были организованы в деревнях столовые и пекарни, где кормились крестьяне. Затруднение состояло в том, что на местах невозможно было что-либо достать и приходилось закупать все необходимое для прокормления голодающих в дальних губерниях, не пострадавших от неурожая. Вагоны шли со всех сторон Рос-

сии и отцу удалось спасти очень много деревень от голодной смерти.

Мать моя оставалась в Москве с младшими детьми, собирая многочисленные частные пожертвования, закупая вагонами рожь, пшеницу, горох и дрова и отправляя все это в голодные места, к отцу. Пожертвования присылались в Москву на имя отца или матери. Ей тяжела была разлука с мужем, но она понимала необходимость этого дела и сочувствовала ему.

Вот выдержка из ее письма после серьезной болезни всех младших детей:

«Я так рассчитывала, что тебе хоть немного станет жаль меня и ты приедешь меня проведать; девочек не хотела отрывать от дела да думала, что телеграммой испугаешь, а писать чтоб приезжали помочь — пока дойдет письмо и пока доедут, Бог даст все выздоровеют — так и вышло. Теперь я наладила и жизнь свою, и дела, и сердце. Пусть все живут при деле. Дело во всяком случае прекрасное и полезное. Я всей душой ему сочувствую и помогаю чем могу».

Видя весь ужас голодающих и их страдания, отец написал статью, в которой нападал на богатые классы и проводил в этой статье свои христианско-анархические взгляды. Я не помню была ли эта статья напечатана в газетах, — может быть из-за цензуры она появилась только в отдельных листках, которые ходили по рукам.

В один прекрасный день вдруг появляется в ультра правой реакционной монархической газете «Московские Ведомости» статья, невероятно грубо ругающая моего отца за возмущение умов молодежи против правительства. Газета приводила выдержки из английской газеты «Дейли Телеграф», где была напечатана эта статья в переводе некоего англичанина Е. Диллона, который не постеснялся переделать ее по-своему на социалистический пропагандный лад, придав ей совершенно другой революционный характер. В этом переводе слышался призыв к восстанию. Государь, правительство и общество были очень возмущены. Рассказывали даже, что собирался совет министров, в котором обсуждался вопрос, как поступить с Толстым. Ходили слухи, что отца вышлют за границу или лишат права выезда из Ясной Поляны, что очень взволновало мою мать.

Сравнив английскую статью с оригиналом, она увидала

фальсификацию и пришла еще в большее беспокойство, еще усиливавшееся ежедневно приходившими письмами от родных и знакомых, которые писали как достоверное, что отца вышлют или даже посадят в тюрьму. Она написала опровержение в газетах, но оно не было принято, так как поступил запрет от министерства внутренних дел что-либо печатать по этому поводу.

Вот выдержка из письма сенатора Кузьминского: «Графиня А. А. Толстая два раза имела разговоры с государем об этой статье; во второй раз государь выражал крайнее негодование и, между прочим, высказал, что самого краткого опровержения со стороны Льва Николаевича в том смысле, что статья в «Дейли Телеграф» написана не им, совершенно было бы достаточно, чтобы снять с него обвинение, которое теперь к нему предъявляется и таким образом успокоить умы, взволнованные этой статьей». Его жена, Татьяна Андреевна, пишет: «Дело обстоит так: напечатали прокламацию, а не статью по выражению всех, все прочли. Говорили мне сенаторы из Государственного Совета, из комитета министров, да это же и нам не-служащим ясно. Зачем давать клеветать на себя и делать незаслуженную репутацию. Ты знаешь, что собирался комитет министров и уже решали предложить выезд за границу, да государь во время остановил. Я слышала из разных источников все то же самое. Государь обижен, говорил, что я и жену его принял, что ни для кого не делаю, и что он не ожидал, что его предадут англичанам — самым врагам нашим. Про предложение выслать за границу упорно ему толкуют, а поэтому тебе советую — действуй».

Тогда она написала министру Дурново, прося его поместить опровержение в газетах, но министр ответил матери следующее: «При всем желании исполнить вашу просьбу, я затрудняюсь допустить обнародование доставленного мне вами опровержения по той причине, что оно, вызывая по существу своему основательные возражения, несомненно породит дальнейшую полемику весьма нежелательную по соображениям до общественного порядка относящимся».

Тогда моя мать поехала к великому князю Сергею Александровичу, московскому генерал-губернатору, прося его помочь опубликовать ее опровержение. Великий князь ответил, что не может ей помочь в этом, ссылаясь на запрет министра

внутренних дел, но посоветовал ее мужу послать опровержение в «Правительственный Вестник», в единственную газету, в которой было разрешено печатать что-либо по этому поводу.

В обществе было большое негодование не на моего отца, а на газету «Московские Ведомости» за то, что она именем отца взволновала умы. После посещения вел. князя мать писала отцу: «По словам и по тону в. к. я поняла, что все напряженно ждут от тебя несколько слов объяснений, что ничего пока не предпринимают, но что если это объяснение не появится, тогда... Вот это-то и ужасно. И объяснение, как это он дал мне почувствовать, не для того, чтобы тебе оправдаться, а для того, чтобы в такое время успокоить поднявшееся недоразумение публики и уличить, уничтожить «Московские Ведомости». Провожая меня, вел. князь сказал: «Очень благодарю вас, графиня, за ваше посещение». Потом прибавил: «Я слышал, что вы так много трудитесь, что на вас так много возложено обязанностей, во всем вы одна». Теперь, вот что, напиши, милый друг, несколько слов, а именно, что в иностранные периодические издания ты ничего не посылал... Ради Бога, сделай это, успокой меня, я живу теперь в таком ужасном состоянии...»

Отец на это письмо отвечал: «Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях «Московских Ведомостей» и что ты ездила к Сергею Александровичу. Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, много раз, в гораздо более сильных выражениях было сказано раньше, что же тут нового? Это все дело толпы, гипно-тизация толпы, нарастающего кома снега. Опровержение я написал, но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй и не прибавляй и даже не позволяй изменять. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и только правду и вполне отверг ложное обвинение.

Письмо отца в «Правительственный Вестник»: — «В ответ на получаемые мною от разных лиц письма с вопросами о том, действительно ли написаны и посланы мной в английские газеты письма, из которых сделана выписка в № 22 «Московских Ведомостей», покорно прошу поместить следующее мое заявление.

Писем никаких в английские газеты не писал. Выписка же, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая мне, есть очень измененное, вследствие двукратного, сначала на английский потом на русский язык, перевода моей статьи, еще в ок-

тябре отданной и не напечатанной, и после того отданной, по моему обыкновению, в полное распоряжение иностранных переводчиков.

Место же в статье «Московских Ведомостей», напечатанное вслед за выпиской из перевода моей статьи крупным шрифтом и выдаваемое за выраженную будто бы мной мысль во втором письме о том, как должен поступать народ для избавления себя от голода, есть сплошной вымысел. В этом месте составитель статьи пользуется моими словами, употребленными совершенно в другом смысле, для выражения совершенно чуждой противной моим убеждениям мысли.

С совершенным уважением,

Лев Толстой».

12 февраля 1892 г.

В конце концов «Правительственный Вестник» так и не напечатал опровержения моего отца на том основании, что полемика не допускалась в этой газете. Тогда моя мать отдала оттектографировать 100 экземпляров письма отца и разослала их в 30 периодических изданий, из которых многие его напечатали.

В одном из писем за это беспокойное время для моей матери, она пишет: «Таня (моя старшая сестра. М. Т.) кому-то в Москве сказала: «Как я устала быть дочерью знаменитого отца». — А уж я то как устала быть женой знаменитого мужа».

ГЛАВА 36

Мать моя родилась в 1844 году. Ее отец, Андрей Евстафиевич Берс, доктор при дворцовой конторе в Москве, был женат на Любви Александровне Иславиной. Жили они в Москве, в Кремле, где моему деду отведена была казенная квартира, а летом вся семья уезжала на дачу под Москву — Покровское-Стрешнево, где и родилась моя мать. Их воспитывали по старинному: учили дома иностранным языкам, которые они должны были знать в совершенстве, музыке, танцам и всем наукам, которые требовались для получения диплома после экзамена при университете.

Мать моя блестяще выдержала этот экзамен и особенно отличилась своим сочинением на тему: — музыка. Братья моей матери воспитывались в казенных заведениях. Мать рассказывала, что когда она и ее сестры были уже взрослые барышни,

они ходили гулять всегда в сопровождении гувернантки, а сзади в ливрее шел лакей. Они не могли себе представить, что в их время барышни могли выйти на улицу иначе и одни.

Мой отец с детства знал мою бабушку Берс, которая была старше его только на два года и еще семилетней девочкой разделяла с ним и его братьями детские игры и шалости. В своих воспоминаниях брат моей матери С. А. Берс пишет: «Описывая свою первую любовь в «Детстве и Отрочестве» Толстой умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которой и была моя матушка, девяти лет от роду и которая от того долго хромала. Он сделал это от того, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она говорила ему: «Видно для того ты меня в детстве столкнул с балкона, чтобы жениться на моей дочери».

Отец, приезжая молодым человеком в Москву, всегда заезжал в Кремль повидаться с семьей Берсов и знал мою мать еще ребенком. Когда ей минуло 18 лет он сделал ей предложение и женился на ней. Он был старше моей матери на 16 лет. Перед тем, чтобы сделать ей предложение, он долго колебался, боясь большой разницы лет, но его сильное увлечение пересилило колебания.

Первое объяснение в любви им было сделано в селе Красном, имени моего прадеда, отца моей бабушки Берс. В Красном собралась вся семья Берс, куда также приехал отец. После окончания вечера с танцами, отец подозвал мою мать к карточному столу. Написав мелом первоначальные буквы длинной фразы, он попросил мою мать разгадать смысл этих букв. Сосредоточившись она, к большой его радости и удивлению, разгадала смысл написанного; он написал вторую фразу и она также отгадала. В этих фразах были выражены чувства моего отца к ней.

Через неделю в Москве, куда он проехал следом за семьей Берсов, им было написано письмо с формальным предложением, которое и было принято. Предложение и жениховство отца описаны им почти дословно в «Анне Карениной» — Левин и Кити.

ГЛАВА 37

Когда моя мать приехала в Ясную Поляну, она была почти ребенок. Не зная жизни и не имея никакого понятия о домашнем хозяйстве, она начала с большим рвением входить в хо-

зайственную колею, что ей было трудно из-за старых слуг, которые не хотели менять свои привычки и давно установившегося порядка дома, а также из-за полного незнания дела. Но со свойственной ей энергией, она быстро все взяла в свои руки, переменяла в доме то, что ей не нравилось, а не нравиться ей могло многое.

Отец никогда не вмешивался в домашнее хозяйство, ему было совершенно все равно, как и что подавалось к столу, была ли сметена пыль со столов, стульев и остальной мебели, он был равнодушен к тому, как были одеты слуги, много ли побито посуды и т. д.

Моя мать принялась приводить все в порядок, старые слуги ворчали, но в конце концов подчинились и полюбили ее. Она ввела в дом новые порядки, заставляя повара, несмотря на его ворчанье, готовить кушанья по рецептам их старой экономки Трифоновны, которые подавались к столу в семье Берсов. Особенно сложный и вкусный пирог готовился по рецепту друга ее отца, московского доктора Анке, под названием Анковский пирог, подававшийся в самые торжественные случаи жизни. Мой отец в шутку называл этот Анковский пирог эмблемой уклада жизни семьи Берсов.

Отец радовался на ее работу, начал замечать, что ест вкуснее и в доме стал порядок и чистота. Он подшучивал над старой экономкой Агафьей Михайловной, дразнил ее, что в доме стало лучше и порядка больше, на что та добродушно ворчала. Отец начал вводить мою мать также в дела сельского хозяйства, которым он в то время очень увлекался.

Вот выдержка из его письма к ней 1864 года: «Скажи Орлову (управляющему М. Т.), чтобы лучшую землю (самую навозную) не засевал, а оставил под пшеницу, которую привезут из Никольского (другое имение М. Т.). В выборе земли пусть спросит совета у старосты Тимофея, еще скажи ему, чтобы он посмотрел саженый клевер, не перепустить бы его, т. е. как бы головки не свалились. Еще семенной клевер надо обирать. Послать туда 10 девочек и Соню (моя мать М. Т.) с ними если хорошая погода и ощупать головки, класть в фартуки, а из фартуков в телегу».

ГЛАВА 38

Оторванной от совершенно другой среды, моей матери сперва была мало понятна и чужда деревенская жизнь, которой

жили наши русские помещики, но она быстро применилась к этой жизни и начала помогать своему мужу и по сельскому хозяйству и по переписке его рукописей. Затем когда пошли дети, забота, любовь и внимание были обращены на них, но главной заботой неизменно был муж, без любви которого она не могла себе представить жизнь и который с первых дней ее замужества и до его смерти заполнял ее существование. Смысл ее жизни был служить ему.

Из тринадцати детей она выкормила собственной грудью одиннадцать. При рождении моего старшего брата Сергея у нее сделалась грудница; доктор советовал взять кормилицу, но отец этому противился, считая безнравственным отнимать молоко матери у чужого ребенка и отдавать это молоко своему; в конце концов, по настоянию А. Е. Берс, отца моей матери, и, кроме того, видя страдания жены, отец сдался; кормилица была взята и благополучно выкормила моего старшего брата. Почти со всеми остальными детьми во время их кормления у моей матери появлялась та же болезнь, но несмотря на невероятные страдания она выкормила всех.

Вот, что она пишет в одном из писем к мужу (1888 год, Москва): — «Очень плохо идет мое кормление, милый друг. Одна грудь до того разболелась, что после всякого кормления я вся в поту и чуть ли не истерика готова сделаться и невозможно от слез удержаться. Какие адские боли и как все в мире устроено не натурально. Таня увидала случайно каково мне кормить и с каким-то ожесточением стала твердить: «надо взять кормилицу!» Но я еще не думаю о кормилице и молю Бога о терпении. Молока мало, у ребенка такие худенькие ножки, и он весь — и личико и все тельце — худенькое и мне уж его жалко. На этот раз стало жалко раньше шести недель, — бывало после». Несмотря на страдания она довела кормление этого ребенка до конца.

Восемнадцать лет первоначальной супружеской жизни моих родителей были самым счастливым их временем. Отцом писались «Война и Мир», «Анна Каренина» и многие другие художественные произведения, в писании которых моя мать принимала деятельное участие. Она была главной его переписчицей, а переписывать рукописи отца было невероятно трудно, так как он перечеркивал слова, вписывая вдоль и по-

перек новые мысли и часто сам был не в состоянии разобрать свой собственный почерк.

Мать дает ему на просмотр чисто переписанную рукопись, а он снова вписывая между строк, все перемарает, перечеркнет и приведет всю рукопись в такое состояние, что кроме моей матери никто не мог в ней разобраться.

«Война и Мир» была переписана ею семь раз. Эта работа ей не была в тягость, она вместе с отцом увлекалась его творчеством. Отец иногда соглашался с ее мнением относительно характеров своих героев, особенно характеров женских. Вот выдержка из письма отца к матери: — «А я так и не сказал, за что ты умница. Ты, как хорошая жена, думала о муже, как о самой себе, а я помню, как ты мне сказала, что мое все военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше, и я помню, как ты мне сказала это и всю тебя помню».

ГЛАВА 39

Это время было самое счастливое для обоих и для всей семьи. В Ясную Поляну в то время наезжало не много народа. Приезжали поэт Фет, которого отец очень любил, Дьяков — друг юности отца, Н. Н. Страхов, философ и критик, которого высоко ценил и уважал мой отец, Тургенев, художник Крамской, написавший прекрасный портрет отца и другие культурные и приятные моим родителям люди.

У отца было его писание, сельское хозяйство, охота, семейная жизнь, подрастающие дети, которыми он занимался, давая им уроки, следя за их воспитанием и входя в их детские интересы, любящая и им любимая жена, общие интересы, полное согласие и взаимное понимание друг друга. Мать пишет в своем дневнике: «Нам не нужно было гостей, с нами жили герои 'Войны и Мира'».

У нее был он, ее муж, которого она любила больше всего на свете, дети, домашнее хозяйство и творчество мужа, захватывающее ее не менее его самого. Отец за время их счастливой жизни никогда ничего не скрывал от жены, даже самые свои заветные мысли. Он находил, что иначе не может быть счастья в семейной жизни, если есть что-нибудь скрытое и недогово-

ренное между мужем и женой. В многих своих сочинениях он проводит эту мысль.

В романе «Война и Мир» Пьер, возвратившийся из Петербурга, где он видел много для него интересных людей, и увлеченный новостями, которые он там узнал, обменивается впечатлениями с женой, которая также делится с ним своими переживаниями за время их разлуки. В этом разговоре отец несомненно описывает свои собственные чувства, когда ему приходилось возвращаться из Петербурга или Москвы домой после общения с людьми ему нужными и интересными.

Вот выдержка из «Войны и Мира»: — «Наташа, оставшись с мужем одна, разговаривала с мужем так, как только разговаривают жена с мужем, т. е. с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики, без посредств суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом...»

Далее в этом отрывке идет: — «Начался этот разговор противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга. Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими».

Когда отец уезжал из дома по делам или на охоту, родители ежедневно писали письма друг другу и их духовная связь не прерывалась. Если письмо пропадало или запаздывало, то посылались телеграммы или нарочный с запросом не случилось ли чего-нибудь. Вот выдержка из письма матери: — «Не знаю, что и думать, что вы со мною делаете, нынче Семен весь день ждал телеграммы, а ее не было; завтра посылаю опять. Я в ужасном горе и тревоге. Точно меня бьют, бьют, и я все желаю, чтобы было больнее, чтобы поскорее это кончилось. Мне представляется Бог знает что — всевозможные бедствия и случаи. Неужели никому в голову не пришло, что мне будет ужасно, если я не получу телеграммы?»

А вот выдержка из письма отца (1896, 26 октября): — «От

тебя еще не было ни одного письма, милый друг Соня, а я пишу уже третье. Я знаю, что ты не виновата, но мне приятно самому себе похвастаться своими чувствами к тебе».

Письмо от 12-го ноября 1896 года: — «День не писал тебе, милый друг, и мне уже скучно. Писать лучше чем думать, только больше сближает...»

Вся семья целый день была занята своим делом и жизнь была настолько полна, что моей матери никогда не удалось побывать за границей, которая ее очень интересовала: — времени не хватало. То болен ребенок, то отцу не на кого оставить хозяйство, то новые мысли, которые надо поскорее записать, пока они свежи, то ушла гувернантка детей, надо искать новую, то беременность и т. д. — и таким образом за всю жизнь моей матери не удалось найти свободного времени, чтобы вырваться из дома и увидеть новые страны.

ГЛАВА 40

Когда начали подрастать старшие дети и надо было давать образование, мои родители решили переехать в Москву и там отдать детей в гимназию. Сначала семья жила в наемном особняке, а затем отец купил дом с большим садом, в котором мы всегда жили зимой в Москве, в Хамовниках.

В 1882 году была назначена перепись населения в России и отец принял деятельное участие в этом деле. Он выбрал самые бедные кварталы города Москвы и пришел в ужас от той нищеты, которую он увидал. Он начал мучительно искать способ уничтожить людскую несправедливость и пришел к тому убеждению, что жизнь богатых людей неправильна и безнравственна, что нельзя жить в роскоши, когда существуют люди голодные, живущие в нищете, в невероятной грязи, холоде и разврате. Он начал раздавать направо и налево деньги, думая этим помочь, но это его не удовлетворяло. Ему стало ясно, что раздав все свое состояние и даже в тысячу раз больше, эта раздача не исправит зла. Это-то и было началом его духовного сдвига.

Не буду описывать все его искания и душевные мучения, которые он испытывал в это время, ища истину, все это описано многими другими и им самим. Скажу одно, что так же, как и он, мучалась моя мать, видя душевные переживания и страдания мужа.

Когда отец нашел истину в учении Христа, он начал проводить в жизнь опрощение. Он перестал есть мясо, курить, охотиться, перестал пить вино и стал носить простую одежду. Стремясь осуществить свой идеал, он решил раздать все имущество, сесть на клочек земли, добывая засушенный хлеб собственными руками и распространять то, во что он уверовал, а именно — любовь, добро и помощь ближнему.

Мать не могла пойти на такой подвиг и представить себе жизнь с кучей детей без тех удобств, к которым привык отец и вся семья. Она убеждала мужа не ломать привычной жизни, в которой выросли дети и которую он сам создал. По ее мнению, это будет несчастье всех благодаря неприспособленности всей семьи к такой жизни.

Отец уступил ей, но устранился от управления имуществом, которое по его новым убеждениям, было злом. Передав управление всем состоянием и делами по издательству жене, он продолжал развивать и углубляться в свою религиозную философию. Мать старалась сочувствовать мужу, но не могла искренно с ним согласиться, что повлекло за собой духовный разлад, которого раньше не было.

На мою мать пала вся тяжесть управления довольно крупным имуществом, ответственность воспитания и образования детей, которыми отец перестал заниматься, издательство сочинений, ведение корректур, а кроме того после стольких родов, она уже не чувствовала себя физически здоровой. Здоровье ее было сильно подорвано, а боязнь потерять любовь мужа и даже его самого особенно подтачивала ее здоровье и приводила в нервное состояние.

Многие знают, как отцу было тяжело после его духовного перелома оставаться жить в той относительной роскоши Ясно-Полянской жизни, продолжая старый образ жизни, но главная причина, побудившая его остаться, была любовь и жалость к жене, которая — он хорошо это знал — не перенесет его ухода.

Привожу письмо отца к моей матери, когда в 1897 году он решил покинуть Ясную Поляну: — «Дорогая Соня, уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас до сих пор, я тоже не мог, думая, что я лишу детей пока они были малы хотя бы того малого

влияния, которое я мог иметь на них и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я хотел давно сделать — уйти; во-первых, мне с моими все увеличивающимися годами все тяжелей и тяжелей становится эта жизнь, и все больше и больше хочется уединения, а во-вторых, потому, что дети выросли, влияние мое в доме уже не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия с моими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты **не могла**, буквально не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением так энергически и твердо несла то, чему считала себя призванной.

Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет, мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не мог иначе. Не могу и тебя обвинить, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать

за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня, любящий тебя, Лев Толстой».

Письмо это не было передано моей матери. Оно хранилось у моей сестры М. Л. Оболенской и было передано ей после смерти отца, по его желанию.

Опять борьба ума и сердца, но на этот раз сердце победило и отец остался, кажется, его уговорили остаться его настоящие друзья. Не могу не поместить выдержку из сочинений известного русского писателя Вересаева «Художник жизни — Л. Н. Толстой», где его мнение вполне сходится с моим. Ни удобства жизни, ни что-либо другое, но любовь отца к матери удержали его исполнить свою заветную мечту — уйти из дома и служить своему идеалу, своей многолетней мечте.

«Толстой горячо и нежно любит свою жену. При таком их взаимном отношении нам легче станет понять почему так смертно труден был для Толстого его уход от жены. Для него это значило с мукой, с кровью вырвать из сердца глубоко вросшую в него любовь и вырвать всякую жалость. Он будет глубоко и блаженно дышать свежим воздухом чистой новой жизни, а в это время она — эта больная, измученная женщина будет где-то в одиночестве исходить в проклятиях и хулениях на жизнь, а возможно, будет уже лежать в земле, изрезанная в куски колесами увезшего его поезда, — как Анна Каренина, жестоко мстительная, торжествующая, совершившая угрозу никому ненужного, но неизгладимого раскаянья.

Вот в чем был соблазн, тридцать лет удерживавший Толстого от ухода, а не в салате из помидоров и в ячменном кофе со сливками, который ему готовила София Андреевна».

ГЛАВА 41

После 18-летней согласной жизни, разлад этот был очень тяжел для обоих. Раньше все интересы были общие и духовные и материальные, теперь же самая главная связь — духовная — рухнула. Образовалась пустота, непонимание друг друга и разногласие. Выдержка из письма матери 1885 года: — «.....Могу обижаться если детьми не интересуешься и мной, и внутренней жизнью нашей и горем и радостью, могу огорчаться, что когда ты живешь вместе с семьей, ты с ней больше еще врозь, чем когда мы врозь живем. Вот это все грустно, и если непо-

правимо, то надо стараться и с этим мириться. И я успеваю в этом и привыкаю понемногу. Ушли не мы от тебя, а ты от нас. Насильно не удержишь. Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет, впереди Тани и Лели, например, на 40 и хочешь, чтобы все летели и догоняли тебя. Это непонимание, я вижу, как они идут, падают, шатаются, спотыкаются, опять весело идут по пути жизни и стараюсь тут помочь, там поддержать и зорко смотреть, чтобы не свернули, куда-нибудь, куда можно провалиться безвозвратно. Насколько я это умею и могу это другой вопрос, но я никогда, пока жива, и не совсем с ума сошла, не скажу, что я врозь от семьи и не помирилась бы с мыслью, что я с детьми своими совсем врозь, хотя и живу вместе. — Прощай, жаль, что ты желчно нездоров и что не работаешь. Соня».

Ответ моего отца: — «В обоих твоих письмах, милый друг, проскальзывает раздражение на меня за то, что я писал в письме к Тане. Зачем раздражаться и обвинять и говорить, что непоправимо. Все поправимо, особенно взгляд на жизнь. Пока живем, все изменяемся и можем изменяться, слава Богу, и больше и больше приближаться к истине. Я только одного этого ищу и желаю и для себя и для близких мне, для тебя и детей, и не только не отчаиваюсь в этом, но верю, что мы сойдемся, если не при жизни моей, то после. Если я написал, что мы живем вместе-врозь, то это хотя и правда, но преувеличено и не надо было писать этого, потому что это как будто упрек. А я пуще всего считаю неправильным — упреки и потому каюсь в этом».

Если бы между ними не было той сильной взаимной любви, они не так бы страдали, чувствуя духовное расхождение.

Вот выдержка из дневника отца 1895 года, 25 октября: — «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске и мне стало страшно жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилию удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится и в глубине души она боится, что я не люблю ее, не люблю ее, как могу любить всей душой и что причина этого наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Еще больше люблю тебя, всю понимаю и знаю, что не могла, не могла прийти ко мне и от того осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, и такую, какая

ты есть, люблю тебя и люблю до конца так, как больше любить нельзя...»

На следующий день, 26 октября, он пишет матери (конец письма): — «Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный».

26 октября 1895 года, ответ моей матери: — «Сегодня такая радость была твое письмо и Левино и отношение мальчиков ко мне. Те облачка, которые, как тебе кажется, еще затемняют иногда наши хорошие отношения — совсем не страшны. Они чисто внешние, результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, но совсем не вытекают из внутренних причин. Внутреннее, самая основа наших отношений остается серьезная, твердая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Слава Богу и за это. И оба мы смотрим на одну точку, — на выходную дверь из этой жизни, не боимся и стремимся к одной цели — Божеской. Какими бы путями мы ни шли, это все равно».

ГЛАВА 42

Работа моей матери была непосильна даже сильному, здоровому мужчине. Целыми днями она занималась то учением детей, то учетом книг по издательству сочинений, то кройкой и шитьем белья и платьев для детей и мужа, и сидела еще с больными глазами до двух, трех часов утра за корректурами.

Кроме той работы, которую она несла, дом наш за последние годы был наполнен самыми разнообразными людьми, утомлявшими мою мать. Некоторые, без всякого приглашения со стороны родителей, живали месяцами, доставляя матери только лишнее беспокойство и хлопоты. Семья редко оставалась одна без постороннего, никому ненужного люда, не представлявшего для матери никакого интереса.

Привожу отрывок из письма матери 1898 года из Москвы в мае месяце: — «Здесь этих корректур и 15-ой части и книг для чтения накопилось без меня 8 больших листов. До двух часов ночи два вечера я читала, даже глаза болят. Ни одной души не видала, да никого тут и нет. Иногда так тоскливо, что просто по-детски плакать хочется. Теперь скоро съедемся, надеюсь, в Ясной все».

И вот другое однородное письмо, написанное ею 11 лет раньше, 1887 г., апреля, Москва: — «Сейчас вернулась из конторы, где сидела одна одинешенька с шести часов до девяти с половиной вечера. Приходится страшно работать, чтобы как нибудь кончить старое издание. Делала справки, что страшно утомительно, написала 13 писем и еще надо написать и сделать справок на 123 письма. И это только по старому алфавиту. Верно столько же по новому. Завтра поеду по банкам, а вечером на лекцию. Днем буду Мишу учить и свои дела справлять. Корректоров я нашла, но надо их еще испытывать, а пока я все держала корректуры по трем типографиям. Уж если кто умеет в затяжную работать то право только я. Зато и не весела и не добра. Тебя — моей утехы — нет, и я нахожу дикое и упоительное утешение в моей непосильной работе. Точно пьянство. Всякий по своему пьянствует».

Натура ее была очень живая, энергичная и невероятно трудоспособная, она не могла оставаться без дела. Только урывками в свободные минуты она с наслаждением предавалась своим любимым занятиям — музыке, чтению, работам в саду и играм с детьми. За этими работами она отдыхала от скучных обязанностей по управлению имуществом, которые были возложены на нее. Музыку она очень любила и понимала, в тяжелые минуты музыка успокаивала ее нервы и приводила в равновесие душевное состояние.

Она любила симфонические концерты и часто играла сама на фортепиано, то одна, то в четыре руки с кем-нибудь из живших или гостивших в Ясной Поляне. Она любила читать философские книги и с удовольствием читала новинки, появлявшиеся в печати. В юности она написала несколько рассказов и повесть под заглавием «Наташа». Отец для «Войны и Мира» взял тип этой Наташи и перенес его на страницы своего романа в лице Наташи Ростовой даже не меняя имени. Она с упоением работала в саду, сажая цветы, растения и деревья. К цветам, которые всегда стояли в вазах во всех комнатах дома у нее была особая нежность.

Вот выдержка из ее письма к отцу в апреле 1899 года: — «Ездила я в Ясную по делам, а вместо того увлеклась радостью быть в деревне; бегала везде как девочка, рвала и выкапывала душистые фиалки, мылась в пруду, обегала все посадки, сад, ездила по купальной дороге, кругом елок и домой по Грум-

монтской дороге — я давно не была в таком восторге. Но все-таки пересмотрела все книги, распорядилась везде и порадовалась на густые зеленыя и почки яблонь и хорошую траву...»

Занятия и игры с детьми, сначала с собственными, а позднее с внуками были одним из любимых ее развлечений. Помню как в детстве она нам устраивала кукольный театр и с увлечением разыгрывала все действия, меняя голос то на мужской, то на женский, одновременно переставляя раскрашенные картонные куколки. Мы детьми очень это любили и с наслаждением смотрели и слушали эти незатейливые пьески. Когда я привозил своих детей в Ясную Поляну, театр этот снова появлялся, представление шло с таким же успехом, и мои дети следили за представлением с тем же интересом и наслаждением.

ГЛАВА 43

Несмотря на приведенные факты, характер матери нельзя назвать жизнерадостным. Она часто видела худшую сторону вещей, поэтому болезни детей и мужа приводили ее в большое нервное беспокойство, сильно увеличившееся после смерти пяти детей, и особенно после смерти последнего ребенка Ивана, которого она любила какой-то болезненной любовью. Эта смерть окончательно расшатала ее здоровье и подорвала энергию душевных сил.

Дети, оставшиеся без мужского руководства, конечно, не очень ее слушались и иногда доставляли ей много хлопот и огорчений своим плохим поведением и плохими успехами в учении. Ей было трудно справляться с нами; несмотря на нашу к ней громадную любовь, мы причиняли ей много тревог. Мне было лет 11, когда мать тяжело заболела и доктора опасались за ее жизнь. Мой брат Андрей и я были этим очень удручены. Помню, я заперся у себя в комнате и начал молиться Богу, прося Его не отнимать у нас матери и после этой молитвы поклялся, что лишу себя жизни, если мать умрет раньше, чем мне минет 14 лет. Почему я назначил себе этот срок, я теперь не помню, но ясно помню именно цифру 14.

Вспоминая мать и нашу с ней юношескую и детскую жизнь, я с ужасом вижу, какие огорчения я доставлял ей своей ленью в учении, непослушанием и плохим поведением. Я не понимал тогда, как трудна была ее жизнь со всеми заботами, тревогами и душевными переживаниями по отношению к мужу,

к детям и к тем тяжелым обязанностям, в которые впрягли ее обстоятельства, и как она была невероятно измучена физически и нравственно за последние годы после духовного перелома отца.

Мать, не желая быть не искренней и привыкшая говорить мужу все, что у нее было на душе, смело высказывала ему свое несочувствие и несогласие с его взглядами и тем еще более отдаляла его от себя. Он же не находя ее сочувствия был очень духовно одинок. В своем дневнике он записывает: «Я отдал бы всю славу и известность за взаимное понимание». Мать надеялась на чудо, на то, что муж переменит убеждения, что вернется к писанию художественных произведений, что они отвлекут его от его философии.

В 1892 году она отвечает мужу: — «Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде. Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасение, радость. Вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и освятит нашу жизнь».

ГЛАВА 44

В 1883 году, как раз во время духовного одиночества отца, к нему приехал Чертков и выразил ему полное единомыслие во всех его философских и религиозных взглядах. Отцу было радостно, что к нему приехал человек, всецело разделявший его убеждения и сблизился с ним.

Чертков до приезда к отцу был офицер Конно-гвардейского полка, одного из лучших полков в России, был очень богат, вращался в высшем придворном обществе Петербурга и был на виду в полку и при дворе. В обществе считали, что он делает большую административную карьеру и пойдет далеко, но эта карьера не была ему по душе, ему хотелось другого.

Когда к обеду ежедневно подаются изысканные, вкусные блюда, эти блюда скоро приедаются и хочется простой пищи вроде черного хлеба или кислой капусты, этот хлеб и эта капуста кажутся тогда невероятно вкусными. Также и Черткову, избалованному богатством и лестью окружающих, надоела его прежняя жизнь и избитая блестящая карьера его предков. Выросший в сектантской семье (его мать была сектанткой) он не пошел по проторенной дороге всех больших администраторов,

он искал другой славы и пришел к Толстому — мировой знаменитости.

Чертков был человек тщеславный, упрямый, лицемерный и сектантски тупой. С самого начала своего знакомства с отцом он возненавидел мою мать, которая мешала ему забирать и увозить неизвестно куда оригиналы дневников и рукописей, исправлять их по своему и вычеркивать то, что ему не нравилось. Он вписывал в дневники отца свои собственные мысли, которые часто не соответствовали мыслям отца и потому моя мать предпочитала высылать ему копии, оригиналы же увозила на хранение в Румянцевский музей в Москве. Ей там была отведена особая комната, где хранились рукописи отца.

Чертков только на словах следовал за основной мыслью моего отца, которая была — любовь. В сердце Черткова любви не существовало: у него не было жалости. Он шел упрямо и тупо к намеченной цели, ставя всё в узкие рамки. Он не задумывался поступать зло и холодно, если не сказать безчестно, чтобы добиться цели. Повидимому, его лозунг был «цель оправдывает средства». Он требовал, чтобы ему отсылались обратно те письма, в которых он возбуждал отца против моей матери. Ему не хотелось, чтобы эти письма были опубликованы после смерти отца.

Пошел бы он по другой дороге и был бы назначен генерал-губернатором или наместником, он не задумался бы спокойно, холодно, без угрызения совести подписывать смертные приговоры, лишь бы цель его была достигнута. Цель его была после смерти моего отца получить в полное безконтрольное распоряжение все рукописи и дневники для редактирования и издания этих сочинений, чего в конце концов он и добился. Матери моей это не могло нравиться. Она совершенно основательно с этим боролась, так как до появления Черткова она была единственной хранительницей всех рукописей и дневников отца, оберегая их неприкосновенность.

На этой почве и на почве вмешательства Черткова в семейные дела и в отношения ее к мужу у них происходили столкновения. В одном из писем к отцу 1892 года моя мать пишет: — «Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила». И дальше: — «Что за тупой и односторонне понимающий все человек».

Выдержка из письма Черткова к матери: — «...Вы знаете,

София Андреевна, как давно я воздерживался от высказывания Вам моего мнения о Ваших отношениях к Льву Николаевичу. Но раз Вы сами затрагиваете со мною этот вопрос, я чувствую, что обязан и со своей стороны ответить Вам откровенно и, правдиво... Для каждого человека вообще и для человека настолько самобытного, как он, в особенности, бывает только особенно мучительно и утомительно известного рода почти насильственное попечение о предполагаемом благе его личности, к которому так часто имеют обыкновение прибегать наиболее близкие по мирскому родству лица. Думая обеспечить его спокойствие и безопасность, Вы только временно заслоняете от людей ясное истинное представление о его нравственном облике, чем порождаете целый ряд недоразумений и усложнений, которые, конечно, в свое время рассеются, но которые тем не менее теперь при его плотской жизни вызывают только самые грустные и нежелательные практические последствия. Высказал я Вам все это, София Андреевна, для того, чтобы объяснить Вам почему если в данном случае Вы ошиблись, я однако в будущем не могу обещаться воздерживаться от такого именно отношения к Льву Николаевичу, которое Вы порицаете, но я считаю единственно правильным...»

Выдержка из ответного письма моей матери: — «...Ваше недовольство, что я упомянула о том, что человек 64 лет — старик, что деятельность утомила его и что он нервный — мне было удивительно. О духовном его состоянии я не говорила: не Вам, не мне его судить, а Вы наивно выражаетесь, что он — разумнее нас всех. Да разве такое сравнение возможно. Мы люди простые, односторонние, а он вековое явление. И если я 30 лет оберегала его, то теперь ни у Вас и ни у кого-либо уже учиться не буду, как это делать... Что касается вреда и страдания, о которых Вы упоминаете, что я причиняю мужу моему, то кроме Вашего взгляда, который усмотрел это — еще другого не было. Все видели и видят нашу 30-летнюю счастливую жизнь, а если последнее время иногда и казалось, что были тяжелые минуты, то только благодаря посторонним вмешательствам совершенно чуждых нам людей, которые сознательно и бессознательно портили нашу семейную жизнь и вторглись в нее...» Дальше: — «Больше мне Вам сказать нечего, как пожелать больше доброты и ясности и меньше вмешательств в чужую жизнь».

Я мог бы привести много фактов лицемерия и нечестности Черткова, но не хочется копаться в этой грязи. Скажу только, что моя младшая сестра Александра, которая, к сожалению, была против матери и при жизни отца в полном согласии с Чертковым, впоследствии когда Чертков снял маску, переменила свое мнение и порвала с ним всякие сношения. Также порвала с ним и моя старшая сестра Татьяна. Для меня всегда была загадка, как отец, такой знаток людей и так тонко чувствующий человеческую душу, не разгадал настоящее лицо Черткова.

ГЛАВА 45

Около тридцати лет Чертков вел свою гнусную работу против моей матери и когда отцу минуло 82 года и он очень ослабел, стал часто забывать самые обыкновенные вещи и даже иногда не узнавал родных и знакомых, Чертков убедил отца написать завешание, утвердить его в суде и скрыть этот поступок от жены и детей. Завешание это было написано на имя моей младшей сестры Александры с тем, чтобы она после смерти отца отказалась от авторских прав и передала права в общее пользование. Отец чувствовал, что поступает неправильно и противно своим убеждениям, обращаясь в суд, против которого он так много писал и говорил, а кроме того ему было неприятно скрыть это от жены и детей. Он много раз высказывал это чувство и в дневнике и своим друзьям, но благодаря своей слабости не был в состоянии противостоять требованиям Черткова. Друг и единомышленник отца П. Бирюков писал об этом: «Мне жалко было видеть, как Чертков, казалось мне, подчинял себе Льва Николаевича, заставляя его иногда совершать поступки, как будто несогласные с его образом мысли. Лев Николаевич, искренно любивший Черткова, казалось, тяготился этой опекой, но подчинялся ей безусловно, так как она совершалась во имя дорогих ему принципов». А в маленьком дневнике отца, который он никому не показывал, даже Черткову, и который он всегда носил при себе, старательно пряча, было написано: «Чертков вовлекает меня в борьбу... борьба эта тяжела и противна мне». Это было написано 30-го июля 1910 года, когда он подписал завешание, составленное Чертковым. Дальше в дневнике: «От Черткова письмо с упреками. Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти от всех».

Мать моя, привыкшая, что отец был с ней всегда откровенен, чувствовала, что от нее что-то скрывают, очень этим мучилась и мучила отца тяжелыми вопросами. Неправду он не мог ей говорить, а сказать правду запрещал Чертков.

В конце концов мать видела, что его возбуждают против нее, не видела к себе любви и жалости от домашних, кроме моих двух братьев, Льва и Андрея, и сестры Татьяны, чаще других детей наезжавших в Ясную Поляну. К концу жизни отца она, надорванная болезнями, родами и моральными страданиями, почти потеряла рассудок, мучилась сама и мучила отца. Кроме того Чертков и его соглядатаи всеми силами настраивали отца против матери, стараясь заглушить в нем жалость, которую он испытывал к жене. Но окончательно уничтожить эту жалость Чертков все-таки не мог. В ответ на письмо к Черткову, где тот нападает на мою мать, стараясь возбудить у отца нехорошее чувство, отец ему отвечает 14 августа 1910 года: — «...Я по опыту знаю, что когда я настаиваю (относится к моей матери) — мне мучительно, когда я же уступаю, мне не только легко, но даже радостно». В другом письме того же дня вечером: — «Связывает меня просто жалость, сострадание, как я испытал это особенно сильно нынче и о чем писал Вам. Положение ее очень тяжелое. Никто не может этого видеть и никто так сочувствовать ему».

Нервность матери все больше обострялась. Совместная жизнь моих родителей стала настолько невыносимой, что отец исполнил свое давнишнее желание и ушел из дома. Из Ясной Поляны он поехал прямо в Шамардинский монастырь к своей сестре Марии Николаевне, монахине. Его тянуло к ней. Она была ему дорога не только по кровному родству, но и по духовному. Не признавая церковь он все-таки сочувствовал и может быть завидовал сестре в ее религиозном уединении, к чему сам так сильно стремился, особенно в последние годы своей жизни. Заболев по дороге воспалением легких, он умер в доме начальника станции, в Астапове.

Мать моя скончалась восемь лет позднее отца при советском правительстве. Оставаясь жить в Ясной Поляне, она приводила в порядок свои дневники, воспоминания и обширную переписку (одних писем к мужу было около 700). Нервность ее прошла. Она жила воспоминаниями о муже, прося его в своих молитвах простить ее за те страдания, которые она не-

вольно причинила ему в последний год его жизни. Умирая, она просила прощенья у всех, кому она сделала при жизни зло или неприятность. Похоронена она в ограде церкви Ясно-Полянского прихода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не описываю подробностей всех тяжелых минут последних месяцев совместной жизни моих родителей. Они уже неоднократно описаны многими. Одни осуждают мою мать, другие отца. Я же считаю, что никто не виноват: ни он, ни она, — виновата судьба их соединившая.

Отец всегда искал в жизни прямую дорогу, ломая все, что ему встречалось по пути и не любил наезженных торных дорог. Когда он ездил верхом или ходил пешком по громадному казенному лесу вблизи Ясной, он избегал даже тропинок, а ехал прямо сквозь кусты, деревья, овраги, стараясь найти прямой путь к дому. Так же и в духовной жизни, он искал прямой путь к Богу и все, что ему мешало, как например, церковь, государственный строй, он отвергал. Он проповедывал опрощение, служение людям, трудовую жизнь, звал за собой жену, детей, но ни жена, ни дети не были готовы последовать за ним. Тогда он отошел от семьи и перестал участвовать в той жизни, которую он порицал, углубляясь все более и более в свои религиозные верования.

Мог ли он отказаться от той истины, которую он наконец нашел? Мог ли он пойти против самого себя, отказавшись от своего идеала? Можно ли его винить в том, что он ушел от материальной жизни? Можно ли винить его в том, что он ушел так далеко вперед от жены в своей религиозной философии? Истина, которую он нашел, была ему дороже всего на свете. Ни жена, ни дети, ничто в мире не могло заменить и изменить его убеждения. Но от этого разномыслия оба страдали и мучались.

Можно ли также винить мою мать, что она не последовала за мужем? Можно ли винить ее в том, что она не сошлась с ним во взглядах? Я уверен, что не будь у нее детей, она поступилась бы своими убеждениями и не задумываясь последовала за мужем, только чтобы не расставаться с ним и служить ему. Ей ничего не нужно было кроме мужа и детей, и помимо своей воли она очутилась, так же как и он, в безвыходном положении. Она

считала, что не имеет права распоряжаться судьбой детей и обрекать их на неведомое существование. С другой стороны муж, который был ей еще более дорог чем дети, отдалялся от нее. Что ей было делать?

Письма и наговоры Черткова на мою мать не могли не действовать на ослабевший организм отца. Он невероятно страдал от тяжелой атмосферы в доме. Мать же оставалась почти одна, больная, несчастная, затравленная этими мелкими, злыми, бесчестными людьми, не имевшими к ней ни малейшего сострадания. Если бы она не была женой Толстого, а вышла замуж за обыкновенного хорошего человека, она доставила бы семье и мужу полное счастье, то счастье, которое она доставила моему отцу в первые 18 лет их супружеской жизни.

Виновата ли она, что судьба заставила ее быть женой большого человека, который на второй половине их супружеской жизни решил сломать ту счастливую, полную, интересную жизнь, ушел от жены и семьи в свой духовный мир, который он искал и лелеял с детства?

М. Л. Толстой

12.IX.1944

Как смирю грызущую муку?
Сколько слез этой ночью вылью?
Как на казнь, мы шли на разлуку,
Ветер веял с развалин пылью.

Мы по улицам шли знакомым
Самых первых свиданий наших, —
Но слова стали в горле комом,
Каждый шаг был тягуч и страшен.

Шли — не веря еще — и веря,
Мимо прошлого, мимо, мимо..
Гарью дула в лицо потеря,
Безнадежно, непоправимо...

На губах еще долго стыло
Ледяных твоих губ касанье, —
И оно ведь последним было,
Как последнее целованье.



Позабудь и стоны и хрипы
Тех, кто смотрит в лицо концу —
Крупнолистую ветку липы
Притяни к своему лицу, —
Есть в расцвете ее блаженном
То, что выше смерти и лжи, —
И так медленно, так мгновенно
Наше горькое счастье — жить.



Речка чернеет в снегу,
Льется муаром под лед,
Что-то звенит набегу,
Что-то поет.

Солнце снега припекло,
В искорках потный сугроб,
Хрупких сосулেক стекло
О землю хлоп.

Вербы цветут веселей,
Шируются лужи синей, —
Скоро на волю, земле —
Радуйся с ней.



Слушай, жизнь! Меня, твою родную,
Тоже где-то в мире сохрани:
Я тебя к стихам моим ревную,
Я уйду, останутся они.

Ими полны многие страницы —
Легкий нержавеющей сосуд, —
Чей-то с ними взгляд соединится,
Чьи-то губы их произнесут.

Я беру лицо твое в ладони,
Посмотри — и улыбнись опять!
Неужели ты меня прогонишь,
Словно невнимательная мать?

Мне недолго пить красу земную,
Но пока я вижу и дышу,
Я тебя, любимая, ревную
Даже к моему карандашу.

Лидия Алексеева



Нет — не увидит этого никто:
Вот я иду — луна священно блещет,
А на земле лежит ее «ничто»
И превращается в земные вещи:

На водах дремлет лунная броня,
В лесу — прохлада лунных одеяний —
С земли перебегает на меня
Узорами нерукотворных тканей.

Так жизнь моя негаданно близка
К неверным созиданьям тьмы и света:
Я поднимаю руку и рука —
Бесплотными рисунками одета.



На голубом, высоком взгорье,
В долинах — тишины и сна,
Волнуя жизненное море,
Поет железная весна.

И тайнослышанье сметаю —
Электронической волной —
Ложь беспредельная — людская
Живет порукой круговой.

И все труднее слуху вникнуть:
Помимо лжи в иную речь!
От призванных на пир великих
Нам даже крох не уберечь.

А. Величковский

ДОБРО И ЗЛО У СОЛЖЕНИЦЫНА

Солженицын — огромная тема. В ней столько слагаемых, сколько сторон в советской действительности и о каждой из них следовало бы написать отдельно. Я коснусь лишь духовной стороны солженицынского творчества, преимущественно темы добра и зла. Я, конечно, не претендую на то, что выражаю взгляды Солженицына, я только делюсь впечатлением от его повестей и романов.

Мир Солженицына — трудный и сложный. Трудный потому, что трудно в нем приходится людям, сложный оттого, что касается он глубин человеческого сознания, где сталкиваются столько сил, что сложно за всем уследить. В этом мире происходят явления не всем понятные, особенно тем, кто сам не прошел через все круги земного ада. Но этим и велик Солженицын и этим, поистине, велик его страшный мир, что он очень легко мог бы стать миром только падения и отчаяния, тогда как у Солженицына это мир человеческого величия, неугасимого никакой тьмой.

По глубине и силе изложения Солженицына сравнивают с Толстым и Достоевским. Я не литературовед и не хочу делать сравнений. Суждение о месте Солженицына в русской и мировой литературе принадлежит истории. Но я хочу схематично и приблизительно разграничить эти миры. Мир Толстого — нормальный мир нормальных людей. Мир Достоевского тоже нормальный мир, но живут в нем ненормальные люди. Мир же Солженицына — ненормальный мир, в котором приходится жить нормальным людям. Действия его большой повести «Раковый корпус» и романа «В круге первом» происходят, первое в госпитале для неизлечимо больных, а второе в «привилегированном» лагере сталинских времен, на «Мавринской шарашке», под Москвой. Лагерь хоть и привилегированный — для ученых строящих ультрасекретные акустические приборы — но и в нем заключенным приходится сносить и унижения и издевательства, тогда как из их рассказов узнаешь, что вы-

несли они еще в других лагерях, в разных Речлагах, Песчан-лагах и прочих Гулагах, и узнавая это, невольно думаешь: возможно ли, чтоб через все это прошел человек и остался человеком?

А герои Солженицына — Костоглотов и Шулубин из «Ракового корпуса», дворник Спиридон и инженер Нержин из «В круге первом», Шухов из «Одного дня Ивана Денисовича» — не только душевно не опускаются, но становятся людьми, достойными «святейшего из званий — Человек», именно в этом унижении и в этих лагерях. Солженицын словно хочет раскрыть одну из глубочайших тайн бытия — претворение зла в добро через страдание.

Зло неистребимо. Но из земли, через претворение ее соков зерном, вырастает цветок. Из страдания, причиненного человеку злом, вырастает добро. Для этого нужна величайшая сила смирения. Только духовно сильный человек может подставить правую щеку, ударившему его по левой. Лишь смирение и любовь могут погасить зло, порождая добро. Таков смысл Голгофы.

Солженицын очень мало говорит о духе, о духовном. В его повестях почти нет по настоящему верующих людей. Самый яркий из них — тайком читающий в лагере Евангелие — баптист Алешка из «Одного дня Ивана Денисовича». Единственный же разговор о «Мировом духе» — слова умирающего Шулубина Костоглотову, в «Раковом корпусе». Но не боясь плохого парадокса можно сказать, что все описываемое Солженицыным происходит в царстве духа. Быть может даже вопреки замыслу автора у читателя создается впечатление, что происходящее в солженицынских повестях происходит на вершинах человеческого духа и движет его героями тот самый «Мировой дух», частицей которого чувствует себя, приговоренный неизлечимой болезнью к смерти, естественник-марксист Шулубин.

«А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не все я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового духа. Вы так не чувствуете?» — спрашивает он другого неизлечимо больного, Костоглотова.

Что поразительно у Солженицына, это — то, что унижения и страдания, через которые приходится проходить его героям, не ожесточают их, не заставляют отчаиваться. Поразительна

солженицынская вера в человека, его совершенно особый героический гуманизм. Он сам прошел все круги сталинских лагерей и остался человеком, и от других хочет, чтобы и они остались людьми. А как остаться человеком в звериных условиях сибирских лагерей?

В романе «В круге первом» есть показательный разговор между интеллигентом-инженером Нержиным и полуграмотным дворником Спиридоном. Нержин спрашивает:

«Как ты думаешь... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Может люди все хотят доброго — **думают**, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый, и вот причиняют люди друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Ну, как, мол, по твоей пословице, что, мол, сеяли рожь, а выросла лебеда?»

«Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон... — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!»

«Как-как-как?» — задохнулся Нержин от простоты и силы решения».

Солженицын уточняет: что дозволено псу, недозволено человеку! Волкодав поступает по своей собачьей природе. Людоед же — вопреки природе человеческой. Если бы людоед не был человеком, он был бы прав. Такова мудрость дворника Спиридона и такова философия писателя Солженицына, и она красной нитью проходит через все его творчество: самое большое зло, которое только может совершить человек — это **сознательно** творить зло **ради** зла.

В «Раковом корпусе» один из героев Солженицына, Костоглов, вспоминает, что когда два года назад в лагере распространился слух о смерти Сталина, кто-то в бараке крикнул: — «Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся!»

Званием Людоеда Солженицын, через Костоглового, удостоивает Сталина:

«Костоглову невозможно было вместить, что слышал он от вольных: что два года назад в тот день плакали старые, и плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Ему дико было

это представить потому, что он помнил, как это было у них. Вдруг не вывели на работу и барак не отперли, держали в запертых... Все явно показывало, что хозяева растерялись, какая у них большая беда! А беда хозяев — радость для арестантов! На работу не иди! На койке лежи, пайка доставлена... И поползло, поползло! Еще не очень решительно, но ходя по бараку, садясь на койки: «Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся...» — «Да ну???» — «Никогда не поверю!» — «Вполне поверю!» — «Давно пора!!»

Так, по разному воспринимали два мира — мир вольный и мир лагерный — смерть Сталина. Георгий Иванов писал:

Россия тридцать лет живет в тюрьме —
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и в Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Когда писались эти строки, Солженицын сидел в лагере. Сибирские лагеря — родина солженицынских романов и повестей. Там зарождались они среди страданий и унижений. Там, где «двести грамм хлеба жизнью правят», жила и продолжалась великая русская литература, которая на сталинской (и на послесталинской!) воле жить не могла. Там в лагерях хранилось великое и вечное России.

И здесь возникает вопрос, один из основных: что такое зло? Для чего оно пришло в мир? Солженицынские повести касаются той глубины бытия, его герои поставлены в то предельное, по ясперски «пограничное состояние», где зло порождает добро, становится как бы источником добра. Солженицын как бы хочет раскрыть загадочную фразу гётевского Мефистофеля, когда тот утверждает, что он — «часть той силы, которая всегда хочет зла и всегда творит добро». Солженицын не философствует и еще меньше богословствует об этой метаморфозе, но иллюстрирует ее примерами «почерпнутыми из людских биографий». Конечно, не всегда и не везде зло претворяется в добро и совсем не трудно вообразить себе мир, где бы добро не нуждалось в зле. Но Солженицын описывает не воображаемый, а реально существующий мир и хочет понять происходящее в нем.

Он сам провел восемь лет в лагерях. Почти все его герои — зека, все они жертвы зла: страшных сталинских лагерей, или

как Матрена из «Матренина двора», жертва людской злобы и несправедливости. Зато только они настоящие люди. А советский «нормальный мир», мир «вольняшек», это — мир зависти, злобы, мир торжествующего зла.

И вот происходит таинственный процесс: — зло «нормального» советского мира — создает какую-то горсть настоящих людей, без которых, по словам Солженицына, «не стоит село, ни город. Ни вся земля наша». («Матренин двор»).

Это солженицынское миропонимание уже чувствуется в его повести — «Один день Ивана Денисовича». Шухов — Иван Денисович — отсидев восемь лет в лагерях, однажды, после утомительного дня работы, возвращается в барак и задумывается: уж так ли ему нужен вольный мир?

«Шухов молча смотрел на потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет? По началу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. А где ему будет житуха лучше — там ли, тут ли — неизвестно».

Шухова пугала не только неизвестность. Может быть повлиял на него разговор с Алешкой-баптистом, которому он как-то сказал:

«В общем, сколько не молись, а сроку не спишут. Так от звонка и до звонка и досидишь».

«А об этом и молиться не надо, — ужаснулся Алешка. — Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями порастет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!»

Можно ужаснуться этим словам! Неужели в СССР для того, чтобы остаться человеком, чтобы «последняя вера терниями не поросла» нужно сидеть по тюрьмам и концлагерям?!

Нет, конечно. Неисповедимы не только Господние пути, но и пути человеческие. Солженицын это хорошо знает. Но он знает и другое: никакие испытания не сломят человеческого духа, если человек не дает поселиться в душе своей ненависти, зависти, мести.

Открытый Солженицыным свет, это, конечно, не оправдание страданий и тем более лагерей, как воскресение Христа — не оправдание Голгофской ночи и предательства Иуды. Для тех кто измеряет человека одними материальными факторами

и их «секрецией» — «идеологической надстройкой», такие утверждения никогда не будут убедительны. Для таких людей повести Солженицына представляются фантастическими, а по отношению к советской действительности, — почти «клеветой». Инженер Нержин, которого отправляют с Мавринской шарашки этапом в сибирские лагеря и куда — «может быть он не доедет. В телячьем вагоне умрет от дизентерии. Или конвой забьет его молотками за чей-то побег», — и которому один из товарищей предлагает похлопотать за него, отвечает:

«Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: **не море губит, а лужа**. Хочу попробовать пуститься в море».

Но уже раньше, в разговоре с другим зека, Рубиным, Нержин заметил: «Благословенье тюрьме! Она дала мне (возможность) задуматься».

Задуматься над самим собой. Разлученный уже больше года с женой и объясняя, влюбленной в него, вольной работнице Симочке, что главное не в том — дождется ли его возвращения жена, но в том, чтобы он сам ни в чем не мог себя упрекнуть, тот же Нержин говорит: — «Симочка! Я не считаю, что я хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но этого я набрался в поверхностно-благополучном мире. То, что плохо, мне не казалось плохим, а — дозволенным, даже похвальным. Но чем ниже я опускался в нечеловечески-жестокий мир — тем, странным образом, я чутче прислушивался к немногим, кто и там призывает к совести... Умирая, зная, что ты не подлец — это ведь тоже удовлетворение».

Приблизительно то же самое говорит в «Раковом корпусе» пятидесятилетний Ефрем Поддуев. За свою жизнь он сделал немало зла: «много баб разорил, с детьми бросал». Под Ижевским «сам семерых застрелил». А в больнице, перед смертью, словно прозрел: — «Больница сняла с него первую грубую стружку... А теперь только строгай!» Последнюю — сняло, прочтенное в первый раз, толстовское «Чем люди живы». И вот Поддуев, как и Нержин, понял, что главное для человека это — «иметь чистую совесть». Снова та же суровая солженицынская мораль: правда жизни, различие добра и зла позна-

ются в страдании и унижении. И выводы эти сделаны «не из прочтенных философий, а из людских биографий».

Другой герой, из романа «В круге первом», избалованный, утонченный советник посольства, дипломат Иннокентий Володин, попав из-за подслушанной по телефону фразы на Лубянку, во внутреннюю тюрьму, после очередного унижительного допроса, вернувшись в нетопленный бокс, начинает как-то по иному чувствовать мир. Солженицын говорит о нем: — «В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то **второе дыхание**, которое возвращает каменному телу атлета неутомимость и свежесть».

Володин становится подлинным **Человеком** не в своей дорогой квартире в Москве, не на дипломатических приемах в Париже, а в ледяной камере Лубянки.

Возникает невольный вопрос: можно ли назвать Солженицына христианским или хотя бы религиозным писателем, в традиционном смысле этих терминов? Мне кажется, что трудно, тем более, что рассуждений о религии и о христианстве в его повестях (за совершенно минимальным исключением) нет. Ни его собственных, ни — его героев. Написанное об Алешке-баптисте уместится на одну страницу. О Матрене же он говорит, что так и не понял — верила ли она действительно или так, по привычке, зажигала по праздникам лампадки и каждое дело начинала — «с Богом».

И тем не менее, вся обстановка солженицынских повестей, вся атмосфера, в которой живут его герои — религиозны, даже больше, чем религиозны: они невозможны без существования иного мира, без проникновения одного мира в другой. И именно эта их двухпланность, неотделимость одного плана от другого, их взаимопроникновение — вероятно, главная причина невозможности появления большинства этих повестей в Советском Союзе. Ведь, так называемое, советское руководство знает только одну «философию», верит только в один материальный план. И поэтому для них Солженицын — писатель антисоветский. Но Солженицын другого мнения: он **советский** писатель потому, что описывает всю **полноту** советской действительности, и не его вина, что другие этой полноты не видят.

В секретариате Союза советских писателей, куда он был

вызван 22 сентября 1967 года для дачи объяснений, Солженицын сказал: — «Задача писателя — избирать более универсальные и общие темы, тайны человеческого сердца и совести, встречи с жизнью и со смертью, преодоление боли души, законы человечности в истории, рожденные в недостижимой глубине тысячелетий, которые исчезнут только тогда, когда погаснет солнце». А в беседе со словацким писателем Павлом Лишко в марте того же года Солженицын был еще категоричнее: — «В наше время, когда жизнью завладевает техника, когда самой важной вещью становится материальное благосостояние, когда везде ослабевает религиозное влияние, перед писателем встанут совершенно особенные задачи: он должен восполнять места, оставленные пустыми».

Но если я называю Солженицына «религиозным писателем», то это совсем не в привычном, связанном с этим термином, смысле. Для меня Солженицын религиозный писатель потому, что таков реализм его произведений. Потому что **религиозен** его реализм.

Я думаю, что духовное всегда присутствует в материальном и настоящий реализм это такой, который ощущает жизнь, явления и вещи так, что наличие другого мира ощущается столь же явственно, как и этого. Поэтому-то Солженицын и сказал, что задача писателя — «восполнять места оставленные пустыми», в эпоху, когда «ослабевает влияние религии». Как же это сделать? Солженицын отвечает «преодолением смерти жизнью, прошлого будущим». И через такое преодоление проходят почти все его герои: Шухов из «Одного дня Ивана Денисовича», Поддубев и Костоглотов из «Ракового корпуса», Сологдин и Нержин из «В круге первом». Такому же испытанию одиночной камерой подвергается и Володин. Все они, пережив «пограничное состояние», получают посвящение в мистерии добра и зла. Все они переживают катарсис.

Характерным примером такого «религиозного реализма» Солженицына может быть 25-я глава «Ракового корпуса». Она посвящена женщине-врачу Вере Гангарт или «Веге», как ее называют в повести. Солженицын рассказывает, как Вега, после утомительного дня в больнице, возвращается домой в свою убогую «келью-камеру», убирает ее, что-то себе готовит и начинает прослушивать свои любимые пластинки, и под них, их

почти уже не слыша, вспоминает свою жизнь, свою единственную любовь — убитого на фронте жениха, которому поклялась остаться верной всю жизнь.

«Не потому, — поясняет Солженицын, — чтобы она считала себя навечно связанной обещанием: «всегда твоя...» Но и это тоже: слишком близкий нам человек не может умереть совсем, а значит — немного видит, немного слышит, он присутствует, он есть. И увидит бессильно, бессловно, как ты обмываешь его...»

И страницей дальше: — «Есть высокое наслаждение в верности. Может быть самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают».

И вот Вега начинает «воображаемо разговаривать с ним, будто он сидит тут же, через круглый стол, при том же зеленоватом свечении... Она говорила то, что ей нужно было сказать, и выслушивала его... А его убили на фронте».

Так она просидела до глубокой ночи. Ни о потустороннем мире, ни тем более, о Боге, Вера Гангарт не думает, как ни разу не пришло ей в голову помолиться, обратиться со своей болью, со своими чувствами к Кому-то, Кто мог бы ее услышать. Ни о каких религиозных переживаниях в этой главе не говорится. И тем не менее описанная Солженицыным сцена невозможна без существования другого «уровня» — духовного плана и связи, т. е. религии, между ними. Вот почему от всей сцены исходит духовное свечение.

Кто-то сказал о Толстом, что он обладал таким физическим зрением, что видел то, чего другие не могли видеть. Отсюда его описание раненого князя Андрея, когда лежа на Аустерлицком поле, тот увидел над собой «это высокое небо, которого он не знал до сих пор» и почувствовал, что оно — это небо — бесконечно важнее заметившего его, им обожаемого Наполеона, проходивших мимо генералов и вообще всего происходившего в эти минуты на земле. Описание переживаний раненого князя Андрея есть тоже религиозное описание, хотя ни о религии, ни о Боге князь Андрей не вспоминает. Толстой о них не говорит.

Таков настоящий реализм. Я его назвал религиозным потому, что он изображает действительность во всей ее полноте. Солженицын эту полноту воспринимает. Конечно, он пишет о Советском Союзе и о том, что там видел и пережил. Но видел

и пережил на таких глубинах и на таких вершинах, где уже нет ни коммунизма, ни капитализма и нет железных занавесов, отделяющих одни страны от других.

Как все большие произведения искусства, повести и романы Солженицына выходят за пределы страны, где они написаны и — странный парадокс — они быть может даже нужнее западному читателю, чем советскому. Не для того только, чтобы Запад узнал реальность Советского Союза, но чтоб задумался и над своей легкой жизнью с слепой погоней за материальными благами, над той пустотой, которую оставляет в душах эта легкая жизнь. Чтобы и людям Запада было чем заполнить «оставшиеся пустыми места».

Не прошло и года с тех пор, как «Раковый корпус» и «В круге первом» стали широко известны на Западе, а иностранная критика уже признала Солженицына одним из самых больших писателей нашего времени, если не самым большим. Некоторые критики увидели в его произведениях выход из материалистического тупика, в который все больше заходит современный мир. И не даром французский писатель и публицист Клод Руа сказал о романах Солженицына:

«Еще раз благословение человеческого достоинства приходит к нам от отверженного».

К. Померанцев

ИДЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ БАРБАРЕЛЛЫ

Барбарелла скользит будто сон беззвучно по космосу
все цвета как сомнамбула помня на память по компасу
будто струны натянуты, музыка музыка в космосе
нет, не мы и не мысли — а музыка в космосе, Господи
ах, Барбарелла, лучами своими насквозь, все насквозь
поражая,
но где прежние дети Земли — не любя, не любя —
не рожая
ее Ангел ослепший в эфире осторожно ей ложе постелит
ее черная гвардия тут же застрелит
нет! — все странные в Камере Снов совпадения
Барбарелла всё с нами во всём, о во всём — до падения
Барбарелла, изверь эту сладкую сладкую музыку — веру
Барбарелла, растрогай, и трогай и трогай, так нежно
так вечно — Венеру...



Вот отмыл,
а до чистой ли радости радия?
полу-излучинки прозрачных руд
осторожной рукой
чуть в перчатках притрагиваясь
до причастий, притчей, причуд
до несчитанных чисел распада —
к родниково-чистым мечтам
уходящего, радугой, ряда
безответного — даже там?



Земля — голубая планета —
спокойно в пути мировом
мы ангельски нежного цвета
под парусом белым плывем

И чудо — заря голубая —
за первым небесным углом
живая

лиясь и блистая
скользя и играя крылом

...И утром и в теплую пору
и щедрым умыты дождем
мы светимся в небе ей-Богу
любовью Твоей и добром

Яков Бергер

ЦВЕТАЕВА — МАЯКОВСКИЙ — ПАСТЕРНАК

ЦВЕТАЕВА

ЦАРЬ-ДЕВИЦА

Одна из книг Марины Цветаевой называется «Ремесло». Многие другие поэты ее поколения тоже говорили о поэзии-ремесле. У Гумилева был Цех поэтов. Футуристы вдохновлялись десятой музой — Технэ.

Новаторство Цветаевой сближает ее с экспериментирующими «будетлянами», в особенности с Маяковским. С акмеистами, продолжателями установившихся традиций, у нее меньше общего: только некоторые темы и «симпатии», например, увлечение кузминским 18-м веком, эпохой кавалера де Гриз, Казановы, Калиостро. Но была и разница — тяжелое барокко Державина ей ближе легкого рококо, ожившего в поэзии Кузмина.

Цветаева мыслила мифами. Многие циклы ее стихов — те же «творимые легенды», что и у символистов. Но, в противоположность им, она своей религии или же псевдо-религии не утверждала. Ее метафизика только слабо намечена, и это отличало ее от поэтов старшего поколения. Впрочем, все эти **измы** очень условны. Некоторые акмеисты позднее **повелели** и тоже экспериментировали (Кузмин, Мандельштам). А «мифотворчеством» занимались все «наследники символистов».

Ритмы Цветаевой. Ее специальность — т. н. **логаэды**: т. е. силлабо-тонические стихи отличные от пяти традиционных силлабо-тонических размеров (ямбов, хореев, анапестов, амфибрахийев, дактилей). Логаэдами писали Сумароков, Востоков — Сафова или Алкеева строфы. Иногда логаэды классифицируются, как сочетания двухсложных и трехсложных размеров. Но не имеет смысла спорить о терминологии. Существенно, что логаэдические метры Цветаевой — не тонические стихи. Поэтому их не следует причислять к «дольникам», как это недавно сделал М. Л. Гаспаров, хотя ему и удалось в своих таб-

лицах довольно верно описать тот стих, который он называет «цветаевским дольником». Но дольниками пишут по слуху, тогда как логазды вымеряются по тому же «счетчику», что ямбы или амфибрахий.

В трагедии Цветаевой «Ариадна» (которая прежде называлась «Тезей») приблизительно одна пятая всех стихов написана восьмисложными логаздами со следующими вариантами:

1. Лавр и радость на лбу младом: /-/--/-/
2. И моим не преминут стать: --/--/-/
3. Услаждать его до седин: --/-/--/
4. Дар прекраснейшей из богинь: /-/----/
5. Над любимицею своей: --/----/
6. Судорог, содроганий смесь: /----/-/

Тем же метром написаны и некоторые ранние ее стихи: «Ты проходишь на Запад солнца» («Блоку», 1916). Или — «Кавалер де Гриз напрасно...» (1917). Этот метр не **допускает** трехстопного анапеста, в котором не восемь слогов, как в этом цветаевском логазде, а девять. Между тем Гаспаров включает анапесты в свои схемы дольников.

Создается впечатление, что в этих, да и в других логаздах Цветаевой, все ударения очень уж резкие, бьющие и, вместе с тем, однообразные, как барабанная дробь. А князю Д. Святополк-Мирскому цветаевские стаккато напоминают конский галоп... Все же, на слух, в поэзии Цветаевой больше пауз, больше нюансов, чем у Маяковского в его резко-барабанных или тяжело-галопирующих стихах «лесенкой».

Еще Г. Адамович отметил этот излюбленный прием Цветаевой: переносы (enjambements). Здесь однообразия нет: выделяется сильное ударение на перенесенном слове. Акцент подобен громовому удару, оглушающему барабанную перепонку:

Как живется вам с трухой
Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и начисто разбит!).

Цветаева явно экспериментировала в стихотворении «Возвращение вождя» (1921): «Конь — хром, / Меч — ржав...» Здесь подряд 32 ударения на односложных словах (сплошные спондеи). Так, она оставляет далеко позади спондейного Державина и, может быть, даже Маяковского.

Но Цветаева давала и роздых — умела она **падать** в протяжных пиррихиях (безударных слогах): «Удостоверишься — повремени...» («Земные приметы», 1922)... «С подкрадываньями, забарматовываньями...» («Лютая юдоль», 1922). Здесь ударения не барабанные, а скорее воюющие. Но все у ней громко: дробь ли, вой. Даже самые нежные стихи Цветаевой **не тихие**, как у Маяковского.

С. Карлинский отметил оригинальный прием Цветаевой: разделение слов по слогам: «Рас-стояния: версты, мили / Нас рас-ставили, рас-садили...» (1925). Эти разрывы не связаны ли с особенностями ее речи? Навсегда врезались в памяти эти слова Марины Ивановны: «— Мне ни-ког-да ни до че-го не было дела, кроме поэзии...» — сказала она мне, отстукивая дактили по столу парижского кафе (1938).

Свойственно ей было речитативное произношение. Вообще же, такой разрыв слов на слога допускается в эмоциональной речи (и не только в русской), когда говорящий что-то подчеркивает фоническим курсивом. Так, в забавной стихотворной повести Саши Черного («Любовь не картошка») Роза Фарфурник истерически кричит отцу, изгнавшему ее жениха: «— Хочу за Эпштейна (...), хо-чу за Эпштейна...» Такие «растяжения» слов тоже пригодились Цветаевой в ее поэтическом хозяйстве. Она любила подчеркивать, выделять: ей видно мало было других усилителей-восклицаний, вопросов или императивов, логатодов, спондеев или переносов.

«Безглагольность» Цветаевой (отмеченная в книге С. Карлинского) тоже динамизировала ее поэзию. «За фюрером — фурии...» («Стихи о Чехии», 1939) — звучит сильнее, чем — за фюрером мчались фурии. Но у «безглагольного» Фета этой динамики нет («Шопот, робкое дыханье...»): Фет, млеет, а Цветаева несетя со скоростью урагана.

Фоника Цветаевой — державинская, «маяковская»: и она любила звуки рыкающие, шипящие: «Рана в рану, хрящ в хрящ» («Клинок», 1923).

Немало у ней и звуковых ассоциаций. Были они и у Пушкина: очей очарованье. А в нашем веке этот прием культивировали Хлебников (Волга-волки). За ним — Маяковский, Пастернак, Цветаева: льни, льняной... минута: минушая... пунш и Пушкин.

Звукопись Цветаевой возмещает бедность некоторых ее рифм. Пример из «Попытки ревности»:

Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляется, бедняк?

Совести-здоровится — может быть не очень вяжутся, но на эти рифмы отзывается эхо в словах — живется, можется, поется, язвою, справляется, и, в свою очередь, эти слова, а также и другие, фонически между собою перекликаются. Для современной рифмы существенно — **все**, что слева от нее (левая сторона), т. е. звукопись всей строфы или всего стихотворения. В поэзии инструментальных поэтов — у громкой Цветаевой или у тишайшего Чиннова — рифма только один из звуковых повторов. Эти поэты мыслят фонически.

Стилистика. Марина Ивановна подписалась под этим литературным манифестом адмирала А. С. Шишкова (который я послал ей в 1933 г.): 1. Уметь высокий Славянский слог с просторечивым так искусно смешивать, чтобы высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого. 2. Уметь в высоком слогe помещать низкие слова и мысли... не унижая ими слога и сохраняя всю важность оногo («Рассуждение о старом и новом слогe», 1803).

Цветаева любила коктейли из высокого и низкого стиля: какого-нибудь кипрского и отечественной водки.

А ее, по эллинским образцам из двух кусков сшитый словоискатель «приятно обнимается» с простонародным **хахалем**: «Словоискатель, словесный хахаль...» («Емче органа...», 1924).

Древне-греческий Ипполит очень по-русски обзывает махеху Федру гадиной. Г. Адамовича это шокировало, но еще Анненский, ужасая профессора-классика Зелинского, снижал божественную эллинскую речь прозаизмами и вульгаризмами в классических трагедиях, как в переводных, так и оригинальных (Силен в «Фамире» говорит: «Ба... ба... кого я вижу... А нимфа там же теряет шпильку»).

Цветаева великолепно барочна, как Петров и Державин в Осьмнадцатом веке, как грубый Маяковский и архаический Вячеслав Иванов — в нашем. Она любила причудливые сравнения

и метафоры (кончетто): ее Бог в одной строфе — стройнейший гимнаст, а в другой — седой ледоход.

Были у Цветаевой неисчерпаемые запасы вулканической энергии, как у Донна или Гонгоры в 17-м веке. Все ее приемы усиления, все раскатистые громкоговорители способствовали выражению огромной витальности и динамики.

Я Марины Цветаевой — в жизни, и в поэзии. В юности она героиня Лидии Чарской княжна Джаваха, которая поклонялась Наполеону второму из Эдмона Ростана. Орленка сменили другие герои из других книг: из популярной мифологии Густава Шваба, из сказок братьев Гримм и нашего Афанасьева. Наряду с богами и героями — поэты: Орфей, Гёте, Байрон, Рильке, Пушкин, Блок, Ахматова, Кузмин, Мандельштам, В. Иванов, Волошин, Пастернак, Анатолий Штейгер, Николай Гронский и другие. Также возлюбленные, скрытые под символическими именами, напр., Св. Георгия. Wir beginnen als Jubel — писал Рильке в элегии ей посвященной (Мы начинаем с ликования). Ликование Цветаевой было хвалебное. Прославляла она из своих платонических друзей: **Учителя** — кн. С. М. Волконского (1860-1937) и **Подругу** — Сонечку, С. Е. Голлидэй, актрису 2-ой студии Художественного театра (1896-1935). Волконскому посвящен замечательный цикл стихов («Ученик», 1921), а Сонечка появляется в пьесах «Фортуна», «Конец Казановы» и во многих других стихотворениях (по данным А. С. Эфрон — дочери).

Было у Цветаевой много творческого **моеволя**, а также и **твоеволя** (заимствую эти превосходные неологизмы из поэзии Николая Моршена). Но было и своеволие, был «неизничтожимый эгоцентризм» (Ф. Степун). Многие из тех, кого она в поэзии возвеличивала сотворены по ее образу и подобию или же они идеализированы, стилизованы. Было у Цветаевой романтическое самодурство и поэтический фанатизм, мешавшие ей наблюдать дистанцию между собой и своими произведениями. Трудно дочитать до конца ее поэму «Перекоп» («Воздушные пути», V). Но поэтов, и не только их, надо судить не по худшему, а по лучшему.

Энтузиазм Цветаевой, ее барабанные или трубные гимны вызывали улыбку на лице парижских зоилов. Что же, можно ее поэзию не любить, не всем по вкусу романтизм или барокко, но неблагоприятно над благой Цветаевой издеваться.

Была она горда и несчастна — сродни Катерине Ивановне Мармеладовой «с шалью, и голыми детьми, на французском диалекте...» (как она писала мне)... Читая Цветаеву или о ней, всегда ощущаешь непоправимую вину. Ее травили и затравили.

Высокая добродетель Цветаевой — щедрость. Ее стихия — простор. Это угадал Рильке (в той же элегии, ей посвященной):

Wellen, Marina, wir Meer! Tiefen, Marina, wir Himmel!
(Волны, Марина, мы море! Глуби, Марина, мы небо).

Но Цветаева сказала бы иначе: для нее небо — не глуби, а выси. Я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое... писала она мне. Глубина для нее — страдания или корни, а высота — радость и цвет.

Цветаева бывала своевольна, своенравна, но не было в ней суматошной декадентской распушенности поэтов предреволюционной России. Марина чудачила, но иначе, чем футуристическая или акмеистическая богема в Тринадцатом году. Всегда была в ней строгость — рыцарское благородство и даже интеллигентское пуританство. Такой была она и в жизни: часто увлекалась: «Я в голосах мальчишеских знаток» («В самом истоке», 1928). Но до конца несла на себе тяжелый крест семьи. Декадентщина ее не коснулась.

Цветаева хвалила богов, героев, поэтов и хулила все ту же — всей русской литературой осужденную пошлость — мещан, которые живут в долинах, под символической Горой. Она грозила обывателям (в «Поэме Горы»):

Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!
Дочь, ребенка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя страви!

(Кстати, отметим, что здесь те же логазды, что в «Ариадне»).

Проклятия эти не пуританские. Но пуританство ее было с примесью романтики, с романтическим вызовом (девка лучше барышни).

Благородство Цветаевой — в любви-жалости к униженным и оскорбленным: и это ее агапе укоренено в совести наших пророков прошлого столетия. Мне она говорила: «Вот моя

заповедь: стреляй в убивающего насильника, но если жертва уже убита, а убийцу преследуют городовые и дворники, немедленно спрячь его у себя под кроватью. Преследуемый всегда прав, как и убиваемый».

Цветаева славila отпетых или побежденных. Во время первой войны, когда на немцев собак вешали, она писала: — «Германия — мое безумье, / Германия — моя любовь!» Но оплакивая раздавленную Чехию, проклинала гитлеровский рейх. В красной коммунистической Москве воспевала Царя, Корнилова, белогвардейцев.

Место Цветаевой не в эмиграции, а где-то около Пастернака или Маяковского, писал Г. П. Федотов. Пастернак ей был близок, но иногда увлекал и Маяковский — «архангел-тяжелоступ». Он одобрял ее «Версты» (А. Эфрон), но все же официально осудил за «цыганщину» (С. Карлинский).

Маяковский предпочел быть на стороне победителей.

«7-го ноября 1928 г., поздним вечером, выходя из Кафе Вольтер, я на вопрос:

— Что скажете о России после чтения Маяковского? не задумываясь ответила:

— Что сила — там». (Газета «Евразия», 1928 г.).

Но сила — никогда не была для нее высшим мерилом.

Стихи Цветаевой «Чужому» посвящены не Маяковскому, но могли бы быть обращены и к нему:

Твои знамена — не мои!
Врозь наши головы.
Не изменить в тисках змеи
Мне духу-голубю.
Не ринусь в красный хоровод
Вкруг древа майского.
Превыше всех земных ворот
Врата мне — райские.

Многое в Цветаевой объясняет ее поэма «Царь-Девница». Этот образ, как и другие фольклорные герои, заимствован ею из сказок Афанасьева. Но в «Молодце» или в «Переулочках» народные мотивы очень уж стилизованы. А в «Царь-Девнице» (1920) фольклор органически связан с темой. Русь здесь смешана с Россией 18-го века, как и в другой «Царь-Девнице» Дер-

жавина или же шуто-трагедии Крылова «Подшип», но, кажется, Цветаева, ничего у них не заимствовала.

Царь в цветаевской сказке — пьяный шут, и в эпилоге бунтовщики (вроде разинцев или пугачевцев) сдирают с него кожу «на тулуп». Вторая жена Царя — напоминает Федру, соблазняющую Царевича-пасынка — Ипполита (и эти трезенские герои ожили в ее трагедии «Федра»). Но, в противоположность старому Тезею, русский Царь в сказке сводит мачеху с пасынком. Царь-девица — может быть сама Цветаева или же — Божий замысел о ней. Она дева-юноша, воин, воевода, русская Жанна д'Арк; и она неожиданно-негаданно полюбила слабого Царевича. Он — женственен, он — юноша-дева, небесный гусляр. На земле им не быть вместе. Царевич так и не видел Царь-Девицу, приходившую к нему, когда он спал. Но позднее — все их три встречи разыгрываются перед ним на небесах.

Царь-Девица исчезает. На земле любовники несоединимы: им всегда мешает «вечно-третий в любви». Эти мотивы повторяются в лирике-эротике Цветаевой.

У ней столько вариантов неудачной половинчатой любви и, кажется, самый мучительный, в «Попытке ревности» (1924).

Была она полна жизни, страсти, и поэзия ее живая, страстная, могучая, громкая. Как-будто всякая метафизика, смерть и бессмертие — ее мало занимали — даже меньше чем Маяковского, который не веря в воскресение, мечтал о воскрешении.

Цветаева думала, что долго проживет, как ее бабушка — причудница-проказница (в цикле 1919 г.). Разочарования в любви ее вдохновляли в поэзии, и она не уставая хвалила или — хулила. Все же Цветаева всегда знала, хотя и редко признавалась:

Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любви... (1921).

О Боге она сказала: «Бог из церквей воскрес...» Ему посвящено только несколько стихотворений. Ее Бог — не Творец, не Спаситель, не Утешитель, не Вдохновитель, а свободный дух: Он сродни Ветру, который носил Царь-Девицу:

О Его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог ручною бегонией
На окне не цветет!

Ибо Бог Он — и движется.
Ибо звездная книжица
Вся от Аз и до Ижицы
След плаща Его лишь... (1922).

Цветаева Богу своему не молилась, ничего у него не просила, вообще редко поминала. Сама на себя во всем полагалась, хотя часто изнемогала под своим крестом. На родине, как и в эмиграции, ей места не было. Она лишилась тех, кого любила, кому всегда сохраняла верность. 31-го августа 1941 г. она повесилась в Елабуге.

Горести сломили ее. Но, как это ни странно, настоящая трагедия Цветаевой — другая: это **трагедия удачи**. Ее удача — поэзия, которой она была одержима (и в которой она иногда теряла контроль над собой: поэтa далеко заводит речь).

Как Цветаева ни была счастлива на своем лирическом просторе, — она втайне всегда знала: сколько ни прославляя богов, героев, поэтов, сколько ни барабань, ни бряцай, ни труби — нет на земле **достойного** высшей похвалы, — нет **достойного** растраты энергии. Да, знала — одной жизни мало.

Не ее судьба сгорать во имя утопического будущего, как Блок, или же — на земле вмещать небо, как Мандельштам, о котором она сказала — **«десятилетний божественный мальчик»** («Ты запрокидываешь», 1916). Ее судьба: взмывать. Взмывов два:

Взмыв: выдышаться в стих.

Взмыв: выдышаться в смерть!

(«Балкон», 1922).

Если бы жизнь ее сложилась иначе — она долго бы еще увлекалась и славилась в гремучей своей поэзии. А все же — она, **живейшая из жен** от мира сего, — не меньше чуждого ей Лермонтова — сим миром никогда удовлетворена не была. Героические барабаны и трубы ей бы самой надоели. Не в этом ли ее сокровенное желание: исчезнуть, как унесенная Вакхом Ариадна или как Царь-Девица.

— Нигде меня нету.
В никуда я пропала.
Никто не догонит.
Ничто не вернет.

Это последнее **память-письмо** Царь-Девыцы — Царевичу гуслиру, которому она на земле не понадобилась, и он тоже неизвестно куда запропастился. Им обоим — разорванным кускам единого существа (андрогинам) не было места в этом мире.

Ландшафт небесной **заочности** едва намечен в поэзии Цветаевой (как и ее бог «без обличия»). Это Град Друзей: бесстрастие душ

В небе тарпейских круч,
В небе спартанских дружб...
(«Помни закон», 1922).

Или же — Елисейские Поля, в которые вступают блаженные юноши: они, не обольстившись негой, бросали дочерей земли «для боя и для бега» («Блаженны...», 1921). В этом «мужском небе» эллинского Элизея **есть место** для ее любимых героев — будь то смелый конник Ипполит, преданный Отрок-ученик, или же слабый Царевич-гуслир, а также и Царь Девица. В этом раю умолкнут ведомые Цветаевой полки ее стихов, марширующие в ритме барабана или трубы. Там — свобода игры «на сухом ветру».

О прощании Царь-Девыцы с конем и полком Цветаева спела «прежалостную песнь»:

Как все жилы напряжились на лбу,
Себе в кровь как закусила губу,
Как по сходням взошла
Стопудовой пятой,
Как прах с ног отрясла,
Как махнула рукой.
Полк замятво свалился пьяный.
Конь пеной изошел, скача.
Дух вылетел из барабана.
Грудь лопнула у трубача.

Марину Ивановну горе загнало в петлю, а ее Царь-Девица добровольно исчезла: она поняла — счастье **здесь** невозможно. Невозможно — вопреки всем героическим и поэтическим удачам.

МАЯКОВСКИЙ

ОРАЛА-МУЧЕНИК

Маяковский — новатор, как и другие футуристы-экспериментаторы. Новаторство не было для него самоцелью, как для Хлебникова. Он искал новых путей к успеху и нашел их в поэзии. Однако, не все у него так уж ново. Маяковский мастер тонического стиха, но тонику культивировали и поэты предыдущего поколения, в особенности, столь непохожая на него Зинаида Гиппиус.

У Маяковского немало неологизмов того же типа, что у Андрея Белого, Игоря Северянина. Правда, у него были свои излюбленные новообразования: гостьё, дамыё, громадьё. Другая его специальность — изобретение составных прилагательных: Эскадры верблюдокорабледраконьи. Но этими «композиата» увлекались и барочные риторы 17-го века. У Кариона Истомина находим даже пятичленные эпитеты: всевидомиротворокружная...

Язык — грубый, нарочито анти-поэтический, но уличные прозаизмы находим и у одного из любимых поэтов Маяковского — Саши Черного, а также у Иннокентия Анненского (Н. И. Харджиев). Все же, Маяковский оригинален: выражениями грубыми он пользовался не только в сатирах, пародиях, бытовых сценах, где они всегда допускались, но и в революционных призывах. Есть грубость и в его увеличительных: красотище, вопросище, хлебище: и функция их далеко не всегда отрицательная.

В метрике Маяковского много разнообразия, напр., в чередовании тонических размеров с привычными силлаботоническими размерами (В. Жирмунский, В. Иванов «Поэтика», 1966 и др. работы).

Более всего новизны в разделении строк на отдельные «куски» — в лестничной транскрипции стиха. Иногда Маяковский выписывал отдельной полустрокой местоимения, союзы, предлоги, даже слога: вра-/ги /ва-/ши — /мо-/ и /вра-ги. Это «выделение слов» создает особый ритм (Р. О. Якобсон). Однако, выделенные им слова иногда настолько нарушают «мелодику» русской речи, разговорной или ораторской, что смысл этих вырванных из предложения речений затемняется. Слышится не членораздельная речь, а барабанный бой. Харджиев

говорит о маршевом ритме некоторых стихотворений Маяковского, но эти его марши исполняются преимущественно на барабане. Однако, по отзывам слушателей — в чтении его было много разнообразия: он умел варьировать свои фортэ, фортиссимо и понижал голос до пиано. Все же самому себе его нелегко читать. Стихи других поэтов иногда произвольно бормочутся, а Маяковский лишь изредка — «рычится».

Фоника. «Есть еще хорошие буквы Эр/, Ша/, Ща...» писал Маяковский. Батюшков ненавидел русские «щи, щий», но громкий Державин насыщал стихи и шипящими, и раскатистыми Рцы:

То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

У Маяковского — другое содержание, но те же громы, и то же шипение:

Хлебище дайте жрать ржаной,
Дайте жить с живой женой.

Отмечу — в этих стихах «хлебище» и «жрать» даны со знаком плюса: поэт явно одобряет «пафос» рычащей толпы.

Рифмы Маяковского. Еще у Державина находим «неправильные», но звучные сочетания (Потемкин-потомки). А. К. Толстой часто нарушал каноны точной рифмы. Его примеру следовали символисты (напр., Блок). У Маяковского оригинальны и многие канонические рифмы (икнут-кнут), или составные (я с нею-яснею), а также новые — консонансные (хлеба-хляби), неравноконечные (нападали-на падали). Н. И. Харджиев особо выделяет его разорванные рифмы, как у Э. А. По, Бодлера, Анненского (ночь-поч-та; с переносом последнего слога в следующий стих), перекидные составные (запад-глаза/под; и здесь последнее слово перенесено в следующую строку), разнесенные (Наши отходят под Ковно-нашинковано), спрятанные (уклад рифмуется со словом угла в зачине другого — удаленного стиха).

Маяковский ориентировался на смысловые ударные рифмы и нередко заготовлял их заранее. Все же и в его рифмоцентричной поэзии нельзя отделять рифмы от звукописи строфы или всего стихотворения, как это делает даже Харджиев. Он дает этот пример: «Уши крушит невероятная поступь».

Рифма к слову **поступь** — **пó сто**; но уши крушит — очень заметный звуковой повтор, неотделимый от звукового целого.

Упоение безобразием, но и великолепием, величием, динамикой, дисгармонией; выразительность, а не совершенство — это барочные черты одописцев Петрова, Державина, но и Маяковского, увлекавшегося кончетто в стиле барокко.

Тело твоё / буду беречь и любить, // как солдат, обрубленный войною, // ненужный, ничей, / бережет / свою единственную ногу.

Такие причудливые образы характерны и для английского барочного метафизика Джона Донна: храм любви для него — блоха, напившаяся крови любовников.

О барочности Маяковского говорил еще кн. Д. Святополк-Мирский, а позднее об этом же писал Клод Фриу. Лирический герой Маяковского — он сам. В юношеских стихах — это здоровый верзила, орала-мученик в желтой кофте, прославлявший самого себя («Владимир Маяковский», «Облако в штанах»).

Еще подростком Маяковский участвовал в революционном движении, был арестован, просидел несколько месяцев, но **левизна** молодого Маяковского-поэта — не политическая, а литературная. Был он богемой и в быту, его так ярко описал Бенедикт Лившиц («Полутораглазый стрелец»). Чем-то он походил на Базарова, но с добавкой Франсуа Вийона (В. Эрлих), а также и на богатыря-задиру Ваську Буслаева.

Маяковский — второй поэт-эстрадник. Первый — Игорь Северянин, прогремевший по всей России. У него было больше слушателей, чем у Бальмонта или Блока. Но, как пишет Лившиц: будто бы еще до революции «уже проступили грозные для Северянина симптомы: на смену изысканному грезёру, собиравшему дань скудеющих восторгов, приближался уверенной походкой ‘площадной горлан’».

После октябрьской революции «горлан» отождествлял себя с ленинской Россией, но в его утверждении **я — большевик** — ударение падает на личное местоимение. Маяковский прочищал горло коммунистическими лозунгами, исходил в революционном крике, прославляя Ленина, но и самого себя. Коммунизм способствовал гиперболическому выражению его личности, проэцированной в многомиллионную массу бунтующего пролетариата. В его преданности коммунизму была искренность, но и натяжка. Гражданская муза Маяковского страдала от припадков истерии.

Наконец, была и игра — Маяковский по натуре актер и азартный игрок. В каждое свое занятие он входил «всем своим раскаленным нутром» (Л. Кассиль, также Р. Якобсон).

Ленин стихов Маяковского не понимал и предпочитал ему Пушкина. Троцкий утверждал, что и в революции Маяковский остался богемой. Поэма «Владимир Ильич Ленин» имела успех, но можно сомневаться в том, что Маяковский стал поэтом рабочего класса. Экспериментализм, новаторство отпугивали рядового читателя. Не был ли ему ближе, понятнее надрыв плачущего сентиментального «хулигана» Есенина? Массы были консервативнее, буржуазнее ЛЕФА Маяковского. Но в СССР, в особенности после посмертной канонизации его Сталиным — доказывалось и все еще доказывается обратное: Маяковский — народный поэт-революционер.

Коммунистические гимны и сатиры его — неизмеримо талантливее, живее поэтической продукции, изготовлявшейся в сталинскую эпоху. У Маяковского немало слабых стихов, а все же есть мастерство и остроумие во многих его агитках и даже рекламках («Нигде кроме, / Как в Моссельпроме»). Социальный заказ он сам себе заказывал, а не партия. Советских бюрократов это раздражало, и он нередко бичевал их в сатире, но и они досаждали ему придирками. Не его ли счастье, что он не дожид до полного партийного контроля всего литфронта и до нового псевдо-стиля — до социалистического реализма?

Как бы это не нравилось: коммунист-индивидуалист Маяковский поставил памятник Октябрьской России. Он сделал революцию частью своей лирической биографии и, тем самым, оживлял шаблонные лозунги — скудную коммунистическую риторику и дидактику.

В СССР умалчивается, что Ленин и большевики не были главными его героями. Выше Ленина, выше Маяковского сияла его Прекрасная Дама — Лиля Брик: «Кроме любви твоей / мне / нету солнца...» («Лиличка!» 1916 г.). Ей же посвящены эти стихи в октябрьской поэме «Хорошо!» (1927 г.): «если / я / чего написал, // если / чего / сказал — / тому виной / глаза-небеса, // любимой / моей / глаза». Здесь та же отрывистость, что и в других стихах, но барабанная дробь ритма — приглушенная; и едва ли эти стихи он выкрикивал. А вот романс о влюбленном мальчике в поэме «Про это» (1923 г.), и эти его пятистопные (лермонтовские) хорей не выписаны ленинкой:

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойденно желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя мальчик шел.

Агрессия молодого Маяковского — хулиганская, богемная, и, позднее — трибунная, коммунистическая: все это, может быть, только роли и маски вечного подростка.

Нежные стихи посвящал он и своей последней любви Татьяне Х. Некоторые из них в «изысканном стиле»: «Мы посылаем эти розы Вам, // чтоб жизнь / казалась / в свете розовом» (опубликованы Р. Якобсоном). Маяковский говорил, что наступил на горло собственной песне, но его лирика влюбленного никогда не умолкала.

Маяковский в поэзии — не только бард-трибун революции, но и нежный сын, брат, «нежный и беспомощный любовник-ребенок» (В. Марков).

«В творчестве Маяковского, писал Р. Якобсон, любовные поэмы правильно чередуются с лиро-эпическими поэмами о мировых событиях». Нелегко ему давалось это «чередование»... Ему хотелось другого — воинственного и ликующего синтеза Лили, Марии или Татьяны с творческим коммунизмом, — синтеза любви и строительства. Но роковые силы истории и биографии мешали осуществлению этого живого единства, раздваивали Маяковского, и ему приходилось обе эти темы «чередовать».

Маяковский — горлан, грубиян, но, кажется, ни в жизни, ни в творчестве он не занялся «похабством», которое иногда забавляло наших ампирических поэтов золотого века... Цветаева сказала о нем: Архангел-тяжелоступ. Может быть, и были в нем черты ангельские. Правда, этот ангел, осуждавший испанский бой быков, прославлял Дзержинского, Чека — и не из фанатизма, а скорее всего, чтобы до конца выдержать взятую на себя роль «железного большевика».

У другого барда — Державина: Фелица, Екатерина, екатерининская империя. У Маяковского — Ильич, ленинская империя. Но у Державина резкий контраст имперскому величию и великолепию: «Не зрим ли каждый день гробов, / Седин дряхлеющей вселенной...»

О смерти Маяковский думал: «Но за что ни лечь - / смерть есть смерть - // странно не любить, / ужас не сметь» («Про это»). В этой же поэме он восклицает: «Воскреси — свое до-

жить хочу!» Он будто бы мечтал о федоровском воскрешении мертвых (Р. Якобсон). Ему было мало советского **настоящего** и коммунистического **будущего**. Была у Маяковского жажда абсолютного, была метафизическая требовательность. Если нет воскресения — должно быть воскрешение. Но в феерической комедии «Клоп» (1928-29 гг.) он высмеял воскрешение советского обывателя Присыпкина: видно, не всех воскрешать сто́ит...

Был и вздох в его поэзии — неожиданная для него «мелкая философия на глубоких местах» Атлантики: «Вот и жизнь пройдет, как прошли (Азорские) острова...» (1925 г.). Тоже отрывисто сказано, но негромко, будто слышатся отдаленные раскаты грома.

Что Маяковский ненавидел? Как все русские писатели, он ненавидел пошлость — и не только буржуев, мещан, но также и советских обывателей, бюрократов. Наконец, он ненавидел смерть. Но он не пожелал драматизировать лирику смертью, как великий Державин с его барочными контрастами пестроты и темноты. Видно, не позволял себе часто говорить на такую «реакционную» тему.

Бог. Бога Маяковский разоблачал: «Я думал — ты все-сильный божище, — а ты недоучка, крохотный божик». («Облако в штанах», 1914-15 гг.). Разоблачал и «поповщину». Но все это — критика очень поверхностная. На Бога он шел с рогаткой сотрудников журнала «Безбожник» или же с заряжавым ружьем барона Гольбаха, атеиста 18-го века. Не обстреливал его тяжелой артиллерией Ницше-Заратустры или бунтарей Достоевского — Ипполита, Кириллова, Ивана Карамазова. Но в поэме «Флейта-Позвоночник» Маяковский не богохульствует и утверждает Бога, который велит любить!

А были ему отпущены дары Псалмопевца — мог бы он греметь, как Державин в оде: Я раб — я царь — я червь — я Бог... (и эти стихи можно было бы выписать лесенкой в четыре ступени: здесь державинский ритм совпадает с «маяковским»!). Мог бы прославлять Господа замысловатой игрой слов, причудливыми кончетто, как гении барокко — Джон Донн или Луис Гонгора. Религиозные мотивы — богаче, могучее мотивов социальных. Религия — неисчерпаемая **личная** тема, а политика — мелкая: всюду донышко видно. Ему иногда удавалось «спа-сать» поверхностную политику лирическим «индивидуализмом»,

но громовой его разворот ограничен. Многие гиперболы его фиктивные, арифметические — 150.000.000. Не только Бог, но любой человек, даже человечек, куда больше всех триллионов, квадриллионов.

Все же Маяковский широко развернулся, — прославляя не Ленина, не себя, даже не свою Прекрасную Даму, а прекрасный мир, в особенности родной Кавказ и дальние страны. На Кавказе он хоть и высмеял лермонтовскую «истеричку Терека, который шумит, как Есенин в участке»... Заодно досталось и Демону, и Тамаре, но все же поддался очарованию поэтической реки: «овладевает / мною / гипноз, / воды / и пены / игране» (1924 г.).

Маяковский дал русское поэтическое бессмертие Мексике и, как ни странно ее великому прошлому. Вот Теночтитлан, который потом стал называться Мехико и, судя по письму к Лиле Брик, не очень ему понравился в современном виде (июль 1925 г.):

И золото
 между озерных зыбей
лежало,
 аж рыть не надо вам.
Чего еще,
 живи,
 бронзовой
Вторая сестра Элладова. (1926 г.)

Не видел он майянского Ушмала, запотекской Митлы, но в барочно-великолепных стихах прославил древнюю классику зодчих Мексики — соперников греческих мастеров.

Грубы такие его стихи:

Версаль.
 Возглас первый:
«Хорошо жили стервы» (1925 г.).

Да, выругался, понося Людовиков, но есть здесь и восхищение.

В Соединенных Штатах, он, конечно, «обличал капиталистов», но и восторгался техникой: «Бруклинский мост - // да... / Это вещь!» (1925). Или же, прикрывшись маской иммигранта из Одессы, он иронически весело восхищается Нью Йорком:

Был он поэзией одержим, упивался сочетаниями слов, звуков. Хорошо понимал стихи, — даже неблизких ему поэтов, напр., Мандельштама. По воспоминаниям Лили Брик, Маяковский так читал его стихи: «Над желтизной правительственных зданий...» или — «Катоуликом умрете вы...» Чтение — **ироническое**, а все же он верно угадал высокие, протяжные ударения в поэзии Мандельштама.

Маяковский — политический враг, но в лирике — зачастую друг. Отнимем у враждебных нам политиков **лучшего** Маяковского, большого поэта, огрубившего русский язык, но и извлекшего из него гимны нового псалмопевца. Кроме Маяковского, ничего, кажется, в советском искусстве усвоению не подлежит.

Почему Маяковский добровольно ушел из жизни? Почему сделал то, за что осудил Есенина? В 1924 г. он писал: «Стала / величайшим / коммунистом-организатором // даже сама / Ильичева смерть». Но его самоубийство коммунизм скомпрометировало. Маяковский просил в предсмертном письме не сплетничать о нем посмертно. «Покойник этого ужасно не любил» (12 апреля 1930 г.)... К тому же, все побудительные причины, будь то бюрократические придирки или же неразделенная любовь — только догадки: никто ничего наверняка не знает или же утаивает то, что знает. Но, несомненно, и в жизни, и в стихах он и прежде не раз говорил о самоубийстве (Р. Якобсон).

Через одиннадцать лет в СССР повесилась Марина Цветаева — и она из того же поколения, «растратившего своих поэтов» (Якобсон). Цветаеву загнали, а Маяковский — не сам ли себя загнал в отчаяние и в риск, и его — ни любовь, ни поэзия удержать на земле не могли.

ПАСТЕРНАК

Бориса Пастернака прославил его «Доктор Живаго».

Герои романа Юрий и Лара — слабые люди, но у **них** живые души и самое их бытие отрицает мертвечину большевизма, бездушные политики. Отвращаясь от «арлекинады незрелых выдумок», д-р Живаго никакой своей идеологии политикам не противопоставляет. Он не общественное животное Аристотеля. Философия его путаная, а все же Юрий твердо знает

некоторые истины: Христос и человек, обратившийся ко Христу, есть мера всех вещей; мир Божий, сколько бы его не портили, создан нам на радость. В этом сила и величие Живаго, этого последнего лишнего человека в русской литературе, и это лучше всего поняла его вечная подруга, его бессмертная любовь — Лара. Да, они не праведники, только — блуждающие странники, но правду знают и свидетельствуют о ней всей своей жизнью.

Юрий и Лара показаны и в дореволюционном интеллигентском быту, и в хаосе революции, и позднее — в советских буднях, но, как уже не раз отмечалось, их труднее **увидеть**, чем многих второстепенных персонажей, описанных взятыми на прокат литературными приемами.

Они — герои лирические, они живут в той «горестно-сладостной музыке», которую услышал в романе Г. Адамович. Эта лирика-музыка убедительнее, чем самые драматические эпизоды мировой или гражданской войны или сибирский быт и стилизованные причитания Кубарихи. Но еще лучше, полнее музыка прозвучала в стихах Пастернака.

Иногда он переводил прозой некоторые свои стихотворения, которые, казалось бы, и не связаны с романом. Вот параллельные места из замечательного стихотворения «Зима приближается» (1943 г.) и некоторых фрагментов из «Доктора Живаго»:

Обители севера строго,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

За рекой (...) показывалась
кирпичная стена Воздвижен-
ского монастыря (...) Вратную
икону на арке входа полувен-
ком обрамляла надпись золо-
том: «Радуйся живоносный
крест, благочестия непобеди-
мая победа». (ч. 10, 2).

Люблю вас далекие пристани
В провинции или в деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Домишки пригорода мелькают,
проносятся мимо, как страни-
цы быстро перелистываемой
книги, не так как когда ее пе-
реворачивают пальцем, а когда
мякишом большого по их об-
резу с треском прогоняешь их
все. (с. 9, 16).

Повидимому, эти обители «севера строгого» Пастернак видел еще перед революцией в Пермской губернии, где бывали Чехов и Левитан; они тоже упоминаются в этом стихотворении: «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана...» (См. «Автобиограф. очерк», 35). Такие же «переводы» из стихов в прозу (или обратно) находил Л. Ржевский, сравнивая прозаические и стихотворные тексты в «Докторе Живаго». Что и говорить: все мотивы звучат в поэзии Пастернака лучше, чем в его прозе.

Роман поражает высотой суждения, силой духа, но едва ли это удача в плане художественном. Особенно неубедительна сложная фабула, выработанная по рецепту Льва Лунца и Серапионов. Не удалось Пастернаку создать тот «незаметный стиль», пушкинский или чеховский, о котором мечтал его герой. Всюду сложнейшие перифразы, метафоры, метонимии, как в ранней, а зачастую и в поздней лирике Пастернака. Бессмысленно давать советы умершему писателю, а все же замечу, что высокий замысел его полнее воплотился бы в дневниковых записях, в «опавших листьях». Перелистывая книгу после долгого перерыва, как-то не тянет перечитывать страницы бытовые, сказовые или же драматические. Милее самые беспомощные лирические фрагменты, блоковские диалоги Юрия и Лары или же картины Севера, а также «достоевские» разговоры Живаго и Стрельникова. Там слышится та «горестно-сладостная музыка», которую Пастернак стремился передать в романе. Он, конечно, прежде всего поэт, а не прозаик и высоты его поэзии — в сборниках «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации» и в некоторых стихах 40-50-х г.г.: «Зима приближается», «В больнице» или «Август» («написанный» доктором Живаго).

Пастернак «нашел свое лицо» в поэзии летом 1917 г. Началось смутное время, и именно в эти дни Пастернак по новому увидел другой благодатный мир, всегда существовавший: ивы, ромашки, грозу, дожди.

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех.

Кто помнит те годы, хотя бы и по детским воспоминаниям, знает каким чудом казалась тогда поездка в деревню, в какое-нибудь Спасское, воспетое Пастернаком. Да, природа воспринималась тогда как светлое чудо на фоне темной политики. Все это Пастернак выразил в сборнике «Сестра моя жизнь», а также

«В темах и вариациях, написанных в годы гражданской войны, когда террор и тиф косили людей».

У него было особое чувство природы: ему казалось, что природа — эманация человеческой страсти:

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды
Человеческим сердцем накопленной.

Что же тогда поэзия? В «Охранной грамоте» Пастернак дает это неясное определение искусства: «Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения». Ф. А. Степун в своем очерке возводит пастернаковские рассуждения к эстетике Канта и к Генриху Риккерту. Эти философы утверждали, что художник заново создает и оформляет мир. При этом, добавлю я, Пастернак заменил кантовско-риккертовские понятия мысли, разума — эмоцией, которая, разряжаясь, смещает явь, а поэт только записывает «случившееся»; так рождается поэзия:

Это — круто налившийся свист.
Это — шелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист.
Это — двух соловьев поединок.

(«Определение поэзии»).

Пастернак занимался философией у нео-кантианца Когена в Марбурге, но, несомненно (и Степун это тоже отмечает), его поэзия первичнее его философских теорий. Как и у Хлебникова, у него были **другие глаза**, ему одному присущее зрение. В его поэзии — причудливые зрительные и звуковые ассоциации, а также и особая логика. Ю. Тынянов тонко отметил, что у Пастернака «случайность оказывается более сильной связью, чем тесная логическая связь». Вернее же то, что мы называем случайностью, совсем не случайно для Пастернака. В своих диких метонимиях он сближает образы, казалось бы, ничем не связанные, в особенности — книжные и «натуральные», из мира природы.

Пастернак — книжник, выросший в культурной семье, сын художника и пианистки, еще в детстве он видел Толстого и Рильке. Он учился у Скрябина, у Когена, отчасти у Белого. Он

впитал в себя ту русско-европейскую культуру «серебряного века», которую так беспощадно оборвала Октябрьская революция. Знал он и грехи, пороки этой культуры: религиозное легкомыслие богоискателей, декадентскую безответственность, претенциозность модернизма (и все это осуждено в его «Автобиографическом очерке» и в «Докторе Живаго»).

У Пастернака немного найдется стихотворений без ассоциаций из литературы, музыки, истории, географии: Лермонтов, Бетховен, Ягайло и Ядвига, Анды и множество иностранных слов: эманация, homo sapiens. Но все книжное, ученое у него сливается с вещами обиходными или природными и, смешаясь эмоцией, изливается в его стремительной поэзии. Анненский, а за ним Ахматова, иногда опрозаивали, снижали поэтический словарь бытовыми словечками, а для Пастернака нет никакой разницы между выражениями разного стиля:

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он заслан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя.
Прошли времена и — безграмотно.

Рифмы мамонтом — безграмотно, да еще с добавкой интеллигентского выражения «вышел из моды», измерение туманов тоннами — это все сочетания вроде коровы и седла или же пословичной бузины в огороде и дядьки в Киеве. Такие барочные кончетто (парадоксальные сближения) находим также у Маяковского, Цветаевой, Хлебникова и, может быть, кое-что он позаимствовал из хлебниковского поэтического хозяйства. Но ни у кого из них не было такой озонной свежести, такого лирического потока, подхватывающего по пути что угодно, и сучки, и личинки и оброненный листок с учеными цитатами. И Пастернак-Поток как будто не замечает, что именно он несет-уносит неизвестно куда!

Цветаева утверждала: «Сестра моя жизнь» — это световой ливень. А Мандельштам так отозвался: «Стихи Пастернака почитать, дыханье укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза».

Первозданная естественность, но, несомненно, и некоторые ухищрения, — нарочитая звукопись: и сам Пастернак это позднее осознал. В «Автобиографическом очерке» он признается: не люблю моего стиля до 1940 года. Он пытался тогда упро-

щать язык своих прежних писаний. Кое-что и в «Сестре», и в «Темах» напоминает упражнения в стиле, многое очень уж насыщено-перенасыщено, диковинно (какао рифмуется с хаос), а все же убедительно в целом: заражает радостью бытия. Пастернаку на самом деле удалось тогда вырваться на лоно природы из истории, из политики жестокой смуты. Вновь создавая мирозданье и смещая его в поэзии, он вправе был спрашивать: «Какое, милые, у нас / тысячелетье на дворе?» Тогда поистине верилось: «и вдруг пахнуло выпиской из тысячи больниц».

Скептики скажут: это только красивая иллюзия. Но детская радость Пастернака была неподдельной. В тех двух сборниках он как-то братски-дружелюбно ткнул читателя носом в «ботаническую ризницу» природы. Стремительность пастернаковской лирики тех лет напоминает фетовскую и блоковскую. Но только он умел так «болтать запросто», так непринужденно говорить на самые возвышенные темы (как верно заметил А. Синявский). Да, Пастернак дружил с миром и радовал, ободрял этой дружбой наперекор террору и тифу.

После «Сестры моя жизнь», после «Тем и вариаций» он начал писать длинные стихотворения и поэмы: «Высокая болезнь» (где появляется Ленин) цикл «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский». Есть и там удачные стихи, а все же очевидно, что по существу ему нет дела до героев революции и его барочные метонимии уже не убеждают, не радуют. Чувствуется: *The zest is gone* (как сказала по другому поводу Анна Каренина...).

В 40-х г.г. в поэзии Пастернака зазвучал новый мотив прощания:

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество и чудотворство.

(«Август», Ю. Живаго).

Вместо безличных страстей — лирический герой, одушевляющий и очеловечивающий поэзию. Вместо стремительных стихий — неповторимое человеческое лицо. Это вторая высота, которую «набрал» Пастернак. Но упрощения стиля нет: и в этих стихах те же неожиданные сравнения и сочетания, что и

в прежних сборниках (смерть — казенная землемерша, которая вырывает яму по росту).

В стихах Юрия Живаго немало и характерной для Пастернака нелепицы: «Быть женщиной — великий шаг...» Сказано это всерьез, а звучит смешно. Нужно ли было вкладывать в уста Иисуса такие строки (при обращении Его к смоковнице): «И встреча с тобой безотрадной гранита...» А апостолам Христос говорит: «Вы ж разлеглись, как пласт...» Можно пересказывать Евангелие на современном языке, но не в таких нелепых стихах. Тут же рядом изумительные стихи, например, «Рождественская звезда»:

И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы...

(это напоминает картины Сасетты).

Есть у Пастернака его неповторимые братские, дружественные интонации, его лирические монологи **запросто** и о природе, и о возлюбленной, и о Боге, а есть и поразительное нечувствие к языку. Но эти стилистические описки неотделимы от его стиля, как и барские галлицизмы Толстого в «Войне и мире»: поэтому, полюбив в его поэзии «беленькое» (как говаривал Чичиков), — если не любишь, то как-то привыкаешь и к «черненькому».

Потрясает это стихотворение Пастернака, — его последнее прощание с жизнью («В больнице», лето 1956 г.):

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падаюшем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным Твоим сознать...

Здесь глубокий вздох и счастливый выдох в предсмертной молитве. Это уже не безличная стихия, окатившая благодатным световым ливнем, а личный разговор с глазу на глаз с Богом. Прежде Пастернак, взрываясь «в страстях», заново создавал природу и, вместе с тем, был ее частью. Даже в его бурной эротике не было лица ни у его возлюбленной, ни у него самого. А в последних вздыхающих стихах Пастернак становится личностью и меняется его мера вещей: это уже не природа, а человек и Бог (христианин и Христос в «Докторе Живаго»).

Юрий Иваск

КАЛИФОРНИЯ

Я опять на земле любимой,
На бесснежной Твоей земле,
И текут апельсины мимо,
Словно красный огонь в золе.

Это житница и пустыня,
Океан облаков и вод,
Свежий ветер, от моря синий,
В ветре тающий пароход.

ИЮЛЬ

Обиженные тишиной стоят леса.
В каких-то ветках дальних скрылись птицы,
Коричневатая и желтая оса
На стебельке упрямом копошится
И в неподвижном полумраке хвой
Земля пьянится тихостью земной.

НЕВИННОСТЬ ЛУНЫ

Нам не легко итти дорогой тряской,
В своем земном тревожном полусне,
И мы, с какой-то сладостной опаской,
Уже взлетаем к медленной луне.

Луна невинная. Наш век железный
Идет чернить твой лунный светлозем.
Пролей в него всю царственную бездну
Своим ночным сияющим дождем.

НАЧАЛО УТРА

Поэт еще не свыкся с простотой
И не поверил утру мира Каин.
Такой веселый и такой простой
Гуляет ветер у дневных окраин.

Приходит мир к своей голубизне,
Поющему обещана награда.
Не бормочи, а улыбнись во сне
Прозрачно-светлым гроздьям винограда.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Гуляешь своей дорогой,
Счастьем идешь опять,
Хочется небо потрогать,
Погладить, поцеловать.

Изменяйся доброе небо,
Синей, бледней, голубей,
От земли непутевой требуй
Ласточек и голубей.

Странник

ДРУГАЯ ВЕРА*

II

Вознесение Христово, 5 июня 1924 г.

Дружба моя любимая, сколько времени тебе не отвечала. Но все у нас горести. Наташе в Эколь Менажер обварили ножку, слава Богу, не сильно. Теперь жду из Ниццы Алексинского,¹ надо ей аппендицит вырезать. Тэффи² медленно угасает, Верочка. Она говорит, что не сердись на нее, писать ей трудно. Она Вас обоих целует. Я боюсь, что она скоро умрет. Я к ней бегаю раза 3-4 в неделю (от нас 3 версты).³ Теперь она уже совсем не встает. Я к ней привязалась, как к родной, и ужасно жалею ее, бедную. Она совсем не может двигаться. У нее фиброма (страшное кровотечение, 6 недель непрерывно, оттого сердце ослабло, а операцию из-за сердца делать нельзя). Очень больна Киса Куприна.⁴ С ума сошел Гуковский, из “Современных Записок”.

Мы держимся и не падаем духом. У нас отлично. Розы кругом, воздух чудесный. Боря был на вечере Куприна, этнический “стиль рюсс”. Народу было много. Принимали довольно сдержанно его, а Плевицкой хлопали. Боря говорит, что она похожа на девку-мананку,⁵ которую можно было раньше за 20 коп... Осоргины переехали в квартиру за 450 фр. Веруня, Боре очень хочется к Вам — страшно, но... операция Наташе, если даже Алексинский ничего не возьмет (он и не взял. Б. З.), и то будет стоить, лечебница и то и сё, франков 600-700. Но Бог даст, все сойдет хорошо. В понедельник были именины Леши.

¹ Известный профессор, хирург.

² Это оказалось неверным. Тэффи прожила еще 28 лет (1952).

³ Тэффи жила тогда в Со-Робинсон.

⁴ Дочь писателя.

⁵ «Мананки» — бродячие артели девок-поденщиц из Калуж. губ., села Мананкова.

* См. кн. 92 «Н. Ж.»

Целуй от нас дорогого Ваню. Отчего он портрета мне не подарил. Вечер Бориса собрал около 5 тысяч. Пиши мне. Целую Вас.

Господь храни Вас обоих на радость нам.

Твоя Вера.

Получила чудесное письмо от Айхенвальда. Рыцарь он!

*Без даты. Лето, вероятно, конец июня 1924 г.
Сеаиш (вблизи Парижа).*

Верун! Милун! Целую. Обнимаю. Таточка дома. Операция прошла отлично.¹ Денег маловато! Тэффи точно лучше, но.. я не верю, что она скоро поправится. Напиши мне, как узнать, посланы ли деньги, 10 долл., моему папе. Они не получили. Их еще уплотнили, на чердак, в коридор, в ванн. комнату поместили “товарищей плотников”, и они боятся уехать даже на несколько дней к Наде.² Мама пишет — всё последнее сожгут.

У папы было воспаление легких. Живут тяжело. Ванины рассказы и стихи в Соврем. Записках дивные. Поцелуй его от нас 3-х. Боря к Вам хочет, а карман не хочет! Господь с Вами.

Ваша В.

¹ Апендицит.

² Сестра Веры.

*День Казанской Божией Матери.
(8 июля ст. ст.) 1924 г.*

Верунчик мой, получила твое письмо и не ответила сразу. Титова еще не была, но эту неделю провели необычайно. В день убийства Государя и его семьи 4/17 июля была заупокойная литургия — чудесно было. Вчера все ходили к обедне, а сегодня я с Наташей была. Мечтаю, если Бог даст силы, поступить в сестричество. С каждым днем я укрепляюсь мыслью быть ближе к Богу. Верочка, я очень хочу познакомиться с Екат. Мих.,¹ если она не против этого. Как следует хочется с ней быть. Приехал Петр Конст.² (Как он умеет молиться!), Вышеславцевы и Бердяев. Я очень счастлива. Часто видимся.

¹ Лопатина, сестра философа Лопатина. Весьма достойная православная женщина. Близкая знакомая Веры Б.

² Иванов, литератор, мистик, наш давний знакомый еще по Москве.

Вера! Я очень недовольна, как мы были с тобой эти месяцы. Нельзя в суете вечно быть. Я верю и знаю две вещи — это я до всего сама додумалась:

1. Как есть церковь на земле и есть мистическая церковь на Небе, так и *дружба* моя и любовь к *Вам* (не смотри на это легкомысленно) то же, что церковь там. А здесь ошибки и недостаточное внимание *Друг к Другу*.³ Раз Ваня написал *Розу*,⁴ он и это поймет. Надо держаться друг за друга.

2. Москва с Кремлем, вернее Кремль-Россия, закрылась от взоров наших, как бы град Китеж (не знаю, *ш* или *ж*), и вот надо всем христианам читать по несколько раз: Богородица, Дева Мать Бога, сохрани Православную Россию. Это приказал отец Нектарий из Оптиной Пустыни. В Москве многие молятся. И вот Россию надо вымолить, и мы опять ее увидим.

— Аминь. —

Тебе странно мое письмо? Но я захотела все записать самое важное, что меня мучит.

Наташа спрашивает, получил ли Ив. Алекс.⁵ ее открытку из больницы?

Я получаю отчаянн. письма из М-вы. Голодают все, почти поголовно. Боря во мраке — его мать выселили из Притыкина. Сестра⁶ Бороина пишет: “Мама *вынуждена* покинуть Прит. и в отчаянии. Жить будет у меня”.⁷ И все в таком роде... Верочка, я ужасно возмущена всем этим. А Боре очень тяжело. Он вообще легче падает духом, чем я. У нас денег почти нет, но я *знаю*, что Бог не даст нам погибнуть. Духовно чувствую себя крепко, как никогда. Через 2 месяца переедем в Париж,⁸ — квартиру ищу. Буду Тату учить танцевать. По франц. говорит очень хорошо, до сих пор они еще учатся, до 1-го августа.

Ну, Господь с Вами, дорогие мои. Всю Вашу обитель целую от себя, Бори и Наташи.

Верун — милый! Друг мой! Яна целую.

³ Сознательно оставляю неправильность расстановки слов и большие буквы. Автор своеобразен.

⁴ «Роза Иерихона», прелестная вещица в прозе, вдохновленная ранней любовью к Вере Буниной.

⁵ Бунин.

⁶ Татьяна, старшая.

⁷ В Москве.

⁸ Жили близ Парижа.

Осенью 1924 г. мы переехали в Париж, в освободившуюся квартиру Бальмонта на рю Беллони (он перебрался в Канбредон, к океану). Там прожили осень 1924 г. и первые месяцы 1925 г.

10 апреля, 2, рю Беллони, Париж (15).

Дорогая моя Веруня, наконец могу писать тебе покойно. Вчера уехал Боря в Авиньон, оттуда поедет к Ельяшевич¹ — погостит несколько дней и может быть проедет к Вам.² Напиши мне, можно ли где-нибудь за недорогую плату остановиться вблизи Вас?

Верочка! Мы в ужасном огорчении, что скончался Патриарх.³ Это для всех нас большой удар. Когда думала о Москве, то всегда о Донском монастыре. Вспоминала, как причащалась у него, когда Лешенька был в чека. Большое потрясение для православных. Милый, я недавно в Париже видела поразительную икону — я тебе уже писала. Просветленную. Когда видишь это, то еще хочется жить. Как ты? Вчера получила письмо от папы, пишет что получил из банка он и Алекс. Андр.⁴ бланки на 20 рублей. Когда они пришли в банк, то ему сказали, что это из “землячества какого-то”. Они оба отказались. Папа так и пишет: *побоялись мы*. Я была у Титова и сказала это. Подумай, посылать отсюда *не* от частных лиц. Если деньги придут назад, то пошлю от моего имени, а папе сейчас напишу, что это подарок ему от меня, а А. А. от Верочки М. (...)

Верочка, родная, не обращай внимания, что я редко пишу. Но мне ужасно нет времени, да одно время и адрес потеряла. Вечер нам дал 5 тысяч, до сих пор все отдают.⁵ Тэффи уехала в Ниццу. Слава Богу, здорова. Я с ней ужасно сжилась.⁶ Чудесная женщина. Наташенька ест постное, говеет. Я на первой неделе говела и на седьмой буду. Были мы на освящении Сергиева Подворья. Это было поразительно. Я бы очень хотела быть ря-

¹ Василий Борисович и Фаина Осиповна, знакомые по Парижу. В деп. Вар у них было имение Пюжет.

² В Грасс, недалеко от Пюжета.

³ Тихон.

⁴ Корзинкин, брат жены Н. Д. Телешова.

⁵ Что-то я читал, а что — не помню.

⁶ Нек. время Тэффи снимала у нас комнату, в кв. на ул. Беллони.

дом с сестрами — кланяйся им.⁷ Да! Я и забыла. Борин роман “Золотой узор” купило одно немецк. издательство и аванс 500 марок присылает. Боря уже подп. контракт с ними. Это значит 2.000 фр. получим. Вот я и надеюсь, если будет еще получка, то на месяц к Вам поближе переедем. А ты узнай, есть ли 2 комнаты, и я бы сама готовила.

Скажи Ване, что Митина Любовь изумительная вещь (вроде, он сам знает). Поцелуй его от меня нежно. 23 марта была в церкви и все время думала о всех Вас. Как мы все рассыпаны. Ну, дорогой мой. Ты на седьмой говеть будешь? С наступающим праздником. Христос Воскресе!

Целую тебя, Ваню. Христос с тобой.

Твоя люб. Вера.

Наташенька целует. Пиши мне скорее.

⁷ Разумеет Лопатину и Еремееву, друзей В. Б., живших на Ривьеры

*Домэн де ля Пюжет близ Торонэ (Вар)
7/20 июня 1925 г.*

Дорогие мои, мы очень близко от Вас. Весна была довольно тяжкая. У Наташеньки было воспаление легких, а меня парикмахер заразил, я остриглась и у меня заболело лицо.

Теперь все прошло. Здесь дивно — не думала, что во Франции будем жить в настоящей деревне. Наташенька поправляется, уже порозовела. Встаем рано, а днем спим. Не слишком жарко, чему я очень рада. Боря работает. Я мечтаю, чтобы Вы к нам приехали. И мы к Вам приедем,¹ но чуть позднее. Получила письмо от сестры Тани,² их всех, т. е. ее, Машу с детьми и Ек. Алекс.,³ всех гонят с квартиры. Она в отчаянии. Посылаю письмо твоего папы. Помнишь ли, как на даче Бахрушина я с ним бегала на четвереньках. Папа забыл.

Приехали из Москвы люди, рассказывают возмутительные вещи и... представь, привыкли. Очень грущу о Тэффи, она переехала в отель, но думаю зимой опять вместе будем жить, если не приедет мать Борова из Москвы.

¹ В Грасс.

² Из Москвы.

³ Бальмонт, жена Бальмонта в Москве.

Мы нашу квартиру сдали до 1 октября. Мирра Бальмонт⁴ собирается замуж за Диму Шульгина. Познакомились они у Филиппова (брата “Русской газеты”), где она живет. Он очаровательный. Настоящий белый Юноша, во всех отношениях. Кончил он школу морскую и теперь гардемарин. Здесь работает на минах.

Ну, мои дорогие, все написала. Насчет денег у нас, чтобы нет, так да, и наоборот. Думаю, продержимся кое как. Здесь жизнь недорогая, трое в день 25 фр. тратим. Готовит итальянка, 100 фр. в месяц буду давать. Очень благодарна я Ельяшевич, что они нас пригласили к себе.

Обнимаю, целую. Господь храни Вас.

Ваша Вера.

До сих пор поют два соловья (соловьиный Бальмонт).

⁴ Дочь Бальмонта, от его последней жены, Елены. Шульгин — сын известного общ. деятеля Шульгина. Брак не состоялся. «Мины» — залежи боксита вблизи Торонэ.

15 августа, Успенья День. 1925 г.

Верун! Милый! Получила твое письмо, и Наташенька тоже получила. Здесь Ф. С. с Ирочкой.¹ Ф. О. очень жалела, что вы без нее были. Живем попрежнему. Вчера был у нас “бал”. Наташенькино рождение справляли. Были 3 молод. человека — гардемарины.

Вера! Напиши мне *прямо*, можно ли мне с Борей приехать к Вам — в след. субботу, с ночевкой. Мы спим на одной постели охотно. Если можно, то я приеду вместе, а если нельзя, то Боря один придет, а я после. Надо ли брать 2 простыни? Все это напиши.

Наташа лежит теперь на солнце, и очень это ей на пользу. И Боря сегодня умолила лечь. Может и ляжет. Как провели голодный день? Утром взвесились — было 77.400, а вечером 77 ровно (после голода).

Пусть мальчики (Ян и Боря) будут шляться, мы им мешать не будем. Но, главное, напиши, как тебе лучше, чтоб я одна приехала или вместе.

Поцелуй твоего Великого Тайновидца Плоти. Очень мы

¹ Фаина Осиповна Ельяшевич, Ирочка их дочь.

счастливы, что Вы были у нас. До того радостно, что Вы одни были с нами.²

От Тэффи писем нет, и я ужасно беспокоюсь, здорова ли она?

Господь Вас храни, дорогие. Напиши мне. Наташа благодарит за письма, Боря целует.

10/23 сентября 1925.

Дорогие мои Ян и Веруня родимые, в субботу едем в Париж. Что будет, не знаем.

Живем пока дивно. В. Б. и Ф. О. к нам страшно милы и предупредительны. При ближайшем знакомстве они гораздо, гораздо симпатичнее. Такие ласковые, отзывчивые. Он мне казался холодноватым, а теперь он такой, скажу, молодой. И Ф. О. очень к нам привыкла, и мы с ней отлично ладим. Она *по-настоящему* добрая. Ирочка поправилась. Веруня, на ванданж я еще похудела!!! Ура! Ура! Ура!

Получила я из Москвы письма, от которых я в отчаянии. Аничка, Танина дочь, тяжело больна, у нее, кроме болезни, будет ребенок 4-й. Таня совершенно без денег, абсолютно. Я прямо в отчаянии. Мне стыдно, что я еще смеюсь и говорю какие-то гадкие слова. Они там погибают. Я ума не приложу, что делать? Мне Леля,³ ее подруга пишет: “Мы с Катей (Бальмонт)⁴ нищие, у Кати ноги пухнут, мы Танюше помогаем грошами. А ей нужно рублей 25 на необходимое — чтобы с голоду не помереть.

У папы тоже очень мало, он ей помогал, хоть немного, а теперь у него тоже нечем. А мы-то жалуемся. Я еще, б..., думаю о том, что похудела. Кому это нужно? Буду искать какое ни на есть место и стараться посылать им.

Сейчас мы ничего не можем посылать. Не знаешь, к Титову нельзя обратиться? Скажи Яну, что мы “Окаянные дни” всегда, всегда читаем. Вас. Борисович читает. Это отлично! Нежно целуй его.

Как тебе нравится в стихах Ходасевича — “*жизнь надменную мою*”? По-моему г....ю. А Кускова? Что это? Искренно? Горячо молюсь за Вас. Ельяш. кланяются.

² Буннины приехали к нам в Пюжет из Грасса.

³ Леля Анненкова, антропософка.

⁴ Вторая жена К. Д. Бальмонта, Ек. Алексеевна, урожд. Андреева.

11/24 мая, 1927 г. 11, рю Клод Лорэн.

Верун мой! После твоего письма я долго лежала, получила утром, в 8 час.). Господь сохрани тебя!¹ Верун, что ты не думаешь съездить в Пюжет? Хоть дней на 5-6, сейчас там чудесно соловьи поют. Как счастлива за тебя, что ты говела. Как это хорошо. Боря пишет счастливые письма. Афон на него произвел потрясающее впечатление. Досада, что денег дико мало. С трудом достала у Нюшеньки² капиталистки 300 фр. и послала ему. 1 июня надо платить за квартиру — просила в “Соврем. Записках” — Вишняк отказал, вот единственная моя забота — это денежная. Ужасно с Наташей мы трудно живем, но Бог пошлет — молюсь я Матери Божьей, Николаю Чудотворцу и Пантелеймону. Вот молитва, кот. должна быть всегда в сердце твоём: (приведен текст молитвы Богородице. Б. З.).

Только эту молитву спиши и выучи наизусть. Вчера получили письмо от Бориной матери, ей разрешили приехать сюда. Подали газету — Ура!!!! Разрыв англичан со стервецами! Сегодня напьюсь! Знаешь ли ты, что они срывают Алексеевский монастырь и многие могилы сравниваются с землей Нов-Дев. монастыря. Уже могилу Кости, Таниного сыночка, срыли, Влади Протопопова, но Таня по приметам (сиреневый куст и т. д.) находит их. Письма невыносимо тягостные. Где Леша похоронен, там хотят футбольное поле сделать. Во вторник молись за него (чернильное расплывшееся пятно, явно слеза капнула. Б. З.), его¹ день Ангела (20 мая ст. ст.). Родная моя, девочка моя — как жаль, что я не могу к тебе хоть на 3-4 дня приехать. Не изменяй мне. Отчего твоя ручка еще не владеет как следует? Под Николин день, после всенощной, в Шавиле читала Борино письмо Владыке² с Афона, он очень взволновался. Он никогда не был на Афоне. Милый мой, “мысль изреченная есть ложь”, и поэтому ты читай за этими буквами, что я переживаю вместе с тобой.³ Если бы я знала, что это письмо ты одна

¹ Дело идет, повидимому, о чем-то очень тяжелом для Веры Буниной.

² Иванова, друг Бальмонтов. Тоже полунищая.

¹ «Это» — пропущено.

² Евлогию — письмо не ему, а Вере.

³ Явное указание на горестные сердечные переживания Веры Буниной.

будешь читать, я бы больше писала. Бальмонта буквально на руках носят в Польше, он присылает газеты. Я познакомилась с дочкой Тэффи — они вместе уехали в Экс. Очень славная девушка, сестра актрисы. У Тэффи 2 дочки. Тэффи мне очень скрашивает жизнь, и я без нее сиротею. Такая она моя — точно сестра. Мне покойнее, когда она в Париже. Ну, Господь храни тебя. Очень я буду рада, если ты напишешь. *Обязательно* съезди к Ельяшевич; это тебя развлечет, и у них чудно.⁴ Поцелуй Яна.

Твоя люб. Вера.

⁴ Все тот же Пюжет, имя Ельяшевич в деп. Вар.

26 июня 1927, Париж.

Дружило мое! Прости, что давно не писала. Но жизнь это “настоящий роман”, как говорит Тэффи, “из кухни в корыто и обратно”. Как ты живешь? Иван? Как *твое здоровье*? Боря чувствует себя довольно хорошо. Путешествие было изумительное, но очень трудное. Мне Михайлов¹ передал 500 фр. Спасибо, это было более чем кстати. В среду к нам в гости придет Владыка,² *сам* изъявил желание у нас побывать. Я очень счастлива этим. Была очень расстроена. У Лели Анненковой (моей приятельницы) расстрелян брат в Москве. Вообще ужас и кошмар там. От своих ничего не получаю. У меня в гостях были Греч и Налетов, влюбились в твою карточку и сказали — вот бы она (это ты) подходила к Жанне д’Арк, в синема играть. Приехала Тэффи, очень поправилась. Мы никуда не поедem, т. е. Боря и я. Я даже рада, не тащиться. Если б с комфортом, это дело другое. Лучше дома сидеть. Если вернусь в Россию, буду странствовать, это моя мечта. Пешком по Руси, по монастырям. В будущем воскресенье у меня будут гости.

Все одно и то же — безденежье. Но “я, Маша, доволен”.³ Наташа прелестна. Ласкова и умна. Да и Боря, слава Богу, вернулся здоровым и обновленным. Изумителен Афон!

Господь храни Вас, дорогих. Целуй Яна.

¹ Приятель Буниных.

² Митрополит Евлогий.

³ «Три сестры», слова Кулагина.

13 июля 1927.

Веруня, пишу тебе под музыку. Сегодня добрый народ начал праздновать “Великую французскую”. Бог с ними. Наташа у Карбасниковых, и мы вдвоем. Мне нравится Париж летом, особенно в Булонском лесу и у нас в квартире. Прохладно! чисто и одни!!! В воскресенье жду Наташеньку, по ней соскучилась, она на несколько дней приедет. У нас был в гостях Владыка¹ — большая радость была. А одно воскресенье было 12 евреев и 3 русских, нас включая. 9 августа Борова мама выезжает из Москвы, Боря поедет ее встречать в Берлин, если придет деньги зять.² Поблагодари и поцелуй Яна за карточки; без шляпы он “желанен”, как скажет Бальмонт! А в шляпе не нравится. Боря вернулся с Афона обновленный и изнутри светлый! Много работает.

Как твоё здоровье? Что рука? Все напиши о себе. Поправилась ли? В воскресенье Тэффи, Пав. Андр., Боря и я ездили кататься по Булонскому, а потом он, т. е. Пав. Андр., угощал нас в Rotisserie Perignardine. Было весело и интересно. Тэффи мне как родная. Ничего я от нее, кроме хорошего, не вижу. Остальное все то же — что сказала хозяйка? Кто что пьет? Кто что сказал? Я сейчас от этих отошла и вожусь больше с людьми, причастными к церкви на рю Дарю.

Верун! Напиши мне. Я тебе давно написала, но ответа не получила. Обнимаю Яна от нас. Что Гиппиус? Видаётся ли Вы? Был у нас Бальмонт, как хорошо он на суде сказал!!! Огорчается, что про него в газетах пишут, что он был будто груб с русскими. Господь с Вами. Мир и многие лета дому Вашему.

Твоя В.

¹ Митрополит Евлогий.

² Моя мать, Татьяна Васильевна Зайцева, действит. собиралась к нам. В Москве ей 16 раз отказали в разрешении на выезд, в 17-й позволили, но она через неск. дней скончалась от сердечного припадка, наверное в связи с волнениями. Жила в Москве у моей старш. сестры Татьяны, в замужестве Буйневич. «Зять» — это муж Тани, жил в Берлине, горный инженер.

11/24 сентября 1927.

Дорогая моя Веруня, ночью, когда не спится, я тебе пишу длинные письма (мысленно), а утром некогда писать. Сегодня получила от тебя письмо и “группочку”. Ты очень мила. Мы,

т. е. Борух и я, прожили изумительное *тихое* лето. Во всем доме остались одни. Боря горевал, да и до сих пор горюет о матери. Много он работает, Афон будет еще в 3 или 4-х подвалах.¹ Материально нам дико трудно. Проживаем по 2 тыс. в месяц, а теперь с Наташенькой расходы. Лето она провела изумительное. Карбасниковы к ней относились, как к родной дочери. Она чувствовала себя совсем как дома. Бог послал нам таких друзей для Наташи. Анна Самойловна и ласкала и заботилась, как будто Наташа ее дочь.

*Среда.*² Верун! Пока я писала тебе письмо, у нас произошло событие. Боря будет писать в "Возрождении"! "Последн. Новости" отказались платить по 1.50 с., а по 1 фр. Боря больше писать не будет. Думали, думали, да и решился Боря. Не знаю, но у меня нет чувства, что это неправильно. К Струве он никогда не был близок, единственно, что Боре неприятно относительно Ивана, но Ваня-то ушел опять-таки из-за Струве. "Возрождение" осталось "Возрождением". Теперь, Бог даст, *не* будет вечера, довольно благотворительности. Все надоело! Верун! Боря сказал, что рассказ послан Глану³ [...]. Нина Петровская⁴ бомбардирует письмами, через мои руки прошло 1.400 фр. ей, да через Борины фр. 600, да Аминадо помог, и все это как в бездну. Жаль мне ее, и отвратна она мне. Она вся изолгалась, несчастная. Я с ужасом развертываю газету — покончила она с собой или нет? Но что делать? Она больна, хромает и пьет вдобавок. Послезавтра именины. Наташа и я будем причащаться. В понедельник мы все ходили ко всенощной — канун Крестовоздвижения. Веруня! Это такая служба, что можно сравнить со Светло-Христовой службой. Поют 500 раз Господи помилуй. Вся церковь почти лежала на полу и рыдала. Я всегда хожу в этот день, 13 сентября. Если доживем до будущего года — иди обязательно. В столовой Наташа и Боря рассматривают игру Алехина и Капабланки. Наташа очень похорошела. Друг! Если б у меня были деньги я бы приехала к тебе на 3-4 дня. Церковные распри очень расстраивают. Боря был у Владыки (19 человек заседадо). Это было очень интересно. Как всегда,

¹ Первая часть «Афона» мною печаталась фельетонами в «Последн. Новостях».

² Очевидно, уже после Крестовоздвижения.

³ Рошин.

⁴ Писательница.

Владыко прекрасно ответил и поступил как настоящий христианин. А Бердяева статья средняя... Много высокомерия и презрения. Я записалась в библиотеку и все время читаю советскую литературу, ну и "merde". Тебя, родная, с Ангелом поздравляю. 1 октября вспомню тебя.⁵ О маме твоей молюсь. У Анечки, племянницы, *пятый* ребенок родился! В Москве ад, так трудно. Что Ваня? Целуй его от нас.

Твоя В.

Машу Каллаш⁶ видела в церкви, тоже была вся заревана.

⁵ День рождения В. Буниной.

⁶ Мария Александр. Каллаш, писательница.

30 сентября 1927 г.

Вся полна воспоминанием. Завтра буду вспоминать маму твою и братьев. И папу. Домик в Скатертном и Столовом.

Родная моя, очень жалею, что не с тобой в этот день. Я получила письмо от родителей, где они тебя с Ангелом поздравляют — Верочку М. Мы живем пока тихо, хотя начинает народ "нахлынивать". Боря пишет. Я забыла написать тебе имя поэта, кот. едет на Афон — это Диомед Монашев.

Сегодня ночью, ровно 8 лет назад, под Покрова, был арестован Леша. Я получила письмо от Тани, она пишет, что где он был похоронен, там все вытоптано и следа нет от могилки. Алексеевское кладбище срывают, и Девичье кладбище тоже срывают, оставляют "исторические" могилы. Вообще там очень тяжело жить. А сестра Борова, старушка, живет как монахиня. Видела Ходасевичей, они очень по-моему, поправились. С восторгом отзываются о Мережков., Гиппиусах!¹

Завтра пойду в церковь! Буду молиться и за тебя и за Ваню — обними его и за нас крепко. Как его работа? Боря еще будет об Афоне писать 3-4 подвала, и все в "Возрождении". Пока материально еще не легко, ну, конечно, если "Возрождение" не закроется, то немного мы вздохнем. А главное, *вечера* не делать! Когда Вы приедете? Я не поняла. Я пишу, полуживая от усталости. Стирала сегодня. Господь храни тебя, Ваню. Пошли тебе Бог покоя душевного, и чтоб Ваня писал, и чтоб

¹ Неясно, почему во множ. числе. Вера к З. Н. относилась неплохо, а позже и совсем хорошо.

денег было больше. Кульманов мы очень полюбили — хорошие они по-настоящему. Наташа целует, и Боря.

Завтра зайду в бистро и выпью касиса за твоё здоровье. В день Ангела получила дивные духи Dandy Orsay в черном графеном флаконе.

1/14 декабря 1927.

Дорогая моя, прости, что столько времени не писала. Я *каждый* день буквально о Вас думаю. Почему не едете? Скажи Ване, что рядом с нами есть мззон мёбле *не* дорогой. На Ав. де Версай (в 2-х минутах от нас). Если хотите, посмотрю и напишу. То, что смотрела для Вас по Пасси, очень дорого. Итак, если надо, я поищу, только около нас (это дешевле). У нас туман, холод. Сегодня туман, дождь!

Из Москвы ужасные письма. Все время арестовывают Сергея Полякова¹ (Скорпиона) и многих других. Буквально стон стоит. Нищета и ужас. С деньгами легче, отдаем пока долги. Наташенька хорошо учится, очень устает. Борух пишет. Была третьего дня у Цетлин. Там были Ходасевичи.² Всего не напишешь. Был Аминадо, он очень хороший. Мы с ним в дружеских “половых” отношениях. Он очень хороший и сложен с женой!

Были у Юшкевичей. Книга *не* идет (мне сказали в книжном магазине). Алдановы хандрят. Тэффи вернулась из Варшавы, посвежела и похорошела. Вся такая же родная к нам.

12/25 января. Наташу повезу на Московское землячество, первый раз на бал. (Это уже начинается 1928 г. *Б. З.*). Недавно кутили всю ночь у Кошиц, после ее концерта — пела она дивно. Успех был огромный. Сегодня провожали ее в Америку.³ Хочется мне безумно к моим в Москву. Но, конечно, я никогда не увижу никого, и ужасно мне это грустно. Письма редки, грустны и безнадежны.

Милый Верун, родной! Недавно я вдруг вспомнила тебя в

¹ Серг. Александр. Поляков, владелец самого раннего в России «декадентского» изд-ва «Скорпион» (Брюсов, Бальмонт, Белый и др.). Переводчик Гамсуна — хороший («Нежный как мимоза Поляков» — Бальмонт).

² В. Ф. Ходасевич был тогда вместе с Н. Берберовой, потому Вера и называет их «Ходасевичи».

³ Оттуда эта замечательная певица и не возвратилась. Там скончалась.

красном картузике⁴ и заревела. Но я теперь с радостью все хорошее вспоминаю и Бога благодарю за все прошлое и хорошее и дурное — заслужила значит. Есть такие ужасно большие вещи! (как смерть Леши). Да, ты знаешь, где он похоронен вытоптали все могилы и устроили футбольную площадку для пионеров. Как сейчас грустно, 4 часа, темно. Туман, и где-то на рояле играют. Наташеньки еще нет, а Боря спит.

Целую Вас крепко. Господь с тобой. Силы тебе, здоровья желаю. С наступающим праздником. Мы празднуем по-старому. Не могу привыкнуть к новому стилю.

В субботу будет читать Мережковский. Я взяла билеты, но, вероятно, не пойдем. А может пойдем.

(Продолжение следует)

Бор. Зайцев

⁴ Веру Бунину, тогда Муромцеву, ребенком.

БРАТСТВО “ПРИЮТИНО”

VI

К концу 1880-х годов завершилась внутренняя работа Братства над созданием своего мирозерцания. Приютинцы были готовы для широкой общественной деятельности. Они и раньше, в годы молодости, не замыкались в своем тесном кружке.

Д. И. Шаховской пишет в своей автобиографии: «Мы, насколько я могу судить, не поддались соблазну принести в жертву культу кружковщины лежавшие на каждом из нас общественные задачи и старались использовать особенно близкие дружественные связи для лучшего осуществления внешних задач».

В общественной деятельности 1890-х годов и начала XX века работа Приютинецов шла по нескольким линиям, переплетавшимся между собой — распространение народного образования, участие в земствах, а также и в политическом движении, приведшем к Манифесту 17 октября 1905 г. и учреждению Государственной Думы.

Начало последнего десятилетия XIX века в истории России ознаменовалось страшным бедствием — неурожаем и голодом 1891-92 гг. Министерство Внутренних Дел ассигновало некоторые средства на борьбу с голодом. Красный Крест объявил сборы на помощь, земства в неурожайных губерниях пришли на помощь. Всего этого оказалось недостаточно. Понадобилось создание частных комитетов помощи. В этом движении приняли деятельное участие люди разных слоев и кругов русского общества, в том числе писатели Лев Толстой, Лесков и Чехов. Лев Николаевич напечатал в «Русских Ведомостях» две статьи о голоде. Его жена Софья Андреевна, со своей стороны, написала письмо в редакцию той же газеты с сообщением, что Лев Николаевич уже начал свою деятельность по устройству бесплатных столовых для голодающих крестьян, и призывала к пожертвованиям на эту цель. Пожертвования стали приходить

со всех сторон, между прочим от лиц, не сочувствовавших взглядам Льва Николаевича. Отец Иоанн Кронштадтский прислал Софье Андреевне 200 рублей.

Правительство сначала приветствовало общественную поддержку. 17 ноября 1891 г. был издан высочайший рескрипт, в котором говорилось о «великодушных усилиях частной благотворительности, ставшей на святое дело христианского милосердия». Вскоре однако диссонансом зазвучали и другие голоса. Реакционная газета «Московские Ведомости» заявила по поводу писем Льва Николаевича в «Русских Ведомостях», что «граф открыто проповедует программу социальной революции». Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев написал государю, что у Толстого и революционеров «появились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода». Забеспокоился и департамент полиции. Пошли разговоры об аресте Толстого и о предстоящем заключении его в Суздальский монастырь. Начались обыски и аресты его единомышленников. За Толстым и его помощниками был учрежден надзор местной полиции.

Взволнованная этими слухами великосветская тетушка Льва Николаевича, Александра Андреевна Толстая решила употребить все свое влияние, чтобы предупредить катастрофу, и написала государю, прося принять ее по важному делу. Александр III немедленно принял ее и дал распоряжение не трогать Толстого. «Я нисколько не намерен делать из него мученика, — сказал он Александре Андреевне, — и обратить на себя всеобщее негодование».

В истории отношений между властью и общественностью в России этого времени паника Победоносцева и близких к нему кругов по поводу роли Толстого в помощи голодающим крестьянам была болезненной язвой на попытке сотрудничества двух лагерей. В основном же на короткое время произошло сотрудничество между властью и общественностью. В скором времени однако два лагеря опять разошлись. Правительство снова стало опасаться развития самодельности. Но толчок к подъему общественного движения был уже дан.

VII

Приютинцы приняли горячее участие в деле помощи голодающим крестьянам. Первыми из них отозвались те, что тогда жили в Москве или в тот момент там находились. Это

были В. И. и Н. Е. Вернадские, А. А. Корнилов и Д. И. Шаховской.

Вернадские поселились в Москве в 1890 году, когда Владимир Иванович был принят в число приват-доцентов Московского университета для чтения лекций по минералогии и кристаллографии и заведывания минералогическим кабинетом. Шаховской часто наезжал в Москву из Ярославля. Переехав в Москву, Вернадские сдружились с известным земским деятелем старшего поколения Иваном Ильичем Петрункевичем и его второй женой Анастасией Сергеевной (рожденная Мальцева, по первому мужу графиня Панина).

Когда к концу лета 1891 года выяснились грозные размеры неурожая и начавшегося голода, дружеский кружок Вернадских, Шаховского и Корнилова, к которому примкнули и Петрункевичи, решил устроить более широкое собрание из лиц, пользующихся влиянием в Москве, чтобы привлечь жертвователей, а также людей, готовых взять на себя организацию работы помощи на местах.

Это собрание состоялось в квартире Петрункевичей (вероятно, в конце сентября или начале октября 1891 г.). Собрались человек тридцать. Кроме кружка инициаторов, на собрании присутствовали Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, М. Я. Герценштейн, Н. А. Каблуков, В. А. Гольцев и другие. Все сочувствовали целям собрания, но многие выражали сомнение в успехе предприятия. Тогда (по воспоминаниям И. И. Петрункевича) Шаховской вскочил и крикнул голосом, полным негодования: «Мы не должны и допускать мысли, что можно отказаться от такого дела, как помощь голодающим, кто чем может: сбором пожертвований или личным трудом; отказ от такого дела был бы позором для русского общества». Этот страстный призыв так повлиял на собравшихся, что все единогласно присоединились к нему.

Приютинцы решили не входить ни в какой другой комитет помощи и не задаваться слишком широкими задачами, а образовать свою собственную группу и на пожертвования, свои и своих друзей, организовать дело помощи голодающим крестьянам хотя бы в небольшом районе, но зато возможно основательно.

Для этой цели решено было избрать Моршанский уезд Тамбовской губернии, где у В. И. Вернадского было небольшое

(по масштабам помещичьего землевладения в Тамбовской губернии) имение (около 500 десятин). Вернадский сам сельским хозяйством не занимался. Управляющий его имением Александр Иванович Попов большую часть земли сдавал в аренду соседним крестьянам. Имение расположено было около станции Вернадовка, Сызрано-Вяземской железной дороги. Названа была станция так потому, что земля для нее была куплена железной дорогой у Ивана Васильевича Вернадского — отца Владимира Ивановича, и водоканал устроен был на его земле. Станция эта до сих пор существует под тем же названием.

В сентябре 1891 года Вернадский написал Попову, прося его доставить ему сведения о положении крестьян вокруг Вернадовки. Попов ответил несколькими обстоятельными письмами. (Эти и последующие данные о работе приютинского кружка помощи заимствованы мной из книги А. А. Корнилова «Семь месяцев среди голодающих крестьян»). Из октябрьских писем Попова видно, что в этом районе Моршанского уезда голод уже начинался, хотя нужда еще не получила такого распространения, как впоследствии. Большинство крестьян начали подмешивать в хлеб гороховую муку или просо и продавать по дешевке коров и лошадей. Земство выдало крестьянам озимые семена, но еще ничего на продовольствие. Вернадский принял сбор среди своих знакомых и отправил Попову 500 рублей на покупки ржи и раздачи ее наиболее нуждающимся. Чтобы перейти к более рациональному способу — устройству столовых, нужно было кому-либо ехать на место. Вернадский не мог взять этого на себя, будучи связан чтением лекций в университете. Положение изменилось, когда приютинец Л. А. Оболянинов и друг приютинцев В. В. Келлер вызвались ехать в Вернадовку и заняться устройством столовых по системе, рекомендованной Л. Н. Толстым. Помочь Келлеру вызвался студент Петербургского университета П. И. Алексеевский.

Келлер приехал в Вернадовку в середине декабря, в разгар крайней нужды, и был потрясен картиной бедствия. Через несколько дней после его приезда земство выдало крестьянам продовольственную ссуду, и положение временно слегка улучшилось. К концу декабря приехал Оболянинов, а также на несколько дней известный юрист и публицист К. К. Арсеньев. Арсеньев описал свои впечатления в февральской книжке журнала «Вестник Европы» (1892 года).

Положение продолжало оставаться грозным. Оболянинов и Келлер начали открывать столовые в соседних селах. Кроме общих столовых, решено было отдельно открыть столовые при школах для детей.

В феврале 1892 г. для Приютинского кружка неожиданно представилась возможность значительно расширить свою деятельность. 22 января Вернадский получил от великого князя Николая Михайловича предложение пожертвования 30.000 рублей под условием, чтобы имя жертвователя осталось неизвестным. В книге Корнилова он упомянут как г. Н. М. По сведениям Петрункевича, Николай Михайлович не вручил эту сумму Красному Кресту, так как считал, что частный кружок лучше распорядится деньгами.

Обращение Николая Михайловича именно к кружку Вернадского, по всей вероятности, объясняется тем, что отец Николая Михайловича — Михаил Николаевич — состоял в 1860-х и 1870-х годах Кавказским наместником, а отец Наталии Егоровны Вернадской — Егор Павлович Старицкий — был в это время главным деятелем по введению судебной реформы и новых судебных учреждений на Кавказе, а впоследствии — членом Государственного Совета. Николай Михайлович (родился в 1859 году) должен был много знать о Старицком от своего отца и, вероятно, лично с ним был знаком.

Теперь приютинцам предстояло решить, как именно использовать предложенное им пожертвование. В начале их работы поставлено было целью устроить столовые на тысячу человек. Теперь оказалось возможным кормить не менее пяти тысяч человек, а сверх того организовать продовольствие не менее двух тысяч лошадей у наиболее нуждающихся крестьян. Не имея, чем кормить своих лошадей, эти крестьяне, как уже было сказано, начали их продавать за бесценок и тем окончательно подрывали свое хозяйство.

Оболянинов немедленно поехал опять в Вернадовку, чтобы помочь Келлеру собрать нужные для расширения дела сведения и для подготовки новой сметы. А. А. Корнилов решил взять на себя главное руководство всем предприятием и остаться на месте до конца кампании.

Для расширения дела потребовалось больше сотрудников. Еще ранее отправился в Вернадовку Сергей Иванович Шаховской, помещик Серпуховского уезда (брат Дмитрия Ивановича).

ча). Теперь поехало для помощи Корнилову еще несколько человек, в том числе Юлия Николаевна Сиротинина (сестра жены Д. И. Шаховского, Анны Николаевны), С. И. Яроцкий (вольнослушатель Петербургского университета), К. К. Бауер (кандидат того же университета), С. К. Еленевский (студент Московского университета) и Б. А. Юрковский (студент Петербургского университета).

Корнилов поселился в селе Липовке, Келлер остался в Вернадовке, остальные работники расселились по месту открытых ими столовых. Большую помощь началу их работы оказал местный земский начальник Н. О. Хржановский. Помимо Моршанского уезда, было открыто 22 столовых в Кирсановском уезде.

Все участники Приютинского кружка помощи работали, не щадя сил, с утра до ночи. Корнилов вспоминает, как в самом начале Келлер, отправляясь в Вернадовку, захватил с собой большой чемодан книг и с ужасом думал о длинных скучных зимних вечерах. Чемодан так и остался до конца нераспакованным. Ю. Н. Сиротинина серьезно заболела на почве переутомления. С. К. Еленевский заболел тифом. Обоим им пришлось вернуться в Москву раньше конца кампании.

В апреле Приютинский кружок получил еще довольно значительную финансовую помощь из Франции. Посредницей в этом деле была жившая в Париже Александра Васильевна Гольштейн, о дружбе которой с приютинцами было уже сказано раньше («Новый Журнал», книга 93). О создании Приютинского кружка помощи голодающим крестьянам и начале его деятельности Александре Васильевне сообщила из Москвы Н. Е. Вернадская. Кроме того, зимой 1891/92 г. в Париже жил для своей научной работы другой приютинец — друг Александры Васильевны, И. М. Гревс.

Александра Васильевна прислала от себя и своих ближайших русских друзей 200 франков (80 рублей) и помогла своим французским друзьям организовать французскую группу помощи. То было время начала франко-русской дружбы в международных отношениях, и поэтому известия о голоде в России особенно поразили многих французов, и им хотелось выразить свои симпатии России и русскому народу. Таким образом, в Париже образовался частный французский комитет помощи. В приложении к воззванию этого комитета о пожерт-

ованиях напечатано было письмо Оболянинова из Вернадовки от 1 января 1892 г. Переведено оно было на французский язык Александрой Васильевной. Сбор продолжался до 1 июля. Всего Приютинский кружок получил от этой подписки более шести тысяч рублей. Район со столовыми, открытыми на эти деньги, был назван французским. Крестьянам этого района объяснено было, что им помогают на пожертвования, присланные из Франции.

Деятельность Приютинского кружка по прокорму крестьянских лошадей и раздаче лошадей безлошадным крестьянам оказалась настолько нужна, что приютинцы пришли к мысли создать постоянный комитет для этой цели, который продолжал бы работать и по миновании голода.

Значительную поддержку этому делу оказал литератор и книгоиздатель Л. Ф. Пантелеев, собравший на это добавочные деньги и приехавший в Вернадовку в феврале 1892 г. для их распределения в контакте с приютинцами. Пантелеев принял ближайшее участие в обсуждении и проведении в жизнь устава «Попечительства для безлошадных крестьян Моршанского уезда». Пантелеев, кн. С. И. Шаховской, Корнилов и Келлер подписались в качестве учредителей. Тамбовский губернатор одобрил устав и представил его на утверждение в министерство внутренних дел. Кроме четырех членов-учредителей, десять человек подписали устав в качестве пожизненных членов, в том числе тамбовский губернский предводитель дворянства кн. Н. Н. Чолокаев, Н. О. Хржановский, Вернадский и граф И. И. Воронцов-Дашков. Кроме того было несколько членов с пожизненными взносами.

К весне 1892 года число работников Приютинской организации помощи стало уменьшаться. В марте уехали П. И. Алексеевский и кн. С. И. Шаховской (первый, впрочем, вернулся в мае). В апреле уехали К. К. Бауер, Б. А. Юрковский и С. И. Яроцкий, а также и заболевшие Ю. Н. Сиротинина и С. К. Еленевский.

Болезни развились и среди местного населения. Встал вопрос об организации медицинской помощи. Лечение простых случаев заболеваний взяла на себя г-жа Книпович. Вскоре приехал на помощь студент-медик последнего семестра Дерптского университета Ф. В. Берви. Ценное содействие оказал местный уездный врач М. М. Миллер.

К 22 июля основные работы помощи были приютинцами и их друзьями закончены. Остались неизрасходованными около трех тысяч рублей. В это время в районе помощи началась эпидемия желудочных заболеваний — предвестник холеры, которая уже началась на Среднем Поволжье. Приютинцы решили израсходовать остаток денег на борьбу с эпидемией. На это было получено согласие главного жертвователя великого князя Николая Михайловича.

Решено было устроить в селе Липовке, Питимской волости, медицинско-санитарный пункт для содействия земской медицинской организации, которая оставляла многого желать. Заведывать этим пунктом согласился Ф. В. Берви. В помощь ему был приглашен студент медико-хирургической академии А. Е. Кожин. В своем отчете, составленном для Приютинского кружка, Берви говорит, что цель его была «насколько возможно оздоровить население врачебной помощью и доставлением больным более легкой пищи, чем один черный хлеб, которым они могли располагать, и таким образом сделать почву для будущей холеры менее восприимчивой. Путей для занесения холеры в эти села [Питимскую волость] было много: возвращавшиеся с Кавказа, из Саратовской и других неблагополучных по холере губерний местные рабочие, постоянное сообщение с соседними большими торговыми и промышленными селами и др.».

«В августе стали приходиться убегающие от холеры рабочие; начались рассказы о пускающих заразу и морящих народ докторов... 24 августа был первый случай заболевания и быстрой смерти в селе Липовке... В Липовке в течение двух месяцев переболело 24 человека... В [соседнем] селе Вышенке умерло за те же два месяца около 150 человек, значит переболело 300-400».

Были случаи заболеваний и смертей от холеры и в других селах той же волости.

Быстрая смерть первых трех больных в селе Липовке, мытье изб, заливка карболовой кислотой и известкой дворов и проч. навело панику на население. «Никто, — пишет Берви, — даже братья не решались подойти к больным, так что приходилось мне самому класть умерших в гроб, чтобы показать, что это не так уж страшно».

Самоотверженная деятельность Ф. В. Берви была по за-

слугам оценена населением. «Мое положение было гораздо удобнее положения медика, командированного земством или администрацией», — пишет Берви в своем отчете. — «Благотворительная подкладка и совершенно частный характер моей деятельности отлично понималась крестьянами, даже упорствовавшими раньше, как только становилась ясна непосредственная связь моей деятельности с предыдущей продовольственной деятельностью нашего кружка. В упомянутом выше селе Вышенке произошел в первый же наш приезд туда следующий характерный случай: при посещении одной из зараженных изб, указанной нам священником, баба не хотела пустить нас к больному своему мужу. Узнав, что в этой избе была у нас столовая, я укорил бабу, что она так скоро забыла оказанную нашим кружком помощь, что не хочет даже мне, члену того же кружка, показать больного мужа, бывшего нашего столовника. Это привело ее в большое смущение: «Прости, ягодка, так это ты! Давай, давай лекарство — ты ведь свой». Благодаря этому случаю отношение вышенцев к медицине сразу изменилось».

Нужно сказать, что побуждения и цели даже и продовольственной работы кружка не были сразу поняты населением. В основе этого лежали психологические причины — исторически сложившееся недоверие крестьян к интеллигенции.

«Вначале, — пишет Корнилов, — неожиданное появление помощи со стороны, притом приносимой людьми, совершенно им неизвестными, показалось некоторым до того необычным, что пошли в ход самые нелепые догадки насчет происхождения помощи... Так, липовские бабы, как мы узнали потом, приходили к жене местного священника спрашивать, не антихрист ли Келлер. Тот же слух циркулировал и в Каменке на первых порах... Гораздо более серьезными помехами в нашем деле являлись: идея «царского пайка» и кошмар «круговой поруки», которые очень долго мешали установлению правильного отношения крестьян к оказывавшейся помощи».

«Вначале при первом появлении нашем в каждой новой деревне, куда мы решали распространить свою помощь, после первых разъяснений, кто мы такие, зачем приехали и какого рода помощь можем оказать населению, крестьяне неизменно начинали свою речь заявлением, что у царя все равны, что все одинаково платят подати и что всех одинаково постиг неурожай

— следовательно и помощь следует распределить между всеми поровну: поскольку придется. В ответ на это мы начинали свою сказку «про белого бычка», указывали им, что мы знаем, что неурожай постиг всех одинаково, но что ведь вынести-то его не все могли одинаково: одним совсем есть нечего, другие совсем разорились, распродали все хозяйство, проели скотину, третьи проели часть скотины, но не разорились еще окончательно; наконец, есть и такие, у которых были запасы и которым даже распродать не пришлось ничего; есть и богачи — не помогать же всем одинаково. С этими доводами передние в толпе как бы соглашались, некоторые даже поддакивали, другие молчали. Но скоро в задних рядах, а иногда и в передних — кто посмелее, начинали роптать: «Что же это вы будете теперь голь-то, да ленивых, да пьяниц кормить, а потом мы же за всех отвечаем? Нет, уж лучше раздавайте всем поровну — мы у царя все равны», и т. д., опять сначала».

«После новых разъяснений, что средства у нас ограниченные и на всех их все равно не хватит; что помощь наша даровая и, следовательно, за нее никто отвечать не будет; что средства у нас не казенные, а составленные из добровольных пожертвований добрых людей в пользу лишь крестьян, которые от неурожая пришли в крайность и действительно голодают или окончательно разоряются; что, следовательно, грех будет воспользоваться этой помощью богатым в ущерб бедному; что это будет все равно, что у нищего изо рта кусок хлеба отнять, и т. п. — сход начинает мало-по-малу понимать сущность нашей мысли, хотя недоверие, несомненно, остается. Указывают, наконец, несколько богачей, которые в помощи не нуждаются, а раз указано несколько, то тут уж не трудно добиться оценки имущественной состоятельности и остальных».

Полный отчет в значении оказываемой им помощи крестьяне себе отдали только тогда, когда привыкли и присмотрелись к деятелям Приютинского кружка настолько, что стали питать к ним некоторое доверие, видя, что они не по должности, а искренне, добровольно желали помочь. «Тогда только они (крестьяне) стали верить и словам нашим, с которыми раньше соглашались лишь по-наружности. Я помню хорошо один разговор с бывалым и, повидимому, довольно смысловым мужиком, который начал его таким предположением: «А что ведь должно быть от царя вам будет потом награда нема-

лая за все ваши труды; ведь, должно, начальство-то примечает, кто как свое дело делает». Я сказал, что никто из нас не ждет никакой награды и что мы вовсе на службе не состоим и занимаемся добровольно распределением тех средств, которые также добровольно пожертвованы в пользу голодающих частными людьми; притом упомянул, что часть денег прислана не русскими, а иностранцами, например, французами. Моя речь на этот раз произвела впечатление. Собеседник мой долго молчал и, наконец, заметил: «Значит, для души стараетесь. Ну, дай вам Бог!»

Деятельное содействие Приютинскому кружку помощи оказали учителя земских народных школ и местное духовенство.

Учителя повсеместно в районе деятельности кружка всячески содействовали устройству кружком школьных столовых. «Многие из них после прекращения этих столовых выразили в виде писем на имя В. В. Келлера, которому пришлось открыть бо́льшую часть существовавших у нас школьных столовых, свое сочувствие этому делу, более или менее подробно разобрав значение этих столовых для школ и для населения. До самого конца они вели, каждый при своей школе, открытые нами столовые самостоятельно, так что на нас лежала лишь обязанность периодического снабжения их провизией, да изредка посещения этих столовых».

«Что касается духовенства, — пишет далее Корнилов, — то по справедливости следует признать, что мы многим обязаны его содействию, особенно в самое трудное время в начале нашего предприятия. От сельских священников прежде всего мы узнавали обыкновенно о положении крестьян, их приходов, причем сведения эти не только доставлялись ими без замедления и с полной предупредительностью, но и по проверке их на местах оказывались почти всегда очень точными. Многие священники охотно сопровождали нас в наших подворных обходах, нередко принимали живое участие в обсуждении собранных данных и никогда не отказывали в своих советах и указаниях, иногда весьма для нас ценных. Особенно вспоминается ревностное участие Каменского священника, о. Петра Трескина, деятельно помогавшего Келлеру в самых первых шагах его по приезде в Вернадовку. Липовский священник, о. Александр Виноградов, в течение месяца заведывал всеми ли-

повскими столовыми, а жена его, Елена Васильевна, приняла на себя заведывание липовским складом (от января до марта), для помещения которого отвела нам свой собственный амбар. Эта хлопотливая и неприятная обязанность заставляла ее иногда проводить целые дни на морозе, отпуская провизию хозяевам столовых, входивших в состав Липовского участка».

Корнилов упоминает и несколько других священников, деятельно и самоотверженно участвовавших в работе Приютинского кружка. Корнилов вспоминает только одного молодого, только что рукоположенного священника (не называя его имени), «который вместо сочувствия неожиданно проявил по отношению к нам самую нелепую подозрительность, предположив, что мы не можем действовать без задней мысли и что эта задняя мысль наверное заключается в желании проповедывать среди крестьян учение Пашкова или другую какую-нибудь религиозную ересь».

По всей вероятности, этот священник действовал по дошедшим до него указаниям высшего духовного начальства в соответствии с подозрительностью Победоносцева в отношении Льва Толстого.

«Помещики Моршанского уезда, — пишет Корнилов, — большей частью владельцы очень крупных имений, не живут в них обыкновенно зимой и не всегда приезжают туда на лето. Многие из них ассигновали своим управляющим очень большие средства для помощи голодавшим крестьянам соседних с их имениями сел и деревень... Мы лично, где только приходилось иметь дело с представителями крупного землевладения и хозяйства, везде встречали полное радушие и сочувствие, а иногда и деятельную помощь. Две крупных экономии согласились бесплатно молоть для столовых Приютинского кружка рожь и ячмень. Четыре дали у себя приют лошадям, купленным нами для безлошадных крестьян. Наконец, большая часть помещиков и управляющих крупными имениями записались членами учрежденного нами попечительства о безлошадных крестьянах Моршанского уезда».

Оказали содействие Приютинскому кружку также и местные власти и учреждения, в особенности упоминавшийся уже земский начальник Н. О. Хржановский. «От земства мы получили провозные свидетельства на 12 вагонов для провоза наших продуктов; от председателя Красного Креста 6 таких же

свидетельств. Благодаря этому обстоятельству и любезности графа А. А. Бобринского, доставившего нам 11 провозных свидетельств Особого Комитета, мы получили возможность даром или по пониженному тарифу, и притом без замедления, перевезти купленную нами рожь из Тверской губернии и другие продукты для наших столовых и крестьянских лошадей».

Для своей помощи крестьянам Приютинским кружком за всю кампанию было получено от жертвователей — крупных и мелких — почти 46 тысяч рублей. Всего открыто было 113 столовых (включая школьные). Общее число столовавшихся (взрослых и детей) было около 7.500 человек. Кроме того прокормлено было более двух тысяч лошадей (собственных крестьянских и купленных для раздачи и розданных крестьянам).

Для того, чтобы оценить масштаб деятельности Приютинского кружка в голодный год, по сравнению с работой других частных организаций, приведу цифровые итоги работы самой известной из них, созданной Л. Н. Толстым.

За первые шесть месяцев деятельности Льва Николаевича и его сотрудников (считая от середины ноября 1891 г.) поступило пожертвований 141.000 рублей. Из них истрачено было 108.000. Открыто было 187 столовых, в которых кормилось около 10.000 человек (взрослых и детей). Производилось кормление крестьянских лошадей и покупались лошади для раздачи крестьянам (см. А. Л. Толстая, «Отец», том II, стр. 103-104; число прокормленных лошадей там не указано).

После того, как кружок закончил кампанию помощи в Моршанском и Кирсановском уездах Тамбовской губернии, в кассе его еще осталось немного более 1400 рублей. Ввиду вторичного неурожая в 1893 году в Тульской губернии и отчаянного положения крестьян ее, особенно в южной части Богородицкого уезда по берегам Красивой Мечи, приютинцы «решили перенести туда свою деятельность с целью организовать там помощь, если только не прекратится приток пожертвований». Выручка от продажи книг Корнилова «Семь месяцев среди голодающих крестьян», за покрытием расходов по печатанию, предназначена была на устройство столовых и кормление лошадей в Тульской губернии. О работе приютинцев в Тульской губернии у меня сведений нет.

В заключение своей книги о работе Приютинского кружка

помощи голодающим в Тамбовской губернии Корнилов пишет о настроении, с которым члены кружка разъезжались по домам: «Все мы чувствовали, что между нами и населением, которому мы помогали, в душе у каждого из нас образовалась некоторая духовная связь... За эти месяцы, проведенные в непосредственной близости к народу, в самой среде его, для многих из нас, городских жителей, весь быт его стал неизмеримо понятнее и яснее, нежели мог бы быть при кабинетном изучении его по книгам, хотя бы и в течение гораздо более долгого времени».

(Продолжение следует)

Г. В. Вернадский

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Корнилов, А. А. Семь месяцев среди голодающих крестьян (Москва, 1893).

Петрункевич, И. И. Из записок общественного деятеля (Прага, 1934).

Толстая, Александра. Отец. Том II (Нью-Йорк, 1953).

ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬИ О «ПРИЮТИНЕ»

(Новый Журнал, 93)

Aldanov, M. A Russian Commune in Kansas, *The Russian Review*, 4, No. 1 (1944), pp. 30-44.

ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ

ПИСЬМА Н. А. БЕРДЯЕВА

Публикуемые ниже письма Н. А. Бердяева и письмо К. В. Мочульского относятся к 1945-48 годам, когда, переселившись во время войны из Франции в Америку, мне удалось восстановить контакт с парижскими друзьями. Мы были совершенно отрезаны друг от друга за годы немецкой оккупации Франции, но наша глубокая духовная связь никогда не прерывалась.

С Николаем Александровичем Бердяевым я познакомилась в конце 20-х годов. В то время я жила в Медоне, парижском предместье, недалеко от Кламара, где Бердяев, его жена Лидия Юдифовна и ее сестра, Евгения Юдифовна Рапп жили в небольшом особняке на рю дю Мулен де Пьер. Я была приглашена ими на экуменические совещания; затем стала посещать их кружок, если можно так назвать маленькую, тесную группу, которая собиралась по воскресеньям в гостеприимном кламарском домике, чтобы вести религиозно-философские беседы в самой простой, интимной обстановке.

Постоянными гостями на этих воскресеньях были мать Мария Скобцова, отец Димитрий Клепинин, Г. П. Федотов, Лев Шестов, К. В. Мочульский, И. И. Бунаков-Фондаминский и др. Бердяев поручил мне перевод на французский двух его книг: «Константин Леонтьев» и «Судьба человека в современном мире». Николай Александрович тщательно проверял мою работу, он был требователен, но очень терпелив и мягок. То же благодушие он проявил по отношению к моим «ошибкам» (см. его шестое письмо) в моей книге, в которой он упоминался. Я ее писала уже будучи в Америке, не имея возможности снестись с ним и набросала его портрет «по памяти». Он потом только смог сделать поправки, однако, дружески признал, что в **общем** я его верно изобразила.

С Константином Васильевичем Мочульским я часто встречалась во время его лекций в Сорбонне, которые в дальнейшем должны были войти в его две книги: о Достоевском и Владимире Соловьеве. После лекций мы вели бесконечные дискуссии. Он был обаятельным собеседником и глубоко сердечным чутким человеком.

Мне также приходилось видеть Константина Мочульского в Доме Православного Дела у матери Марии, которой было суждено погибнуть добровольной жертвой гитлеровского террора. С Ильей Иси-

доровичем Фондаминским у меня было много общих интересов. Я бывала на его собраниях «Круга», объединивших молодых эмигрантских писателей, а также на организованных им экуменических встречах. «Ильюша», как мы его называли, также трагически погибший в лагере Дора, положил основу нашей дальнейшей экуменической работе в Америке и изданиям «Третьего Часа», о которых речь идет в письмах Бердяева и Мочульского.

Эти письма не нуждаются в комментариях: они отражают теплоту и высокую духовность этих двух замечательных людей, говорят сдержанно и просто о пережитых страданиях и в то же время о непреклонной воле до конца к творческой работе.

Елена Извольская

Clamart, 3 марта

Дорогая Елена Александровна! Очень обрадовало меня Ваше письмо. Но огорчен, что Вы не собираетесь вернуться в Париж. Неужели Вы окончательно остаетесь в Америке? У нас был Маритэн.¹ Рассказывал и о Вас и о русских, которых видел в Америке. Говорят, что ему предложили быть посланом в Ватикане, но, что он колеблется, принять ли назначение.

Самое тяжелое в нашей жизни это очень серьезная болезнь Лидии Юдифовны. Она с трудом может говорить и глотать пищу, очень слаба. Болезнь определяют или как миостению, ослабление мускулов горла или как нервный паралич. Лечение пока не помогает и мы хотим обратиться к другому доктору, очень рекомендованному. Болезнь вообще нас преследует. Годы немецкой оккупации были морально очень тяжелыми. Сейчас морально несоизмеримо лучше, но материальная жизнь все еще очень тяжелая. Особенно страдали мы эту зиму от холода.

Несмотря на трудные условия я за эти годы много написал. Сейчас начал книгу «Диалектика Божественного и Человеческого». Также написал книгу «Русская Идея, основные проблемы русской мысли XIX и XX века». Написал также философскую автобиографию, которую не предполагаю сейчас печатать. Осенью я читал публичный доклад «Русская и Германская Идея». Кроме того напечатал статью «Превращения национализма и интернационализма». Все это вызвало много споров. Некоторые находят, что моя ориентация слишком советско-

патриотическая. Меня очень огорчили дошедшие до меня сведения, что Георгий Петрович² настроен совсем иначе, что его ориентация недостаточно русская. Очень интересуюсь, что Вы написали за это время, когда все слова очень ответственные.

Очень печалит меня судьба Матери Марии и Ильи Исидоровича.³ Быть сейчас в концентрационном лагере в Германии очень опасно. Боюсь, что мы их больше не увидим, особенно Ил. Исид.

И. В. Манциарли бывает у нас часто.⁴ К моему удивлению наиболее близки ко мне сейчас оказались некоторые бывшие младороссы, которые отказались от остатков монархических чувств.

Лид. Юд. и Евгения Юд. шлют Вам сердечный привет.

Всегда буду рад иметь от Вас известия.

Душевный привет Вам, *Николай Бердяев*.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Жак Маритэн, известный католический философ, с которым Бердяев много лет дружил и который вскоре после посещения Николая Александровича, рассказанного в письме, был назначен французским послом при Ватикане. Во время войны, Маритэн проживал в Нью Йорке и я часто с ним встречалась.

² Георгий Петрович Федотов, находившийся в это время в Америке.

³ Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский, арестованный и заключенный в концентрационный лагерь. Когда Николай Александрович писал это письмо, весть о гибели Фондаминского еще не дошла до Парижа. Мать Мария скончалась в лагере Равенсбрук 30 марта 1945 года.

⁴ Ирма Владимировна Манциарли, близкий друг Бердяевых. См. примечание к письму второму.

Clamart, 3 мая

Дорогая Елена Александровна! Очень благодарю Вас за присылку Вашей книги.¹ Читал ее с захватывающим интересом и волнением. Это ведь главным образом личные воспоминания, очень конкретные. Меня очень тронуло, что Вы с такой симпатией и дружеским чувством написали о Клармарском доме и описали многие характерные черты. Но есть несколько био-

графических неточностей. Я никогда не был профессором Богословского И-та и большая часть профессоров относились ко мне подозрительно, считая меня левым и модернистом. Мой дед не был Киевским генерал-губернатором и не был реакционером. Он был атаманом Войска Донского и для своего времени очень гуманным и либеральным человеком. Вас, очевидно, эстетически пленял контраст деда и внука. Я также не могу себя признать учеником Вл. Соловьева, хотя очень его ценю и имею с ним родство по идее Богочеловечества, о чем Вы и говорите. Биографически Достоевский и Хомяков имели для меня больше значения. Все это может быть очень спорным и многие черты Вами характеризованы верно. Более всего дорого в Вашей книге, что она написана с любовью. Получается картина напряженных духовных течений. Книга будет очень полезна для Запада. Вероятно, она вышла и на английском языке. Я не получил «Третьего Часа»,² видел всего на пять минут. Что это значит? Очень хотел бы иметь книжку. Не знаю сможете ли продолжать «Третий Час». И. В. Манциарли³ уже приехала и на-днях будет у нас. Она многое расскажет.

А Вы безнадежно останетесь в Америке? Очень жалею, что Вас не будет в Париже. Но здесь жизнь во всех смыслах трудна. Ничто не улучшается. Русская атмосфера тяжелая, много вражды. У нас бывает много народу, даже больше чем раньше, но общество изменилось. Плохо, что все время болеем, особенно Евгения Юдифовна. Я много работаю, но настроен печально. Летом поедем лечиться и отдыхать.

Душевно преданный Вам *Николай Бердяев*.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Речь идет о моей книге “Light Before Dusk”, во французском переводе — “Au Temps de la Lumière”. Перевод этот вышел в Канаде вскоре после выхода английского текста в Америке в 1942 г. Я послала Николаю Александровичу французский текст, так как он слабо владел английским языком, о чем часто писал и говорил нам. См. письмо шестое.

² Сборник религиозно-философских статей, который я стала издавать в Нью-Йорке с 1945 года с группой экуменически настроенных друзей. В первом номере (на русском языке) были напечатаны две статьи Бердяева. Во втором и третьем номере эти же статьи, как и

все другие статьи первого номера, появились в переводе на французский и английский языки. Бердяев дал нам статью и для четвертого номера, которая вышла посмертно по-английски.

³ Ирма Владимировна Мандиарли, одна из основательниц и ближайших сотрудниц «Третьего Часа». Жила во время войны в Америке, но вернулась в 1945 г. в Париж, где скончалась.

Clamart, 12 октября

Дорогая Елена Александровна! Пишу Вам в исключительно тяжелые для меня дни. В конце сентября скончалась Лидия Юдифовна. Болезнь ее была мучительна и она замечательно ее переносила. Но смерть не была тяжелой, была очень просветленной, ее духовное состояние было очень высоким. Я никогда не встречал такой силы веры, как у нее. Смерть безумная вещь, с ней трудно примириться, но в ней есть и светлость, есть откровение любви, затемненной обыденной жизнью.

Я хочу прислать Вам две статьи из «Русских Новостей» — «Власть прошлого и грядущее» и «О затруднениях свободы». Эти статьи подходят для американской печати. Вы перевели мою статью и Ваш перевод непременно должен быть оплачен, иначе я не согласен. Для меня гонорар должен быть меньше 25 долларов. По официальному курсу сумма будет небольшая. Если на эти деньги можно купить какие-нибудь вещи, то это лучше чем переслать деньги. А может быть лучше подождать скопления нескольких гонораров. Вещи еще лучше чем продовольствие, так как здесь ничего нельзя достать и за шесть лет мы очень обносились. Обуви не нужно. Важнее всего было бы шерстяная теплая фуфайка (под рубашку), шерстяные теплые кальсоны и чулки, для меня среднего размера. Для Евгении Юдифовны теплые фуфайки и чулки, также среднего размера. Был бы очень благодарен, если бы накопилась достаточная сумма для покупки и пересылки нам.

Напишите статью для «Cahiers de la Nouvelle Epoque»,* может быть что-нибудь из американской жизни.

Очень благодарен Вам за хлопоты.

Душевно преданный Вам *Николай Бердяев.*

* Сборник, в котором сотрудничал Бердяев.

Clamart, 19 октября

Дорогая Елена Александровна! Посылаю Вам две статьи, которые можно было бы устроить в американской печати. Нужно только найти переводчика.

Мне очень тяжело жить в нашем опустевшем доме, хотелось бы куда-нибудь переехать.

Душевно преданный Вам *Николай Бердяев*.

Думаю, что лучше, когда накопится некоторая сумма за статьи, выслать мне посылки. Маленькая просьба, имеющая сейчас для нас огромное значение. В Париже теперь закрывают электричество на два-три часа в течение вечера. Мы ввержены в абсолютную тьму. Нельзя ли было бы выслать нам из Америки свечи. Здесь нельзя достать свеч ни за какие деньги, ламп тоже нельзя достать.

Clamart, 14 декабря 1945

Дорогая Елена Александровна! Меня очень тронуло Ваше письмо и Ваша забота. Особенно тронули меня слова о Лидии Юдифовне. Мы чувствуем себя очень сиротливо и очень тоскливо в нашем доме. Собираемся ехать с Евгенией Юдифовной на три недели в швейцарские горы, чтобы там передохнуть. Но нужно преодолеть много трудностей. У меня в плохом состоянии сердце, один клапан не в порядке, и часто бывает отдышка, особенно по ночам. Очень благодарен за свечи, которые получил. Сейчас это очень важно, так как каждый вечер по несколько раз прекращается электричество. Очень благодарю за посылки.

Буду с нетерпением ждать появления «III-го Часа». Хорошо, что Вы готовите английское издание. Посылаю Вам еще одну свою статью «Почему Запад не понимает Советской России» для устройства в американской печати. Статью эту считаю очень ответственной. Сейчас очень нарастают антирусские настроения. Вообще состояние мира очень плохое. Помните, что Вы обещали дать статью для «Cahiers de la Nouvelle Epoque». Лучше всего напишите о духовных течениях в Америке. Когда накопится несколько гонораров за американские статьи, то можно нам перевести. Лучше все же не спешить, так как пред-

видится стабилизация франка. Очень мечтаю иметь возможность корректуры моей книги.

Шлю Вам сердечный привет и еще раз благодарю за заботы.

Душевно преданный Вам *Николай Бердяев*.

Это письмо написано Николаем Александровичем накануне смерти и получено мною уже после его внезапной кончины, 20 марта 1948 г.

Clamart, 19 марта 1948

Дорогая Елена Александровна! Благодарю Вас за желание устроить в Америке мои статьи. Боюсь только, чтоб это не заняло у Вас слишком много времени. Французская книга статей, которую я Вам прислал, уже взята моим английским издателем. Вероятно, он будет издавать и для Америки. Напечатать в Америке можно только до появления книги по-английски.

Меня очень трогает забота обо мне Небольсина.¹ Но скажите ему, что приехать в Америку я ни в коем случае не могу. Прежде всего у меня нет достаточно сил для такого путешествия, я легко утомляюсь и часто болею. Препятствием еще является то, что я почти не знаю английского языка, это создаст большое затруднение! О поездке в Америку не стоит и говорить, да и мировая атмосфера сейчас очень неблагоприятная. Хотя я все-таки думаю, что войны не будет. Нужно бороться с психозом войны.

Так как предлагают мне присылать посылки, то Евгения Юдифовна составила список того, что нам особенно нужно: гречневая крупа, рис, сухое молоко (молока совсем нет в Париже), сахар, кофе в зернах, чай, мука, консервов не нужно.

Прибавление от меня лично: я очень люблю сигары, папирос совсем не курю. Даже во время войны я получал по карточкам от 30 до 45 сигар в месяц. Сейчас в Париже исчезли сигары совсем, их нельзя найти ни за какие деньги. Если можно было бы вложить в посылку сигары, то это было бы для меня блаженство. Много, вероятно, нельзя вкладывать, но немного сигар можно вложить.²

Крепко жму руку и благодарю (за) заботы. Евг. Юд. шлет Вам привет.

Душевно преданный Вам *Николай Бердяев*.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Георгий Аркадьевич Небольсин, русский адвокат и писатель, проживавший в те годы в Нью Йорке, но ездивший также в Париж. Он навещал Николая Александровича и принимал участие в его судьбе. Он намеревался устроить ему поездку и лекции по Америке и доставлял ему посылки. Г. А. скончался в Париже скоропостижно несколько лет после Бердяева. Он принимал также живое участие в подготовке сборников и в деятельности «Третьего Часа».

² Бердяев не был только охотником до сигар, они служили ему средством успокоения от нервного тика, от которого у него перекашивалось лицо, особенно в минуты волнения или во время докладов или разговора. Быть лишенным этого средства было для него особенно мучительно.

ПИСЬМО К. В. МОЧУЛЬСКОГО

26 июля 1945

11, rue Jean Formigé, Paris 15

Дорогой друг, Елена Александровна!

Представьте себе человека, просидевшего 5 лет в тюрьме с ежедневной угрозой смертной казни и вдруг выпущенного на свободу! Вот наше настроение теперь. Подумайте, какой радостью были для нас первые вести от друзей из Америки. Появлялось свежим воздухом. Потом мы стали получать посылки (я получил от Вас две посылки и бесконечно Вам благодарен!) и понемногу ожили. Мне так отраднo чувствовать Вашу любовь, заботу, и знать, что наша духовная связь еще окрепла за эти страшные годы. Я уверен, что нам **суждено еще встретиться** в этой жизни и что наши испытания имеют смысл.

Рассказать Вам подробно о нашей жизни за эти пять лет очень трудно. Несмотря на Гестапо и постоянную опасность обыска, я все это время вел Дневник и м. б. когда-нибудь и что-нибудь из него напечатаю. Материал исторический! А пока прошлое (слово неразборчиво). В июне 1940 года — Бердяевы, Фондаминский и я отправились в “exode”, жили два месяца в

Аркашоне, но немцы нас настигли и там — и в августе мы все вернулись в раздавленный и обезчещенный Париж. Началось голодное существование — я питался в кантине у Матери Марии, «Кантин дю Марешаль». Есть было или нечего или невозможно. Отопления не было — был поистине страшный год. Все же я в пальто, в шапке и перчатках продолжал писать свою книгу о Достоевском. В 1942 году я случайно зашел к издателю Пайо и он вдруг купил у меня все мои книги («Духовный путь Гоголя», «Великие русские писатели XIX века», «Владимир Соловьев» и «Жизнь и творчество Достоевского»). Началась моя работа с переводчиком Вельтером: к маю 1942 года Соловьев и Достоевский были уже переведены по-французски — но тут вышел немецкий декрет, запрещающий издание русских книг. Они до сих пор еще не вышли, т. к. после “libération” появился кризис бумаги. Есть слабая надежда, что они будут напечатаны в конце этого года. Своего Достоевского по мере исписания я читал в небольшом кружке Матери Марии, Пьянову, Оцупу и семье Бердяевых. Меня особенно вдохновляет Николай Александрович, считающий, что это первая в литературе «духовная биография Достоевского». Книга больше 600-700 страниц.

Потом началась трагедия: 9 февраля 1943 года были арестованы о. Дмитрий Клепинин, Пьянов, Казачкин, мать Мария и мой любимый ученик и друг Юра Скобцов. До января 1944 года они сидели в лагере в Компьень и мы могли им писать и получать письма. Им удалось устроить церковь и они писали бодрые и мужественные письма: мы жили все надеждой на встречу с ними. Увы! в январе они были депортированы, сначала в Бухенвальд, а потом еще ужаснее — в лагерь «Дора». Вернулись только Пьянов и Казачкин. О. Дмитрий скончался в марте 1944 г., а о Юре и Матери нет известий, но кажется, они тоже погибли. Это почти невозможно было пережить.

Летом 1943 года от холода, истощения и моральных терзаний я заболел сильным плевритом и чуть не умер. Меня выходила Ек. Алекс. Могилевская, которая увезла меня в свое имение под Парижем. С тех пор мое здоровье очень пошатнулось, правое легкое под угрозой и страшная истощенность. Но так как я решил не унывать, то в марте этого года начал писать другую книгу, которую подготавливал уже 3 года, о русских символистах — в центре Блок и Белый — книга уже почти написана, но где и когда она будет напечатана, еще не знаю. Пока

читаю ее по главам друзьям, особенно Николаю Александровичу,¹ который слушает ее с волнением, т. к. это его тоже «русский Ренессанс», как он любит говорить. 5 июля, по настоянию врача, отправился в деревню поправляться. У меня вес 54 кл. и мне велено довести его до 60. Это не так легко, т. к. в нашей бедной Франции попрежнему ничего нет. Но мне удастся здесь с помощью друзей доставать молоко и масло — и я уже поправился. Живу я в старом, запущенном «шато», кругом сосновый лес и чудный воздух. Вот Вам моя краткая биография. За эти годы, кроме писания книг я преподавал в Богословском Институте, который каким-то чудом сохранился.

Вы знаете о наших потерях: о. Сергей Булгаков, Ильюша Фондаминский, мать Мария, Юра, Вольфсоны, мои друзья Переплетник, поэт Юрий Мандельштам, Юрий Фельзен, Лозинский, Струве, Бальтрушайтис и многие другие. Со всем этим трудно примириться. Все мы вышли из этого застенка усталыми, постаревшими и измученными. Я удивляюсь, почему при разгроме «Православного Дела» я уцелел (я был вице-председателем), считаю это чудом.

Я рад Вашему плану издавать журнал — и непременно пришлю Вам статью, но только после возвращения в Париж (в сентябре). Здесь у меня нет нужных книг под рукой.

Я очень мечтаю о переводе моего Соловьева и Достоевского по-английски и об издании их в Америке. Как только они выйдут по-французски, я Вам их пришлю, но у меня есть и русский текст.

А теперь Ваша очередь рассказать мне все подробно о Вашей жизни. Сердечно разделяю Ваше горе — я с большой симпатией вспоминаю Вашу маму.² Напишите мне еще о русских парижанах, которых Вы встречаете. Огромное спасибо за посылки — только ради Бога не отказывайте себе в необходимом. Я получаю посылки от Одесского Землячества и Литературного Фонда. Спасибо за все, старый, дорогой друг! Да хранит Вас Господь! Пишите мне по парижскому адресу.

Ваш *К. Мочульский*.

¹ Бердяеву. Е. И.

² Моя мать, Маргарита Карловна Извольская, скончалась в 1942 году в Америке.

ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО

Эти два письма М. Горького (к В. С. и Э. С. Войтинским) мы получили от Ю. П. Гарви, их душеприказчика, разбирающего архив покойных Войтинских. Об этих письмах Ю. П. сообщает нам следующее.

Письмо М. Горького к Э. С. Войтинской написано из Мариенбада. Э. С. получила тогда от Ст. Цвейга разрешение на перевод его пьесы «Иеремия» и Горький обещал ей устроить напечатание перевода во «Всемирной Литературе», о чем Э. С. упоминает в своих воспоминаниях, вышедших по-английски («Две жизни в одной», Н. И. 1965, стр. 105). Для журнала Горького «Беседа», выходившего тогда в Берлине, Э. С. сделала несколько переводов с немецкого — Келлермана и др.

В письме к В. С. Войтинскому М. Горький говорит о втором томе работы В. С. «Весь мир в цифрах», которая вышла тогда в Берлине в издательстве «Знание». Так как советское правительство значительно сократило тогда ввоз русских книг из-за границы (фактически прекратило), то остальные пять томов этой известной работы В. С. Войтинского вышли только по-немецки (и в переводах с немецкого). Через Горького В. С., очевидно, пытался устроить печатание своих работ в Сов. Союзе, но из этого ничего не вышло. РЕД.

Г-же ЭММЕ ВОЙТИНСКОЙ

Я предложу Ваш перевод пьесы Цвейга «Всемирной Литературе» и какому-либо из московских издательств; сделаю это сегодня же и как только получу ответы — не премину тотчас же сообщить их Вам.

Если Вам угодно знать мое личное мнение о пьесе — вот оно: я думаю, что для сцены она технически громоздка, требует много затрат на постановку и едва ли может быть поставлена на сценах русских театров при современных условиях.

В чтении она тоже дает впечатление не очень выгодное: тяжеловесна, по-немецки подробно рассказана, от этого излишне многословна в ущерб драматизму и быстроте действия. Мне кажется, что такие вещи требуют формы повести, а не пьесы.

Не посвятил ли ее Цвейг Р. Роллану? В 14-18 годах роль Иеремии в Европе лучше всех играл именно Роллан.

Передайте Владимиру Савельевичу мою сердечную благо-

дарность за присланную книгу; уверен, что второй том будет так же хорош, как первый. Вышлю ему на-днях мою новую маленькую книжку.

Желаю Вам всего доброго. Не найдете ли Вы времени перевести для «Беседы» два, три небольших рассказа Эдшмита, Цвейга, Кайзера или кого-либо из молодых? В выборе материала полагаюсь на Ваш вкус.

Рукопись В. перевода высылаю Вам.

3. III. 24.

Привет. А. Пешков.

В. ВОЙТИНСКОМУ

Не думаю, чтобы мое мнение — мнение профана имело интерес для Вас, но все же скажу: Вы затеяли очень важное дело и, судя по первому тому, прекрасно делаете его.

Но — что я могу Вам посоветовать? Только одно: пошлите книгу в личный адрес А. И. Рыкова, я думаю, что он, скорее других, оценит ее, как она того стоит. Послать мог бы Б. И. Николаевский. Мои отношения с Москвой все более портятся, а сношения становятся все реже. Если Вы пожелали бы — я могу написать о книге и Рыкову, и Каменеву. Однако, не уверен, что из этого получится какой-либо толк.

Сейчас весь Госиздат в руках Ильи Ионов; это не плохой человек и любит делать книги, но — он человек взбалмошный и, видимо, желает, чтоб все и всякие книги печатались в России. С ним очень трудно, как говорят. Но, может быть, и ему нужно послать экземпляры «Всего мира»? Право не знаю.

Извините, что пишу плохо; болен, кашляю, как овца. Весна и — дань ей — бронхит.

22. II. 25, Сорренто.

Всего доброго. А. Пешков.

ПИСЬМО СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Публикация этого письма Сергея Есенина к Александру Кукикову требует комментария. Оно было опубликовано профессором Gordon MacVay в 1968 г. в июльской книжке "The Slavonic and East European Review". Но т. к. нигде в русских зарубежных изданиях это письмо Есенина не было напечатано и т. к. все письма Есенина к Кукикову

исчезли при загадочных обстоятельствах, мы считаем существенным опубликовать его.

Публикуемое письмо написано в Атлантическом океане, во время возвращения Есенина и Айседоры Дункан из Америки. Оно говорит о настроении Есенина по отношению к Сов. России. Добавим, что мы встречались в то время с С. Есениным в Берлине и это его отношение к Советской России подтверждаем. Помню даже, как во время одной встречи пьяный Есенин кричал: «Не вернусь в Россию пока ей правит Бронштейн-Троцкий!» По тем временам это была «неслыханная контр-революция». Но, разумеется, Есенин ни при каких обстоятельствах не мог остаться в эмиграции, т. к. Запада он просто «не видел», не знал и любить его не мог. Есенин был деревом непересадочным и при всякой перемене почвы — погиб бы. Он, конечно, это чувствовал. И вернулся. И повесился.

Александр Кусиков (р. 1896, сборники стихов «Аль-баррак», «В никуда» и др.) — его соратник по имажинизму. У Кусикова хранилось, вероятно, много писем Есенина и среди них могли быть и гораздо более «контр-революционные» в смысле отношения Есенина к результатам большевизской революции («Вот так страна! Какого ж я рожна...»). И вот 8 января 1968 года к А. Кусикову, живущему в Париже (11 сквер Адольф Шериу, Париж 15), пришла, приехавшая из Москвы, Татьяна Сухомлина, представительница библиотеки им. Ленина. Мы не знаем состоит ли эта Сухомлина в родстве с старым эс-эром В. В. Сухомлиным, бывшим за границей одновременно и в группе эс-эров и работавшим на Сов. Союз. Когда эта его двойная деятельность была разоблачена В. Сухомлин уехал в СССР. Г-жа Сухомлина пришла к Кусикову не одна, а вместе с переводчицей с русского на французский г-жей Робель. Они просили Кусикова показать его архив, при чем особенно интересовались письмами Есенина и Андрея Белого. После нескольких визитов этих двух дам, 10 января А. Кусиков обнаружил, что папки с письмами С. Есенина и А. Белого из архива исчезли. Все попытки разговоров по телефону и попытки встреч с г-жей Т. Сухомлиной и г-жей Робель не привели ни к чему. Тогда 30 января 1968 г. А. Кусиков обратился к прокурору республики в Париже (6-я секция) с официальным заявлением, прося о расследовании похищения у него ценных документов. В этом заявлении Кусиков дает много интересных подробностей. Но это расследование тоже ничего не дало. Так и исчезли письма С. Есенина и А. Белого. Но неизвестные похитители не знали, что одно письмо Есенина к Кусикову (публикуемое ниже) Кусиков дал утром 8 января 1968 г. скопировать проф. G. MacVay. Публикуя это письмо в «The Slavonic and East European Review», G. MacVay говорит, что в присутствии Кусикова он снял с письма Есенина тщательную и точную копию с сохранением пунктуации и орфографии Есенина. Мы печатаем это письмо С. Есенина с примечаниями G. MacVay и некоторыми нашими добавлениями. **Р. Г.**

Милый Сандро!¹

Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж. Едем вдвоем с Изадорой. Ветлугин остался в Америке. Хочет попытать судьбу по своим 'Запискам' подражая человеку с коронковыми зубами.²

Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая внешне типом сплошное Баку, внутри Захер-Менский³ если повенчать его на Серпинской.

Вот что душа моя! Слышал я, что ты был в Москве мне оч. бы хотелось знать кой что о моих делах. Толя мне писал что Кожеб. и Эйзенш. из магазина выбыли.⁴ Мне интересно на каком полозу теперь в нем я ибо об этом в письме он по рассеянности забыл сообщить.

Сандро, Сандро! тоска смертная, невыносимая чую себя здесь чужим и ненужным а как вспомню про Россию, вспомню что там ждет меня так и возвращаться не хочется. Если б я был один если б не было сестер то плюнул бы на всё и уехал бы в Африку или еще куда нибудь. Тошно мне законному сыну российскому в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей Богу не могу. Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу.

Теперь когда от революции остались только клюнь да трубка теперь когда там жмут руки тем (неразб.) — кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что ты и я были и будем той сволочью на которой можно всех собак вешать.

Слушай душа моя! Ведь и раньше еще там в Москве когда мы к ним приходили они даже стула не предлагали нам при-

¹ Так друзья звали Кусикова.

² Намек на книгу А. Ветлугина «Записки мерзавца», Берлин, 1922. Ветлугин (Рындзюк) сопровождал Есенина и Дункан в их путешествии в США, где он и остался. Работал в кинопромышленности. Умер в 50-х г.г.

³ Грубоватая острога: имеется ввиду писатель Н. Захаров-Менский.

⁴ А. М. Кожебаткин и Д. С. Эйзенштадт помогали Есенину и Мариенгофу вести книжную лавку имажинистов на Б. Никитской в Москве.

сесть. А теперь теперь⁵ злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать к какой революции я принадлежал. Вижу только одно что ни к февральской ни к октябрьской повидимому. В нас скрывался и скрывается какой нибудь ноябрь ну да ладно. Оставим этот разговор про Тётку. Пришли мне душа моя лучше что привез из Москвы новаго и в письме опиши все. Только глупостей которые говорят обо мне не пиши. Запиши их лучше у себя 'на стенке над кроватью'.⁶ Напиши мне что нибудь хорошее, теплое и веселое как друг. Сам видишь матерюсь. Значит больно и тошно.

Твой Сергей

PARIS Rue de la Pompe 103

(сто три)

Атлантический океан, 7 февраля 1923.

⁵ Так в письме.

⁶ Намек на обыкновение Кусикова писать свои стихи на стене над кроватью.

ПИСЬМО А. И. КУПРИНА

Париж, 27 октября 1926 г.

Дорогой Профессор,

Не знаю, успел ли я Вам ответить получительным письмом в ответ на присылку Вами мне 20-ти долларов. Но, думаю, что повторная благодарность дела не портит. Благодарю сердечно.

Жизнь моя была бы сносна, если бы меня не облапошивали издатели всех стран и наций. Пробовал протестовать. Ответ один: «Конвенция». Какая же к чорту конвенция, когда у меня нет того аппарата, который один может заключить конвенцию, то-есть — отечества. Оттого и живу в нетопленной квартире, и не знаю, чем заплатить доктору, когда больны жена и дочь, и хожу весь дырявый, и ем колбасу. Кстати, если Вам придется когда-нибудь бедствовать, то вот рецепт вареной колбасы:

Берется колбаса на 1 франк 50 сантимов, головка лука — 25 сантимов, соль, перец — 10 сантимов, картофеля две штуки — 15 сантимов. Все это варится в кастрюле. Едят с хлебом, вроде супа. Хлеб — 30 сантимов. Итого 2 франка 30 сантимов. Хватает на троих.

Но при этом условие: держать себя бодро. Когда спросят, как поживаете (безтактный вопрос), отвечайте:

«Слава Богу, плохо».

Сердечно Вам преданный *А. Куприн*

Это письмо А. И. Куприна нам любезно прислала г-жа Евгения Зильбург из своего архива. Оно обращено к проф. И. М. Гольдштейну, до Октябрьского переворота преподававшему в Московском у-те. В 20-х годах в Нью-Йорке И. М., ставший эмигрантом, организовал «Фонд помощи ученым и писателям Москвы». Псылками и деньгами Фонд помогал не только писателям и ученым москвичам, но и эмигрантам. На это и отвечает А. И. Куприн. РЕД.

“ЛАГЕРНЫЙ ЯЗЫК” ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

По данным разных источников, число заключенных в советских концлагерях после войны колеблется по годам между 10 и 30 миллионами. Это значит, что в лагерях ежегодно сидело примерно от 5% до 15% всего населения Советского Союза. Но ведь население концлагерей не было статично, оно все время текло: одних убивали, другие умирали от голода и болезней, третьих, правда, — не так уж часто, выпускали на волю и на поселение. Для пополнения приходили новые миллионы. Стало быть, в совокупности, лагерной жизни в СССР отведали многие и многие десятки миллионов людей. Недаром в годы Сталина в Советском Союзе бытовала такая горькая шутка: население СССР делится на три категории — на заключенных, бывших заключенных и будущих заключенных.

«Лагерный язык» — то-есть тот жаргон, который был в употреблении жителей концлагерей, постепенно распространялся за черту этих лагерей. Его уносили с собой те, кому удалось освободиться; «лагерные» слова и обороты вклинивались в письма лагерников на волю, своим родным и друзьям. Но власть строго следила за тем, чтобы «лагерный жаргон», лагерные слова и выражения не попадали в печать, в художественную литературу.

Появление произведений талантливейшего писателя Александра Исаевича Солженицына дает нам обширный материал не только для понимания советской действительности в послевоенные сталинские годы. Его произведения весьма ценны и языковеду, который посвятит себя изучению вопросов образования и развития в Советском Союзе особого «лагерного языка» — и его влияния на живой язык советских людей. А. И. Солженицын просидел в лагерях и тюрьмах восемь лет. Он хорошо знает язык этой среды. Больше того, А. И. Солженицын — филолог, его остро интересуют лингвистические вопросы,

интересует живой русский язык, поэтому словарь и обороты «лагерного языка», естественно, не могли пройти мимо его внимания. Произведения А. И. Солженицына интересны тем, что по ним можно проследить, насколько прочно въедается «лагерный жаргон» в язык даже интеллигентных, образованных людей, имевших несчастье стать зэками. Этот «жаргон» идет за ними за пределы концлагерей, остается в их словаре и на воле.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» дает нам яркое представление о языке зэков в лагерной обстановке. В романе «В круге первом» А. Солженицын показывает советских зэков — интеллигентов и полуинтеллигентов: инженеров, физиков, математиков, филологов, техников и т. д., собранных в числе «281 головы» из разных лагерей в подмосковную спецтюрьму Маврино для выполнения особых заданий. Вырванные на время из лагерных условий, эти интеллигенты-зэки в общении между собой продолжают пользоваться, ставшими привычными для них, лагерными словечками и выражениями. Наконец, в «Раковом корпусе» А. Солженицын показывает, что «лагерный жаргон» и особые, так сказать, «манеры», которые прививаются лагерникам за долгие годы заключения, позволяют бывшим зэкам, перешедшим на положение ссыльных и даже вольных, легко узнавать друг в друге людей «оттуда».

Важно отметить, что А. Солженицын писал свои произведения для советского читателя, рассчитывая опубликовать их в Советском Союзе. Зная строгости цензуры и установки коммунистической власти, он, надо думать, был довольно умерен в употреблении лагерного словаря и жаргонных выражений. Не зря же А. Твардовский, редактор журнала «Новый мир», публикуя в 1962 году «Один день Ивана Денисовича», счел нужным заблаговременно предупредить нападки на автора повести со стороны языка ее героев. В своем «Вместо предисловия» Твардовский писал:

«Может быть, использование автором — весьма, впрочем, умеренное и целесообразное — некоторых словечек и речений той среды, где его герой проводит свой трудовой день, вызовет возращения особо привередливого вкуса».

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» довольно густо насыщена лагерными «словечками и речениями». Однако, А. Твардовский, превосходно знающий советскую

действительность, считает количество их в повести даже «умеренным». Отсюда можно представить себе, насколько, в действительности, сильнее засорен «лагерными словечками» язык эзков — бывших и настоящих.

Население концлагерей было и, надо полагать, остается до сих пор смешанным по политическому и социальному составу и по уровню образования. Лагерную среду составляют и крестьяне-колхозники, и рабочие, и чиновники-бюрократы, и инженеры-технократы, и офицеры, и, так сказать, интеллигенты «чистой воды»: писатели, журналисты, юристы, доктора и так далее. Немало среди заключенных и преступного элемента: воров, убийц. Само собой понятно, что какой-нибудь, скажем, колхозник или интеллигент-писатель, попав в лагерь, и там продолжает говорить языком, привитым ему прежней социальной средой, в которой он вырос и жил. Простонароден, например, язык рассказчика в повести «Один день Ивана Денисовича»; таким же языком бывалого крестьянина-колхозника говорит у Солженицына и герой этой повести Шухов:

«Пожалел Шухов Цезаря и научил:

— Сиди, Цезарь Маркович, до полудня, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядывать, тогда выходи. Большой мол!»

Или:

«— Ну, пожалуйста! — кричал Шухов. — Отодвинься ты, друг ситный, не засть! — толкнул он кого-то».

А вот язык эзка Спиридона Егорова, бывшего крестьянина-колхозника, отбывающего срок в Мавринской спецтюрьме, где его поставили работать дворником. Вот его разговор с Нержиным — другим заключенным той же спецтюрьмы:

«Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Правда, в листовках наших тискали — в обои уши не уберешь: все, мол, вам прощается, братья и сестры вас ждут, колокола звонят, а то, вроде, мол, и колхозов неволею не будет, а только кто хошь. Прямо хоть ботинки скидать, босиком сюдою бечь... Только листовкам тем я не верил и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить — знал».

Свой язык — язык образованного, интеллигентного человека сохраняет, например, Нержин — математик и лингвист, автогенный Солженицыну персонаж романа «В круге первом»:

«Надя пишет в письме: «Когда ты вернешься...» В этом и ужас, что возврата не будет. Вернуться — нельзя. За совместных четырнадцать лет фронта и тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придет новый, незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, и она увидит, что того, ее первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись — того человека уже нет, он испарился — по молекулам.

Хорошо, если в той, второй, жизни они еще раз полюбят друг друга».

Но вот в язык этого колхозника или интеллигента мало-помалу начинают проникать и закрепляться в нем лагерные слова, лагерный лексикон. И постепенно этот новый словарь становится ему настолько привычным, что он прибегает к нему, не задумываясь. Таким образом, по прошествии какого-то срока язык лагерного обитателя превращается по своему словарному составу и речевым оборотам в своеобразный конгломерат. Основным в нем попрежнему остается язык той социальной среды, к которой принадлежал зэк на воле. Однако, в этот язык вклиниваются напластования лагерного жаргона. Толщина этих напластований в каждом отдельном случае зависит от многих причин: от образовательного и культурного уровня зэка, от степени его морального сопротивления давлению со стороны лагерной среды, от длительности пребывания в лагере, условий лагерной жизни и т. д. Вот образец лагерного языка-смеси в речи рассказчика в повести «Один день Ивана Денисовича»:

«Засыпал Шухов вполне довольный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не погнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся».

В приведенной цитате можно выделить несколько речевых стилей. Прежде всего, это простонародный язык рассказчика повести, близкий к языку Шухова. Легко выделяются в цитате и блатные словечки: закосил, шмон. Находим в цитате даже профессионализм — «закрыть процентовку», в данном случае показать выгодный для себя (пусть и фиктивный) процент выполнения работы.

Огромное и пестрое население «лагерной империи», в которое надо включить также и лагерную администрацию и вольных работников лагерей, представляет собой как бы обособленное общество. Это общество, как и общество вольных советских людей, подразделяется по своему положению на своеобразные социальные группы. Верхний слой лагерного населения, его элиту составляет начальствующий персонал. Ступенью ниже идет так называемый «надзорсостав», то-есть разного калибра надзиратели и «маленькие начальники». К ним примыкают вольные работники лагерей, среди которых много сотрудников КГБ. «Придурня», то-есть обслуживающий персонал лагерей из числа зэков, — это служилый «класс» лагерного населения. На особом положении находятся в лагерях «урки», «блатюги» — представители уголовного мира, крепко спаянные между собой. Низшую «страту» лагерного «общества» составляют рядовые зэки, «работяги». Они — плебейский элемент среди жителей лагерей.

«Лагерный язык», вырабатывавшийся и складывавшийся не одно десятилетие, понятен каждому обитателю концлагеря, на каком бы «амплуа» он там не находился. Однако, необходимо отметить, что язык каждой из приведенных выше категорий лагерного населения отличается своими речевыми особенностями, характеризуется известным тяготением к определенному словарному запасу и оборотам. В языке, скажем, тех же «урок» множество «блатных» слов и выражений, речь надзирателей густо пересыпана грубейшими ругательствами, и т. д. Разумеется, что те же «блатные» обороты и выражения не являются лишь постоянным «урок», они понятны всем обитателям лагерей. В конечном счете, лагерный язык, по своей лексике, представляет собой какую-то смесь жаргонов, своеобразную языковую радугу. О разных спектрах этой радуги я и буду говорить.

Концентрационные лагеря, с их строго регламентированной военизированной жизнью, с их системой, направленной на постепенное физическое истощение и духовное опустошение заключенных, на их «обесчеловечение», внесли в советскую действительность немало новых явлений и понятий. В результате в речь лагерников, а из нее и в живой язык массы советских людей, вошло множество неологизмов, диалектальных слов, вульгаризмов, поговорок и выражений. В повестях А. Сол-

женицына мы без труда найдем примеры употребления всех этих лагерных словообразований.

Неологизмы, вошедшие в лагерный язык, можно схематически подразделить на несколько категорий.

Сокращения разных типов. Сокращений в словаре лагерников, по существу, немного. В большинстве такие неологизмы-сокращения не есть продукт живого творчества заключенных, а введены сверху, пришли в язык вместе с системой или порождены ею, но приняты для употребления населением лагерей. Приведу здесь примеры неологизмов-сокращений разных типов.

Буквенные сокращения: ГУЛАГ (Главное управление лагерей), БУР (барак усиленного режима), ВОХР (вооруженная охрана), УРЧ (учетно-распределительная часть) и т. п. Эти неологизмы вошли в язык как имена существительные, они подчиняются грамматическим правилам, установленным для этих имен, то-есть склоняются; от них можно даже образовать множественное число, хотя практической необходимости в таком образовании нет. От этих буквенных сокращений образовались и производные слова: БУР — буровец, буровский; ВОХР — вохровец, вохровский; УРЧ — урчевцы, урчевский.

По тому же принципу буквенного сокращения образовалось, собственно говоря, и популярное в наши дни в СССР существительное **зэк**. Происходит оно от сокращенного обозначения в официальных ведомостях слова «заключенный» как з/к. Читается это обозначение «зэка». Первоначально это чтение аббревиатуры употреблялось и в разговорном языке как несклоняемое и неизменяемое по родам и времени существительное. Употреблялось оно и как собирательное существительное: «зэка» — все заключенные, коллектив заключенных. Приведу для иллюстрации несколько строф из популярной до сих пор в СССР песенки «Зэка Васильев и Петров-зэка».

И вот решили мы: бежать нам хочется.

Не то все это очень плохо кончится.

Нас каждый день мордуют уголовники,

И главный врач зовет к себе в любовники.

И вот решили мы бежать, ну, а пока

Мы оставались все теми же зэка —

Зэка Петровым, Васильевым-зэка.

Три года мы побег готовили,
Харчей три тонны мы наэкономили,
И нам в дорогу даже дал половничек
Один ужасно милый уголовничек.

И вот бежали мы вдвоем — в руке рука.
Рукоплескали нашей дерзости зэка:
Зэка Петрову, Васильеву-зэка.¹

В этой песне существительное зэка не склоняется, а строка «рукоплескала нашей дерзости зэка» свидетельствует об употреблении этого неологизма в качестве собирательного существительного женского рода.

Повести А. Солженицына говорят о том, что к тому времени, когда он сидел в лагерях, неологизм «зэка» приобрел уже все права имени существительного мужского рода. **Зек** стал склоняться и даже приобрел форму множественного числа — зэки. У других советских писателей можно найти примеры дальнейшей трансформации этого неологизма в сторону просторечных форм — зик, зики; зык, зыки. Андрей Алдан-Семенов, в своей повести «Барельеф на скале» приводит еще один вариант этого неологизма: закашка, закашки. Этот вариант означает дальнейшее приближение чужеродного «зэка» к живому, разговорному русскому языку.

Слоговые сокращения. Такие сокращения образуются путем соединения первых слогов двух или нескольких слов. Слововых неологизмов-сокращений в «лагерном языке» чрезвычайно мало, да и те из них, которые употребляют лагерники, по существу, заимствованы из других профессиональных речений: начкар (начальник караула), сексот, завпрод и т. д. В повестях А. Солженицына можно также найти неологизмы — слоговые сокращения, обозначающие название различных административных организаций, ведающих лагерями или название лагерей: Речлаг, Дубровлаг, Озерлаг, Луглаг, Степлаг, Песчанлаг, Спецлаг и т. д.

Средний тип между буквенным и слоговым сокращением представляет собой неологизм-сокращение типа **шизо** — штрафной изолятор. Здесь от первого слова взята только одна первая согласная, а от второго — первый слог. В результате получен неологизм-существительное среднего рода.

¹ Записано автором со слов недавнего советского невозвращенца.

Комбинированные сокращения. Этот тип неологизмов-сокращений образуется путем сочетания первого слога одного слова со вторым словом, взятым полностью, или наоборот. Неологизмов-сокращений такого типа мы найдем в работах А. Солженицына довольно много. Приведу несколько примеров: концлагерь, лагпункт, спецбарак, вагонзак (вагон для заключенных), оперуполномоченный, оперчекистский (оперчекистский отдел) и т. д.

Укорочения. Укороченных слов, вошедших в «лагерный язык», в произведениях А. Солженицына встречается очень мало. Чаще всего употребляется только одно такое слово — **опер**, которое произошло от должностного титула **оперативный уполномоченный**. Укорочение это стало полноправным именем существительным мужского рода.

Новообразования эпохи концлагерей. Из массы неологизмов, проникших в лагерный язык, очень трудно выделить неологизмы, достоверно родившиеся в лагерях, а не занесенные туда из других жаргонов. Особенно трудно отделить такие лагерные неологизмы от «блатных слов», «блатной музыки», унаследованной сталинскими лагерями от дореволюционных тюрем и пореволюционных советских допросов — домов принудительных работ. Возможность допустить ошибку при классификации подобного рода лагерных неологизмов довольно велика. Из такого рода неологизмов, родившихся в лагерях или, по крайней мере, прочно ассоциируемых с лагерями, следует отметить:

а) **Имена существительные:** пайка — норма хлебной выдачи, хлеб; придурок — заключенный, занятый не на общих работах, а направленный лагерной администрацией на обслуживание, в обслуживающий персонал; придурня — собирательное существительное от «придурок». «Но это были не серые эки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне... Но спорить с ними бесполезно: у придурни меж собой спайка и с надзирателями тоже»; шарашка — тюрьма, спецтюрьма. Читатель помнит, что в романе «В круге первом» дважды ставится вопрос: что такое шарашка? (стр. 10-11). Однако, прямого ответа на этот вопрос в книге так и не дано. Надо полагать, что в основе этого слова лежит тот же смысл, что и в основе известного выражения «шарашкина контора».

В словаре Владимира Даля приведен глагол «шарашаться». Означает он: идти тихо, двигаться медленно, не спешить. Очевидно, в «шарашкиной конторе» не торопились с работой, «шарашались» или, как говорится, — «медленно поспешали»; вертухай — лагерный надзиратель. Происходит это слово, вероятно, от просторечного выражения: «Стой! Не вертуйся!». Так надзиратели покрикивают на эков. Надзирателей в лагерях зовут также «попками», «свечами», «сфинксами». Эти выражения, вероятнее всего, взяты из «блатной музыки»; шалашовка (по другим, устным, источникам — шалашовка; не исключена возможность, что в романе «В круге первом», где Солженицын приводит это выражение, допущен недосмотр) — лагерная женщина, предмет внимания лагерных «дон-жуанов». Выводят это выражение от слова «шалаш», как временного пристанища для таких женщин. Выражение носит презрительный оттенок.

Можно привести сотни других выражений, родившихся в концлагерях за истекшие десятилетия. По недостатку места, однако, я вынужден ограничиться кратким перечнем только некоторых из них: фитиль — заключенный, дошедший до последней степени физического и морального истощения; вольняшка — вольнонаемный работник лагеря; шлёпка — расстрел; вагонка — отделение на четверых лагерников, на такие «вагонки» делятся нары в лагерных бараках; прожарка — помещение, обычно — при бане, в котором на огне прожаривают одежду эков в дезинфекционных целях; отказчик — заключенный, отказывающийся работать; запретка — запретная зона, а также знак, обозначающий такую зону; бытовик — заключенный, отбывающий наказание за преступление бытового характера; указник — ээк, сидящий в лагере за нарушение правительственного указа; отрицаловка — отрицательный элемент среди эков — блатные, сектанты, фитили и т. п.; раздатка — раздаточное помещение; шестерка — ээк, находящийся в услужении у начальства или даже у блатных и придурков и т. д.

б) **Глаголы:** доходить — быть в стадии крайнего физического истощения; законвоировать — приставить к ээку конвой, то-есть вооруженную стражу; расконвоировать — снять конвой, то-есть предоставить ээку свободу передвижения в определенных пределах; качать права — ссылаться, настойчиво упираться на права, предоставляемые советским гражданам консти-

туцией и законами; гужеваться — возиться, в смысле быть занятым чем-нибудь; шестерить — находиться у кого-нибудь в услужении, помогать кому-нибудь по работе; горбить — усиленно работать.

Я умышленно избегаю в этом разделе глаголов, вошедших в лагерный язык из «блатного жаргона». Таких глаголов масса. Некоторые из них я укажу, когда буду говорить о «блатной музыке».

в) Существительные на -ага, -яга:

Хочу особо отметить ряд неологизмов — существительных с суффиксами -аг-а и -яг-а, возникших в эпоху концлагерей и прочно вошедших в «лагерный язык». По крайней мере, в произведениях А. Солженицына существительные такого рода встречаются очень часто.

Как известно, посредством суффиксов -аг-а, -яг-а, -уг-а, -юг-а от основ имен существительных, имен прилагательных и глаголов образуются существительные общего рода. Эти существительные обозначают лиц по их признакам и действиям, в одних случаях с эмоциональной окраской сочувствия, а в других — с оттенком презрения. Из существительных этой категории в произведениях А. Солженицына наиболее часто встречаются следующие: доходяга — истощенный физически эзк, находящийся на пороге смерти; бедолага — несчастный, невезучий; работага — в лагерном языке это рядовой эзк, работающий в зоне; вольняга — вольнааемный работник лагерного учреждения; блатяга — блатной и другие.

г) Неологизмы — переосмысления:

Особую и очень интересную категорию лагерных неологизмов составляют переосмысления. Многие слова, которые нашли себе место в «лагерном языке», употребляются совершенно в другом смысле, чем их первоначальное значение. Приведу несколько примеров переосмыслений.

Все мы знаем, что значит в обычном языке слово **рога**. Но в «лагерном языке» это слово означает лишение прав. «Потапов был наказан всего лишь десятью годами лишения прав, что на арестантском языке называлось десять и пять по рогам».

Или другое существительное — **намордник**. В «лагерном языке» это слово имеет два значения: то же, что и рога, то-есть лишение гражданских прав и другое: — щит на окне барака или

камеры, мешающий ээку видеть, что делается снаружи, но пропускающий свет. Знаменитая **параша**, означающая женское имя, когда она пишется с большой буквы, и известный ночной сосуд, в лагерном языке получило дополнительное значение: слух, новость. «По лагерям ползли грозные параша, слухи о скорых этапах на Север». («В круге первом», стр. 185). Лагерный оперуполномоченный или опер на языке лагерников называется кумом, может быть, потому, что в его функции входит продление лагерникам срока «сидки», назначение им так называемого, «второго срока». «Был **кум** — лагерный опер старший лейтенант Камышин, одиннадцать месяцев крестивший его на второй срок, на новую десятку» («В круге первом», стр. 155). «Крестиками» в лагерях называют ээков, осужденных по религиозным мотивам: сектантов, священников и т. д. Известное всему служилому люду слово **командировка** на лагерном языке означает участок, пункт временной работы ээков; воронок, ворон — это автомобиль для перевозки заключенных; «столыпин» — вагон для заключенных, шакал — лагерный попрошайка, волк — то же, что и стукач, сексот, то-есть соглядатай, доносчик. «Похоронка», бывшая во Вторую мировую войну кошмаром для миллионов советских семей и означавшая уведомление о смерти на фронте, в лагерных условиях стала означать прятание, хоронение чего-либо; «людоед», пахан (у блатных — отец) — Сталин.

д) Поговорки и выражения:

«Лагерный язык» содержит немало метких выражений и поговорок — оригинальных или заимствованных. А. Солженицын приводит ряд таких поговорок и выражений. Так, «хитрый домик» у лагерников означает дом или помещение, где работает опер и откуда исходят для ээков многие из их несчастий; «деревянный бушлат» — это гроб. Выражение «от пуза» на языке ээков значит обилие чего-нибудь, высшую меру удовлетворения потребностей в чем-либо. Разумеется, это выражение прежде всего относится к удовлетворению потребностей в пище, так как с едой, вернее — с систематическим недоеданием, связаны для ээков самые главные трудности лагерной жизни. «Когда вас поведут в столовую, — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!» («В круге первом», стр. 10). «Чем в каторжном ла-

гере хорошо — свободы здесь от пуза». («Один день Ивана Денисовича», стр. 65).

«Нахальство — второе счастье» — повторяет ээк из интеллигентов Руська Доронин поговорку, родившуюся в среде «блатных» («В круге первом», стр. 207); у Костоглотова — героя «Ракового корпуса», лагерь — это место, «где девяносто девять плачут, один смеется» (стр. 445).

Как я уже сказал, некоторые из приведенных лагерных неологизмов не совсем новые словообразования; они появились еще до революции или в первые пореволюционные годы, но не получили тогда широкого распространения. Взять хотя бы ту же «шестерку». До революции это слово означало полового, слугу в трактире, в лагерных условиях «шестерка», как мы уже знаем, превратился в слугу лагерного начальства и даже лагерных «придурков». Да и само слово «придурок», по свидетельству сов. писателя Бориса Дьякова, повелась от «урок». Широкое применение получило и слово «баланда». До революции «баландой» называли жидкую, но вполне съедобную похлебку. В лагерных условиях «баланда» превратилась, действительно, в какое-то отдаленное подобие супа, который, в нормальных условиях, не станет есть даже животное.

Из «блатного жаргона», несомненно, заимствовано и выражение «шмон», означавшее первоначально «обыск». Существительное **шмон** и даже глагол **шмонить** мы найдем в словаре В. Даля. Однако, во времена Даля эти слова имели иное значение. Тогда под **шмоном** подразумевали человека — баклушника, шатуна, шлѐнду, а глагол **шмонить** значил шататься без дела, шляться. В языке обитателей лагерей существительное **шмон** получило дополнительное значение: теперь оно означает не только обыск, как действие, но и место, где производится этот обыск. Встречается даже вариант этого существительного с суффиксом -ка (весьма продуктивным в русском языке, с помощью которого образуются существительные женского рода): **шмонка**.

Развитие глагола **шмонить** пошло не только в сторону переосмысления (глагол получил новое значение — обыскивать) — родились новые формы от этого глагола, новые варианты. Даже А. Солженицын в своих произведениях употребляет разные видоизменения указанного глагола. В «Одном дне Ивана Денисовича» глагол этот принял форму **шмонять**

(стр. 58); в «Круге первом» он дает две основных формы этого глагола: шмонить и шмонать (стр. 169 и 503) с префиксальными формами совершенного и несовершенного вида — прошмонить, дошманивать, прошманивать. Не думаю, что разницей в формах этого глагола объясняется недосмотр со стороны А. Солженицына. Вероятнее всего, что в разных местах, в разных лагерях употребляются различные формы. Так, Борис Дьяков, в «Повести о пережитом», придерживается формы **шмонать**. Очевидно, такая форма была употребительна в восточно-сибирских концлагерях, которые описывает Б. Дьяков.

Грубая, животная жизнь в концлагерях, наполненная звериной борьбой за существование и лютой ненавистью эзков к своим тюремщикам, а тюремщиков — к экам, способствовала огрубению языка обитателей концлагерей. Он щедро насыщен разного рода вульгаризмами, начиная от исковерканных, искаженных выражений и слов нормального языка и кончая самой забористой, «матросской» руганью.

а) «Блатной жаргон»

Больше всего вульгаризмов «лагерный язык» впитал из «блатного жаргона». Слово «блат» было известно еще до революции, но в СССР оно приобрело широкое употребление в смысле незаконных, потайных связей, позволяющих жить при помощи взаимной выручки и круговой поруки. Название «блатной», «блатарь» было дано политическими заключенными «ворам» уже в советское время. До сих пор «блатные» в советских тюрьмах и лагерях живут обособленно, группируясь по «кодлам» — воровским ячейкам, крепко держащимся друг друга. Эта спайка позволяет «блатным», несмотря на их относительное меньшинство среди эзков, хорошо устраиваться и выживать даже в труднейших условиях. Влияние «блатных» усиливается еще и тем, что советская власть видит в них «социально-близкий элемент» и оказывает своим «родственникам» разные поблажки.

В разговоре между собой «блатные» пользуются особым воровским жаргоном, называемым **феней**. Множество слов и выражений из этой фени перешло в «лагерный язык», стало достоянием не только урок и блатарей, но и всех насельников концлагерей. Само слово **феня**, по В. Далю, происходит от афени или офени. Так в России издавна звали мелких торговцев

в разнос. Очевидно, эти афени или офени в те времена были большие жулики, так как в разговоре между собой употребляли особый язык — афенский или офенский, чтоб их не понимали посторонние.

«Блатной язык» насчитывает очень большое количество слов. Однако, значение их может меняться в зависимости от места. В произведениях А. Солженицына дается немало выражений и слов из «блатного языка».

«Лагерный жаргон» за время сидения в лагерях настолько въедается в язык эков, что они автоматически употребляют его даже по выходе на волю. Характерно в этом отношении письмо, которое пишет Костоглотов, — герой «Ракового корпуса», — своим знакомым.

б) Вульгаризм — бранные слова

«Лагерный язык» отличается обилием ругательных слов и выражений. Ругаются в лагере все, но больше всего начальство и надзирательский состав. Ругань, оскорбления и унижения — важный элемент той системы обесчеловечения людей, на которой построена организация концлагерей. Надзирателей, охрану и вольных работников наставляют презирать эков, смотреть на них как на скот. Им вдалбливают, что заключенные, это — не «советские люди», а «псы мирового империализма», контррреволюционеры и шпионы. Начиненные такими инструкциями, ожесточенные тяжелыми условиями службы, надзиратели и охрана с годами, действительно, звереют, переставая видеть в эках что-либо человеческое. Хорошо уже, если эка назовут номером, который нашит или намалеван у него и на груди, и на спине, и на рукавах, и даже на коленях. Чаше он слышит только «дурак, чушка, гад, быдло, сволочь» и другие подобные обращения. В повести «Один день Ивана Денисовича» надзиратель так отзывается о эках: — «Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба и того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить».

Ахмаджан, один из пациентов ракового корпуса, служивший до болезни в лагерной охране, почти так же убеждает своих слушателей в «нечеловечности» эков: — «Кормят их, гад буду, лучше, чем солдат! Ну — не хуже! Пайка — кило двести. А их бы говном кормить! А работать — не работают!

Только до зоны их доведем, сейчас разбегутся, прятают и спят целый день!... Они — не люди. Они — не люди!»

Сквернословие, широко распространенное в Советском Союзе вообще, в лагерях распускается махровым цветом. Приходится слышать упреки по адресу Солженицына, что слишком большое количество ругательных, «ядренных» слов в его произведениях снижает их художественную ценность, засоряет язык. Думаю, что А. Солженицын, как подлинный художник-реалист и знаток языка, не мог не отметить огрубения и засорения русского языка в СССР — вообще, и в частности — в лагерях. Здесь «мат» прививается всем, даже высокоинтеллектуальным заключенным. Виртуозностью площадной брани в лагерях, как бы, даже щеголяют. Нержин — из романа «В круге первом» — человек образованный, интеллигентный, при отправке его из шарашки обратно в концлагерь, среди других переживаний ощущал и такое чувство: — «Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное».

«В круге первом» Солженицын выводит как что-то противоестественное, выходящее из ряда обычного, надзирателя, который не умеет ругаться. Фамилия его — Наделашин. Вот что пишет о нем Солженицын: — «Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков или, как их теперь называли — тюремных работников, но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где каждый второй прошел лагерную или фронтową академию ругани, где матерные ругательства запросто употреблялись не только пьяными в окружении детей (а детьми — в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но иногда и в задушевных беседах (особенно — на следствиях), Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как «черт» и «сволочь».

Картина ясна и ярка. Недавно, в беседе со «свежим» советским невозвращенцем, молодым московским физиком, я, между прочим, задал ему и такой вопрос: «Скажите, как в Союзе, в разговоре по-старому часто употребляют ругань?» — «Употребляют?! — переспросил он меня с недоумением. — Да ведь это же основной язык!». И это была не шутка, мой собеседник сказал совершенно серьезно.

**в) Техника передачи бранных слов в произведениях
А. Солженицына**

А. Солженицын выступил своеобразным новатором в области передачи в художественном произведении самой виртуозной ругани. Печатать такую ругань в «оголенном» виде, конечно, не представлялось возможным. Новые приемы, внесенные А. Солженицыным в технику «кодирования» бранных слов, очень оригинальны. Он, например, меняет первую букву у ругательного слова, тем самым меняя его звучание. Кому это ругательство знакомо, тот распознает его и в искаженном виде, а кому нет — он примет искажение за опечатку, за диалектизм. Другой оригинальный прием шифровки Солженицыным «непечатных» слов — прибавление к ругательному слову одной или двух букв, что также меняет звучание слова и затрудняет его понимание для «непосвященного».

Широко пользуется А. Солженицын и старым способом завуалирования бранных слов постановкой точек взамен пропущенных целых слов или нескольких букв. В последнем случае Солженицын опускает буквы в разных местах слова с таким расчетом, чтобы значение слова все же можно было угадать.

Появление произведений А. Солженицына дает богатейший и надежный источник для изучения развития живого русского языка за годы сталинской власти. И не только языка: эти произведения столь же ценны для историка, социолога, психолога, как ценны они для языковеда.

Е. Шилеев

НОВОЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

I. Новые «основы землепользования» и личное хозяйство

Кто внимательно просмотрел итоги ЦСУ СССР за 1968 год не мог не обратить внимания на единственное упоминание о личном хозяйстве советских граждан, и о том, в каком контексте оно подано. Приводя данные о поголовье продуктивного скота по данным последних четырех лет, на первое января ЦСУ эти данные сопровождает примечанием: — «Поголовье крупного рогатого скота и свиней в истекшем году несколько сократилось, в основном за счет уменьшения его в личном подсобном хозяйстве населения».

Снижение численности скота у частных владельцев произошло именно в том году, когда правительство громогласно заявляло, что им сняты все необоснованные ограничения с приусадебного хозяйства населения. И в принятых в конце прошлого года основах земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, хотя упоминание о личном хозяйстве и начинается со статьи об основаниях для прекращения права пользования землей, а не о самом землепользовании (о чем говорится в статьях 25, 26 и 27-й) — тем не менее вносится определенная юридическая ясность в этот вопрос и подтверждается право на владение личным садом, огородом, виноградником, право на держание скота в личном хозяйстве.

Каждый колхозный двор имеет право на приусадебный участок, предоставляемый в порядке и в пределах норм, предусмотренных Уставом колхоза. Так начинается текст 25-й статьи и кончается подтверждением, что «в соответствии с уставом колхоза колхозным дворам выделяется пастбище для их скота».

В статье 26-й сообщается, о выделении в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях приусадебных земельных участков в пределах норм для предостав-

ления рабочим и служащим. В следующей, 27-й статье говорится о «предоставлении приусадебных земельных участков рабочим и служащим совхозов и другим гражданам, проживающим в сельской местности». Не выпал из поля зрения составителей основ и вопрос о предоставлении земельных участков в пользование жилищно-строительным и дачно-строительным кооперативам, а также гражданам для индивидуального жилищного строительства. Об этом сказано в статье 37-й. Не забыты и служебные земельные наделы, которые согласно статье 42-й предоставляются отдельным категориям работников транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, связи, водного, рыбного, охотничьего хозяйства и некоторых других отраслей народного хозяйства.

Основы землепользования как-будто написаны всерьез и надолго, с расчетом не на одну-другую пятилетку, а может быть и до конца нынешнего столетия. Партия и правительство словно смирились с тем, что личное хозяйство если и не будет процветать, то, во всяком случае, существовать долгие годы, несколько нарушая ту радужную картину, которую рисовали основоположники марксизма-ленинизма, не допуская ереси вступления членов бесклассового общества со своими дачами, автомобилями, садами и собственной скотиной в лоно полного коммунизма.

Но если партия и примирилась с дальнейшим существованием личного хозяйства, то явно — скрепя сердце. Перейти в наступление можно в любой момент — благоприятный и неблагоприятный. Административные меры — волевые решения, а ими богата вся история аграрной политики КПСС — не так уж трудно возродить: у власти те же люди. Кстати, и нынешние основы землепользования оставляют лазейки для любой формы ущемления интересов тех, кто пользуется земельным наделом, приусадебным участком.

Возьмем, например, статью 11-ю основ. В ней есть две такие фразы. Первая: «Права землепользователей могут быть ограничены законом в государственных интересах, а также в интересах других землепользователей»; вторая: «Использование земли для извлечения нетрудовых доходов запрещается» (СЖ, 14 дек. 1968 г.).

Ну, а разве раньше не под предлогом защиты государственных интересов отказывали в предоставлении пастбища

для скота единоличников? Разве не борьбой с частновладельческим инстинктом объяснялось ограничение права держать скотину в личном пользовании? Разве не государственными интересами руководились, когда срезали лучшие участки приусадебных хозяйств для создания продовольственной базы вокруг промышленных и крупных городов?

Теперь эти действия, ранее считавшиеся законными, называются «необоснованными ограничениями личного приусадебного хозяйства». Но кто же может гарантировать, что администрирование и волюнтаризм надолго исчезнут из сельскохозяйственной политики КПСС?

Сейчас отстаивание прав советских граждан на личное хозяйство и личное животноводство принимает новую форму. Этому находят даже теоретическое оправдание. Оправдывается возможность и целесообразность существования личного хозяйства даже при «углубленном социализме». Оправдывается даже товарность ведения личного хозяйства. Это — уже много. Но еще более: считается законным работа трудоспособных на своем огороде, в хлеву у своей скотины, если, конечно, эта работа не идет в ущерб общественному производству. Вышло несколько серьезных трудов и статей, в которых отмечается положительное значение существования личных хозяйств для построения социализма, для успешного функционирования народного хозяйства.

Вот, например, как в статье на эту тему М. Сонин характеризует положение, в котором оказалось личное приусадебное хозяйство советских граждан после начала семилетки:

«Несмотря на указания сентябрьского пленума 1953 г., «что наличие известного количества продуктивного скота является важным условием повышения материального благосостояния крестьянства и увеличения объема заготовки продуктов животноводства в стране, а следовательно, выгодно как для колхозников, так и для государства», в последние годы стали допускаться необоснованные ограничения личного подсобного хозяйства. В районе неполивного земледелия во многих колхозах и совхозах приусадебные участки были сокращены до предельных размеров, которые были установлены для районов поливного земледелия. Были значительно уменьшены приусадебные участки сельских врачей и учителей, рабочих и служащих».

Итак, вместо ожидаемого увеличения занятости в общественном хозяйстве, получилось противоположное — сократилось участие колхозников в коллективном производстве. Давление на колхозников повлекло за собой снижение продажи на рынке мяса, молока и других продуктов, что как отмечает Сонин, «вызвало некоторые дополнительные трудности в снабжении ряда городов и рабочих поселков продовольственными продуктами».

Но это и понятно. Как пишет Ю. Арутюнян в брошюре «Опыт социологического изучения села» (изд. Моск. университета в 1968 г.): «Не будь личного хозяйства, труд колхозника все равно нашел бы применение вне колхоза, если колхоз не предоставил бы ему хотя бы минимум материальных достатков» (стр. 56).

Ущемление личного подсобного хозяйства не принесло никакой пользы общественному производству. Предположение, что обобществление личного хозяйства повлечет за собой рост продуктивности скота никак не оправдалось. В 1960 г. удой на одну корову во всех хозяйствах в среднем составлял — 1.779 кг. Далее все шло на снижение: в 1961 г. удой равнялся 1.744 кг., в 1962 — 1.693 кг., в 1963 — 1.600 кг. Перелом произошел только в 1964 г.

Трудный, неурожайный 1963 г. с полной очевидностью показал здоровые основы личного приусадебного хозяйства. Оно с меньшими потерями пережило последствия недорода. К тому же провал ожидаемого повышения занятости в общественном хозяйстве, с сокращением затрат труда на личном приусадебном участке, показали просчет аграрной политики партии и в этом случае. И партии пришлось переходить на новые рельсы в отношении к личному подсобному хозяйству. Вот как в политическом и пропагандном органе КПСС — «Партийная Жизнь» — характеризуются просчеты в попытке придушить личное приусадебное хозяйство в период семилетки:

«В массе своей колхозы на нынешний день еще не достигли того рубежа, когда, как говорится в программе КПСС, «личное подсобное хозяйство постепенно себя изживает экономически». В большинстве из них роль подсобного хозяйства колхозников еще весьма существенна. Особенно велико экономическое значение подсобного хозяйства в отстающих колхозах — в силу низкого обычного уровня оплаты труда в обще-

ственном хозяйстве. Однако, как раз здесь в недавнем прошлом допускался неправильный подход к делу. Рассуждали так: чтобы поднять активность колхозников в артельном труде, надо добиться, чтобы люди поменьше занимались своим приусадебным участком. Отсюда нажим на личное хозяйство колхозников, стремление сократить его административными мерами. Отдельные работники на местах, нарушая ленинский принцип добровольности, принуждали колхозников продавать своих коров колхозу. При этом совершенно не учитывалась способность колхоза удовлетворить потребности колхозников в молоке и молочных продуктах за счет общественного хозяйства» (Парт. Жизнь, 1965 г., № 10, стр. 22-3).

Известно, что меры по ликвидации личного приусадебного хозяйства касались не только колхозников, но и других слоев населения. В той же «Партийной Жизни» говорится: — «Были также попытки «свернуть» подсобное хозяйство рабочих и служащих, проживающих в сельской местности. Как известно, все это нанесло ущерб интересам и тружеников села и государству. Здесь наглядный пример необоснованного забегания вперед, оторванности от жизни, от реальной действительности».

Автор статьи заверяет, что «в настоящее время указанные ошибки устраняются... необходимо извлечь из прошлого серьезный урок и более трезво подходить ко всем вопросам сочетания личного и общественного в коллективном хозяйстве».

II. Теоретическая и практическая защита личного хозяйства

Как показывает направление новой литературы, посвященной личному приусадебному хозяйству населения СССР, сейчас много внимания уделяется теоретическому и практическому обоснованию жизненности и необходимости существования личного приусадебного хозяйства и в далекой перспективе. Заодно доказывается, что владение личным хозяйством, даже при условии реализации части продукции своего хозяйства, — то-есть при частично товарном направлении хозяйства, — никак не делает его владельца механически одержимым «мелкособственническим инстинктом», не делает его потенциальным «противником социализма».

Большинство советских экономистов и исследователей

отмечают, что и «на современном этапе важную роль играет личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих, которое имеет еще значительный удельный вес в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции». (Т. А. Хадонов. «Использование трудовых ресурсов в личном подсобном хозяйстве», Вестн. Моск. У-та, 1968, сер. «Экономика», № 1, стр. 65).

Характерно, что и при снижении удельного веса личного приусадебного хозяйства в общем объеме сельскохозяйственного производства продолжает расти размер его продукции во всех тех видах, на которых оно специализируется. Об этом свидетельствуют следующие данные о производстве некоторых видов продуктов в 1940 и 1967 г.: картофеля было произведено в личном хозяйстве в 1940 г. 49,4 млн. тн., а в 1967 г. — 59,8 млн. тн., овощей 6,6 млн. тн. и 8,1 млн. тн. соответственно, мяса 3,4 и 4,4 млн. тн., молока 25,9 и 30,6 млн. тн., яиц 11,5 и 21,0 млрд. штук, шерсти — 62,8 и 89,0 тыс. тн.

Даже после отмены обязательных поставок государству владельцы личного хозяйства поставляют не малую часть своей продукции государственным заготовительным организациям.

Сравнительно устойчиво землепользование и удельный вес приусадебных участков в посевных площадях по стране в целом, хотя под административным нажимом в период семилетки и произошло некоторое сокращение общего размера земельных участков в приусадебном хозяйстве. В 1950 г. общая площадь приусадебных участков достигала 7,5 млн. га или 5,1 проц., в шестидесятых годах 6,6-6,8 млн. га или 3,2-3,3 процента всех посевных площадей СССР.

Доля территории используемой личными подсобными хозяйствами как будто невелика. Поэтому очень часто при сравнении посевных площадей личных хозяйств и производимой ими продукции с соответствующими данными по общественному сельскохозяйственному сектору приходят к неверному выводу об очень высокой эффективности индивидуального хозяйства по сравнению с обобществленным.

Ошибка заключается в том, что сравниваются общие размеры посевных площадей в государственном и колхозном секторе с обрабатываемыми в личном подсобном хозяйстве, а не посевные площади, отведенные соответствующей культуре в обоих секторах производства.

Так, например, в 1965 г. под картофелем во всех категориях хозяйства было занято 8,6 млн. га, в том числе в личном приусадебном хозяйстве — 4,5 млн. га или 52,3 проц. всей площади. В 1965 г. было произведено 88,7 млн. т. картофеля, в том числе в огородах советских граждан — 55,9 млн. т. или 63 проц. валового сбора. Урожайность картофеля оказалась выше с индивидуальных участков. Также выше урожайность овощей в огородах населения. Под овощами в том же году было занято 1,4 млн. га, из них половина млн. га — в приусадебных участках, или 35,7 проц. площади под огородными культурами. Валовой сбор составил 17,6 млн. т., у населения урожай овощей — 7,2 млн. т., или 40,8 проц. всего валового сбора. В 1965 урожайность картофеля в личных хозяйствах составила в среднем 124 ц. с га, а в общественном секторе — 80 ц. Аналогичная картина с производством овощей: в личном подсобном хозяйстве урожайность овощей — 144 ц. с га, в государственном и колхозном секторе — 116 ц.

Большая интенсивность личного хозяйства по этим культурам сама по себе понятна. Они требуют более тщательного ухода, требуют большего применения ручного труда. С этой точки зрения и личное животноводство должно как будто иметь преимущество и быть более продуктивным.

Если расчеты показывают, что продуктивность животноводства в индивидуальном секторе более высокая, то, все же, цифры необходимо принимать с известной осторожностью. Настоящего учета животноводческой продукции в хозяйствах советских граждан не осуществляется. Государство же по политическим соображениям заинтересовано показать производство сельскохозяйственной продукции в стране более высоким, чем оно есть на самом деле. И поэтому, весьма вероятно, что статистика дает заведомо завышенные показатели продуктивности скота в личном хозяйстве населения, чтобы показать, что население страны лучше питается, имеет в своем распоряжении больше высокоценных продовольственных продуктов.

III. Численность занятых в личном подсобном хозяйстве

В юбилейном сборнике «Страна Советов за 50 лет» сообщается, что в 1966 г. в сельском хозяйстве страны было занято 25,4 млн. человек. В это число не входят члены семей колхоз-

ников, рабочих и служащих, занятых только в личном подсобном хозяйстве. С учетом затрат труда в личном подсобном хозяйстве средняя численность работающих во всем сельском хозяйстве определяется в 31 млн. человек. На этом основании можно считать, что по официальным источникам число лиц, занятых трудом в личном хозяйстве, определяется в 5,6 млн. К ним принадлежат либо иждивенцы младших возрастов и пожилые люди, либо пенсионеры и инвалиды, то-есть, все те лица, которые по тем или иным причинам, не принимают участия в общественном сельскохозяйственном производстве. Но на приусадебных участках трудятся в свободное время и лица, занятые в общественном производстве. Их численность несомненно более значительна, чем учитываемых как занятых только в личном хозяйстве. Об этом можно судить уже по тому факту, что почти нет среди колхозных дворов ни одного без собственного огорода, без собственного земельного участка, а их насчитывается сейчас 15,3 млн. (1957). Всех личных подсобных хозяйств насчитывается примерно 27-28 млн., значит, столько же и семей, а это, примерно, 45 проц. советских семей (всех — 60 млн.).

Следует отметить, что переписью 1959 г. было установлено, что в личном подсобном хозяйстве было занято 9,9 млн. человек, из них 5 млн. в трудоспособном возрасте, не принимающих участия в общественном хозяйстве. Надо полагать, что и сейчас в личном хозяйстве занято больше людей, чем это дается официальными источниками, так как численность личных подсобных хозяйств никак не снизилась, как можно судить по мало изменившейся посевной площади, по количеству скота и объему растениеводческой продукции.

По данным, приведенным Л. Калининым («О личном подсобном хозяйстве при социализме», *Вопр. Экономики*, 1968, № 11, стр. 53), можно видеть, что без колхозников доля численности только членов семей рабочих и служащих, занятых в личном подсобном хозяйстве не только не снижается, но даже имеет тенденцию возрастать. В 1940 г. численность членов семей рабочих и служащих, занятых в личном подсобном сельском хозяйстве составляла в 1940 г. — 2,5 проц., в 1950 — 3,2 проц., в 1960 — 4,0 проц. и в 1965-66 г. — 4,5 проц. занятых во всем народном хозяйстве. Нельзя упускать из виду, что абсолютный рост занятых в народном хозяйстве из года в год

растет, следовательно, еще больше возрастает весомость каждого процента.

Этот рост численности членов семей рабочих и служащих, нашедших применение своему труду в подсобном хозяйстве можно объяснить тем, что происходила совхозизация колхозов, вчерашние колхозники становились рабочими. Имело место значительное увеличение численности учителей и работников здравоохранения в сельской местности, которым предоставляются земельные наделы. Конечно, играет роль и увеличение численности пенсионеров в семьях рабочих и служащих.

Если продуктивность скота, находящегося в личном пользовании, и эффективность приусадебного растениеводства пока выше, чем в общественном секторе производства, то производительность немеханизированного труда в личном хозяйстве ниже, чем в более или менее механизированном колхозно-совхозном секторе. Но, как пишут некоторые советские авторы, т. к. труд в личном хозяйстве «бросовый», не учитываемый никакими нормами, то выгодность его для семьи трудящихся не подлежит сомнению, ибо продукт труда покрывает многие потребности в продуктах питания.

IV. Вытеснит ли общественный сектор личное приусадебное хозяйство в ближайшей перспективе?

Мы уже отметили, что долевое участие личного подсобного хозяйства в общем производстве сельскохозяйственной продукции уменьшается, но этот процесс идет чрезвычайно медленно. Что же касается объема продукции личного хозяйства, то в натуральном исчислении, как мы уже показали, он продолжает даже возрастать.

Некоторые авторы, как, например, упоминавшийся нами Л. Калинин, правильно отмечают, что нельзя по тому факту, что личное подсобное хозяйство вытесняется в производстве товарной продукции основных отраслей сельского хозяйства, считать, что оно «лишь преходящее явление, которое будто бы исчезнет в ближайшее время, коль скоро общественное хозяйство будет развиваться высокими темпами».

Как он говорит, «некоторые экономисты, хозяйственные руководители и публицисты, выступающие на эти темы (о временности существования личного приусадебного хозяйства),

по существу так и воспринимают всю проблему». «Часть из них, — пишет далее Калинин, — фактически рассматривают ее лишь сквозь призму динамики борьбы различных форм собственности, причем личная форма собственности, как индивидуальная, понималась ими как пережиток частной собственности на средства производства при социализме. В связи с этим они считали, что личное подсобное хозяйство является скорее объектом сатиры и администрирования, чем экономического исследования, а тем более государственного регулирования и помощи. Отголоски этой точки зрения, к сожалению, существуют и теперь».

Значение и польза личного хозяйства в условиях советской аграрной действительности определяется многими факторами. Хадонов называет пять обстоятельств, которые говорят в пользу сохранения личного подсобного хозяйства и можно добавить, благодаря которым личное хозяйство выстояло несмотря на все экономические репрессии и внеэкономическое давление на обладателей приусадебных участков. Вот как Хадонов формулирует доводы в защиту личного хозяйства:

«Во-первых, доходы от колхозов не обеспечивают пока полного удовлетворения всех потребностей колхозников. Во-вторых, в сфере общественного хозяйства еще не создается необходимого количества продуктов питания. В-третьих, в силу сезонности многих сельскохозяйственных работ, части колхозников, рабочих и служащих совхозов в течение 5-6 месяцев не обеспечивает им нормальные условия жизни на весь год. Доходы от личного подсобного хозяйства компенсируют в известной мере ту разницу в годовом доходе, которую колхозники не получают от общественного хозяйства в результате неполного использования годового фонда рабочего времени. В-четвертых, определенная роль в сохранении подсобного хозяйства у колхозников и рабочих совхозов принадлежит возможности использования труда определенной части населения: домохозяйек, лиц старше трудоспособного возраста, школьников».

Выступая сторонником сохранения личного подсобного хозяйства, как категории производства не антагонистического общественному, автор справедливо отмечает, что «подход к решению судьбы личного подсобного хозяйства без учета его экономической обусловленности и роли в воспроизводстве ра-

бочей силы приводил к торможению роста доходов колхозников, рабочих и служащих, ведущих это хозяйство».

Рассматривая проблему личного подсобного хозяйства как дополнительный источник продовольственных ресурсов, нельзя упускать из виду, что дело не только в недостаточном количественном снабжении населения сельскохозяйственными продуктами, производимыми в общественном секторе сельского хозяйства. Большую роль играет и качество продуктов личного приусадебного хозяйства и своевременность появления их на рынке.

Как правило, качество продуктов, которые создаются в личном хозяйстве, значительно выше, чем рядовая продукция общественного хозяйства, не всегда попадающая к тому же на рынок в хорошем состоянии. Поэтому даже при достаточном производстве в общественном хозяйстве продукции необходимой для рынка, останется еще потребность в продуктах лучшего качества и в продуктах питания, которые не производятся в широком масштабе в данном районе.

Наладить же бесперебойную торговлю всеми необходимыми продуктами через сеть государственных и кооперативных магазинов в ближайшее время, по крайней мере в 5-10 лет, не представляется возможным. Это сознают в плановых органах и многие экономисты, ратующие за освобождение личного подсобного хозяйства от обвинений в «анакронизме» и вредности для социалистической системы.

Особо стоит вопрос о значении личного приусадебного хозяйства для населения мелких и средних городов с неразвитой промышленностью, а также для работников тех профессий, которые по роду своих занятий живут как бы на хуторском положении: — работники железной дороги, бакенщики водного транспорта, лесники и т. п. Живя отдаленно от населенных пунктов, семьи таких работников вынуждаются условиями своей жизни производить в своем хозяйстве многие, нужные в повседневном быту продукты питания — молоко, овощи, картофель, яйца, которые могут быть и не дефицитными в данном районе.

Сейчас те экономисты, которые остаются сторонниками сохранения личного подсобного хозяйства на ближайшее время, выдвигают в защиту этого не лишние убедительности аргументы о происходящем в последнее время коренном изменении направления производства в личном хозяйстве.

Как пишет Калинин: «Ныне профилирующими культурами на приусадебных участках становятся сады, ягодники, бахчевые и наиболее высококачественные для данной местности огородные культуры. В качестве популярных культур все больший удельный вес получают цветы, декоративные растения и т. п.... Все это, — утверждает автор, — отражает не только изменение рыночного спроса на продукцию личного подсобного хозяйства, но и существенные изменения культурных, бытовых и эстетических запросов современной колхозной молодежи».

На основании многих фактов, Л. Калинин приходит к особому выводу, который по-новому ставит вопрос о роли личного подсобного хозяйства в условиях социалистического производства. Он утверждает, что «существование и в известной мере развитие личного подсобного хозяйства рабочих, служащих и колхозников при социализме отнюдь не является следствием пережитков прошлого... Оно связано прежде всего с ростом удовлетворения материальных и культурных потребностей трудящихся, а также со специализацией сельскохозяйственных предприятий и районов на производстве небольшого числа товарных культур и продуктов животноводства».

Можно согласиться с автором, что происходит изменение товарного направления личного подсобного хозяйства, но оно не может стать главным направлением в переориентации этих хозяйств. Товарное направление личных приусадебных хозяйств не так уж распространено. Не менее 80 проц. продукции подсобных хозяйств колхозников идет на личное потребление. Поэтому приходится сомневаться, что в ближайшее время произойдет изменение характера личного хозяйства и оно из функции продовольственного подспорья станет функцией товарно-специализированного производства. Вряд ли можно ожидать и массового превращения личных приусадебных участков в декоративные сады и уголки отдыха.

Далее, никак не является аргументом в защиту нового направления развития личного хозяйства то, что в районе их существования происходит узкая специализация сельскохозяйственных предприятий на производстве небольшого числа культур и видов животноводства. Выходит, что все необходимые основные сельскохозяйственные продукты будут производиться в каждом районе на основе разделения труда между общественным сельскохозяйственным производством и личным

подсобным хозяйством. Партия, конечно, не может пойти на подобный шаг, который несомненно привел бы к расцвету товарного личного хозяйства. А это никак не дорога к коммунизму. Партийные теоретики-догматики подобную идею встретят в штыки и будут доказывать, что дело не в кооперации между общественным и личным хозяйством, а в том, чтобы правильно наладить торговлю на местах. Тем не менее, идея разделения труда между общественным и личным сельскохозяйственным производством находит многих сторонников.

Л. Калинин обвиняет иностранных авторов в том, что они пытаются объяснить необходимость существования личного подсобного хозяйства хроническим дефицитом продовольствия в СССР при «социализме». А разве это не так? О чем свидетельствуют восемь томов выступлений Хрущева на протяжении одиннадцати лет? О чем говорят пленумы ЦК КПСС под руководством Брежнева, как не о том, что вопрос изобилия продуктов при советском социализме чрезвычайно далек от решения. Разве Советскому Союзу не приходилось в течение ряда лет закупать пшеницу и муку не только в Канаде, Австралии, США, но и во Франции и в Западной Германии?

Приводимые Л. Калининым другие доказательства необходимости или, по крайней мере, целесообразности сохранения личного подсобного хозяйства в ближайшем будущем звучат достаточно убедительно, и вряд ли будут оспариваться партийными руководителями. Личные подсобные хозяйства утилизируют домашние бросовые отходы, которые не могут найти себе применения в большем хозяйстве. Несомненно автор прав и тогда, когда напоминает, что «создавая потребительный продукт, который хотя и не принимает товарной формы, но сокращает спрос на соответствующие продукты, имеющие товарную форму, личное подсобное хозяйство, безусловно увеличивает национальное богатство страны в натуре, способствует повышению благосостояния трудящихся, всестороннему удовлетворению материальных и культурных потребностей».

Прав он и тогда, когда добавляет и еще один аргумент, а именно, что личное подсобное хозяйство «освобождает общество от необходимости воспроизводить эту часть продукции в государственных и колхозных предприятиях». Последнее утверждение справедливо лишь при условии, если личное приусадебное хозяйство ведется лицами нетрудового возраста,

или трудоспособными, но без отрыва от общественного производства. Только в этом случае личное хозяйство вносит дополнительный вклад в валовой общественный продукт.

Несомненный интерес представляет и теоретический довод Калинина против обвинений личного подсобного хозяйства в порождении мелкособственнических инстинктов. Автор говорит, что «частнособственнические инстинкты при пользовании личным подсобным хозяйством «развиваются» у тех, у кого они были по тем или иным причинам достаточно развиты и до этого». Само по себе личное подсобное натуральное хозяйство «столь же много или мало развивает мелкособственнические инстинкты, как и личная собственность трудящихся вообще».

Автор находит положительные качества в личном подсобном хозяйстве, которые не противоречат социалистическому производству. Оно, например, «во многих случаях служит весьма полезной школой по использованию новейших агротехнических мероприятий, видов удобрений, гербицидов и инсектицидов, а также культур и сортов растений и пород животных». При этом он ссылается на то, что знаменитый русский и советский селекционер И. В. Мичурин вывел новые виды растений на собственном приусадебном участке. На таких же участках С. П. Симиренко и многие другие безвестные народные селекционеры и любители-опытники выводили новые ценные сорта растений.

Правильно отмечает Л. Калинин и еще одно из достоинств личного подсобного хозяйства, которое ранее было принято замалчивать. На личных приусадебных участках разводятся кроме однолетних растений, также и многолетние культуры. У земляники, например, период плодоношения 4 года, малина, смородина и другие ягодные кустарники плодоносят 12-15 лет, а плодовые насаждения 20-30 и 40-80 лет. По его мнению, поощрение культивирования таких сортов насаждений приведет «к созданию постоянных рабочих кадров в колхозах и совхозах». Он же считает, что одна из причин усиленного людского отлива из села в город в послевоенное время стоит в прямой связи с необдуманном налоговым обложением личного подсобного хозяйства. Об этом писалось не мало даже в художественной литературе, упоминалось, например, о вырубке личных садов из-за обременения их налогами. Хрушев вспоминал по этому случаю и свою сестру.

Рассматривая личное подсобное хозяйство как неотъемлемый и важный фактор советского аграрного производства, защитники его рекомендуют государству оказывать ему помощь. Необходимо улучшить снабжение личного хозяйства современным ручным инструментом и создать специальные механизмы и машины, облегчающие труд в личном хозяйстве, как, например, минитракторы для выполнения транспортных и специальных работ, владельцев личного хозяйства предлагается снабжать высокосортными семенами огородных культур, а также сортовыми саженцами плодовых деревьев. Нужна широкая пропаганда передовых методов работы.

Как видим, аргументация серьезная в защите личного приусадебного хозяйства. Но какой же общий вывод можно сделать из того, что говорится в его защиту за последнее время?

Прежде всего тот, что в своей современной стадии личное подсобное хозяйство обладает многими неоспоримыми преимуществами, с которыми партия не может не считаться, если не желает в угоду закорюзлому догматизму жертвовать благосостоянием населения.

Нужно приветствовать тех авторов, которые нашли в себе мужество выступить в защиту так долго теоретически третируемого и практически удушавшегося личного подсобного хозяйства, которое до сих пор помимо обслуживания экономических интересов широких слоев населения, служит и школой трудолюбия и началом научных изысканий.

А. Иванов

ИЗРАИЛЬ И АРАБЫ

Встреча представителей Великих Четырех держав многим казалась и оправданной и целесообразной. Такая встреча состоялась; как известно, посвящена она была не Вьетнаму и не китайской угрозе, даже не извечному, бесплодному вопросу о разоружении или сокращении вооружений, а Ближнему Востоку, где все представители Великих Четырех видят опасность возникновения новой войны, которая даже может перерасти в общую атомную войну. Но существует ли на Ближнем Востоке действительно такая угроза? И были ли у Великих Четырех основания надеяться, что их встреча приведет к миру или успокоению?

Несмотря на оптимистические речи некоторых представителей этих государств, на последний вопрос, я думаю, следует ответить отрицательно. И в Израиле, и в арабских странах к этой встрече отнеслись или враждебно или скептически недоверчиво.

При всей их эмоциональности, арабские вожди отдавали себе отчет в том, что ощутимых результатов от этой конференции ожидать не приходится. Но некоторым арабским группировкам эта конференция была все-таки выгодна. Приурочив к ней ряд военных столкновений на границах (и со стороны Египта, и со стороны Иордании, они пытались создать климат исключительной напряженности и безвыходности, климат, который может быть мог бы заставить Израиль уступить общему военно-политическому давлению и арабских стран и их покровителей. Я говорю, «может быть мог бы» и это, вероятно, сильно преувеличено. Не надеясь на ощутимые результаты, т. е. на эвакуацию завоеванных Израилем территорий, они этой конференцией хотели продемонстрировать тщетность попыток решения ближневосточной проблемы политическим путем. Такая постановка вопроса, такая демонстрация особенно выгодна террористическим организациям, влияние которых сильно возрастает в арабских странах, особенно в Египте, Иордании и Сирии.

Арабские государственные деятели и арабская печать выражали скептицизм в отношении конференции как таковой, ибо они прекрасно понимали, что несмотря на организованное давление, Израиль вовсе не намерен ни сдаваться, ни уступать. Почему? В чем секрет этой неуступчивости? Мне думается, что, помимо многих других, эта неуступчивость объясняется двумя основными причинами. Во-первых, чтобы уступать, надо договариваться с теми, кому предполагают уступить. Другими словами, должны быть договаривающиеся стороны. Однако, этих сторон на Ближнем Востоке нет. Несмотря на проигранную ими войну, арабы, даже их умеренные вожди, продолжают упорно утверждать, что они формально-юридического существования Израиля не признают и потому договариваться и заключать мир с ним не будут. Во-вторых, не следует ожидать большой уступчивости со стороны Израиля, ибо помимо того, что договариваться не с кем, режимы и правители в арабских странах не стабильны и подпись их имеет весьма ограниченную ценность. Действительно, при существующем в арабских странах политико-психологическом климате, ни Насер, ни Хуссейн не могли бы удержаться у власти, если бы заключили мир с Израилем на компромиссных основах. Израиль не собирается и не может многого уступать и потому, что он сейчас и объективно силен и (что не менее важно) «субъективно» сознает свою силу и решимость. Больше того, Израиль уверен, что время работает на него.

Уточним: Израиль сейчас располагает на всех фронтах почти идеальными естественными границами: на севере он владеет Голланскими высотами и этим блокирует всякие военные поползновения со стороны Сирии, Ливана и Ирака; наоборот, жизненные центры этих последних стран находятся в досягаемости израильской авиации и артиллерии. На востоке Израиль теперь отделен рекой Иордан, что дает ему возможность легче отвечать ударом на удары и иорданской армии и окопавшихся там террористов; наконец, на юге Израиль отделен от Египта не только Суэцким каналом, но и Синайской пустыней, на территории которой, кстати, были недавно построены сильные укрепления, пробить которые не могут даже сильнейшие советские снаряды.

Израиль сейчас силен в военном, экономическом и «моральном» отношениях. Советские военные поставки арабским

странам, французское эмбарго в отношении Израиля, помощь и солидарность международного еврейства (да, последняя оказалась реальной силой, хотя и не в том виде, как представлена в Протоколах Сионских Мудрецов), развязала и до того не дремавшую народную энергию. Автор настоящих строк, внимательно следящий за израильскими событиями по израильской печати (преимущественно, по хорошо информированной ежедневной газете «Иерусалем Пост») мог бы привести множество фактов, свидетельствующих о небывалом росте, развитии и усилении этой страны. Ограничусь только одним фактом и одной цифрой. Общий экономический рост Израиля за последние два года достигает приблизительно 24 процентов в год; однако, в решающих секторах промышленности (электроника, машиностроение и т. д.) ежегодный прирост достигает семидесяти процентов. «Решающие секторы» несомненно имеют первостепенное значение для военных нужд страны. В свете этого роста, едва ли можно сомневаться в том, что недалек тот день, когда (как многие компетентные специалисты считают) Израиль будет в своих военных нуждах независим от заграницы.¹

Надо полагать, что материально-экономическая база страны находится в соответствии с боевыми качествами ее армии и моральным состоянием народа. «В случае новой войны, — заявила недавно премьер Израиля Голда Меир, — мы не можем не победить, ибо наше поражение привело бы к нашему уничтожению». Это не фраза. В этом в Израиле очень многие уверены. Народ, среди которого имеется немало спасшихся от гитлеровского «окончательного решения» еврейского вопроса, вполне допускает, что то, что могло быть сделано руками гитлеровцев, может быть повторено людьми, которые не скрывают, что, в случае победы, их решение израильского вопроса было бы во многом аналогичным. Из насеровского командования, из «палестинской освободительной армии» (ею тогда командовал не-

¹ Время от времени в печати и специальных журналах появляются статьи, в которых обсуждаются возможности израильского производства атомного оружия. Хотя специалисты сходятся на том, что Израиль, при теперешнем состоянии его техники и научных кадров, **мог бы** производить атомные бомбы, все эти рассуждения пока не могут быть подкреплены доказуемыми фактами. Однако, самый факт, что его враги осведомлены о **способностях** Израиля такое оружие производить, является для этой страны крупным политическим козырем.

безызвестный Шукейри) и из Иордании исходили в дни последней войны приказы не жалеть ни женщин, ни детей. Когда Шукейри спросили, как он себе представляет судьбу оставшихся в живых евреев, в случае арабской победы, он ответил: «Это не проблема, ибо таковых не останется». Эти речи и приказы забыты многими иностранными министрами и журналистами. Но они не забыты ни в Израиле теми, кто в те трагические часы защищали его границы, ни теми, кто вне его болели за его судьбу.

Наоборот, арабам поражение почти ничего не стоит. После каждого нового поражения, они становятся более неуступчивы и делают вид, что поражения не было. Насер, проявивший такую военно-политическую близорукость (ни в какой другой стране он не мог бы после этого оставаться у власти), продолжает серьезно размышлять о том, может ли он признать существование Израиля даже в его старых границах. Хуссейн, пытавшийся в последний момент перед войной окружить Израиль путем союза с Насером, и напавший, несмотря на все предупреждения, на Израиль в «подходящий» момент, но быстро разбитый, не мыслит себе «прекращения войны» (но не мира) иначе, как путем полного восстановления его страны в довоенных границах. Правители Ирака объясняют их виселицы и зверства тем, что их жертвы не представляют... экономической и другой ценности для их страны.²

При таких условиях (которые могут оказаться временными) только сильный и неуступчивый Израиль может быть одновременно гарантией и его собственной безопасности и гарантией мира на Ближнем Востоке. В этом смысле то, что верно в отношении Запада и его потенциальных врагов, верно также в отношении Израиля и арабов. Слабая Америка, слабый Запад был бы фактором войны, ибо он как бы «приглашал» агрессивный коммунизм безнаказанно и без риска совершить агрессию. Наоборот, сильный, хорошо защищенный Запад, удерживая коммунистов от безрассудства, является фактором мира. В уменьшенном размере, на Ближнем Востоке представлены и действуют аналогичные силы.

² Такое объяснение было дано иракским послом в Париже в письме в газету «Монд». Редакция этой газеты, которая в последнее время не грешит произраильскими симпатиями, со своей стороны, все-таки добавила, что объяснения дипломата (обладающего докторским званием) не нуждается, в виду их странности, в комментариях.

Разумеется, пользуясь такими немного механическими и безапелляционными аналогиями, я проблему несколько упрощаю. При всей их схожести, проблемы эти, конечно, не тождественны. Ближний Восток не является микрокосмосом мира и арабов не следует отождествлять с советским коммунизмом, даже если последний все больше проникает в их страны. Арабско-израильские или арабско-еврейские отношения не следует рассматривать только с точки зрения заостренной актуальности. Израилю придется жить в арабском окружении и поэтому, если сейчас еще преждевременно говорить о заключении удовлетворительного для обеих сторон модуса вивенди, то можно, по крайней мере, эти отношения обсуждать без фальшивой дипломатической шелухи. Надо сказать, что израильтянин или еврей (идентифицировавший себя с Израилем, даже живущий в так называемой диаспоре) не желающий прослыть завоевателем и угнетателем, не может остаться вполне безразличен, когда арабы говорят, что мы, арабы, (кстати, меньше других угнетавшие евреев) не обязаны расплачиваться за гитлеровские зверства, за еврейские погромы черносотенцами, за политику польских антисемитов-коммунистов Мочара и Гомулки. Да, в этой арабской аргументации есть для еврея сильный элемент даже неловкости, когда он парирует своим несомненным историческим правом на землю его праотцов, когда он напоминает, что в колонизационный период евреи эти земли не захватывали, а покупали у арабских шейхов, которые эти пустынные земли все равно не обрабатывали; арабский аргумент не теряет своей силы даже, когда израильтяне доказывают (это так легко доказать), что в современном Израиле арабы — израильские граждане — нисколько не угнетаются, а, наоборот, пользуются почти (они не подлежат воинской повинности) всеми правами и общим благосостоянием страны. Израильский араб-рабочий зарабатывает в пять или восемь раз больше египетского рабочего. Примеры, свидетельствующие о благосостоянии израильских арабов по сравнению с арабами в соседних странах, можно было бы умножить. Тот, кто там был и видел, это знает. Кстати, этого, кажется, даже не отрицает и арабская пропаганда, которая большой правдивостью не отличается. Тем не менее, арабский аргумент остается неотвеченным, ибо феллах и бедуин могут сказать, что они предпочитают жить в нищете у себя, нежели в довольстве у чужих.

Мне кажется, что «ответ» следует искать в другой плоскости.

Дело, я думаю, не в «цивилизаторской» роли (в западном смысле этого слова) евреев на Ближнем Востоке, роли, которую никто не оспаривает. Дело в объяснении и понимании некоторых «неумолимых» исторических процессов. Евреи не ангелы и не только и не всегда являются жертвами. В процессе своей истории — очень сложной, трудной, подчас мучительной — они, в интересах самосохранения, искали пути спасения и самоутверждения. Не будем уходить в дебри истории, хотя евреи и очень древний и «исторический» народ. Напомним кратко основные вехи еврейского бытия в новой истории Европы, на континенте, на котором оказалась наиболее многочисленная и деятельная часть еврейского народа в рассеянии.

«Новая» история Европы начинается с Французской революции и совпадает с эмансипацией евреев во Франции, за которой впоследствии, в большей или меньшей мере, последовали почти все западно-европейские страны. Это совпадение было, разумеется, не случайным, ибо оно вытекало из тех либеральных, социалистических и эгалитарных доктрин и идеологий, которыми были пропитаны предреволюционная, революционная и пореволюционная Европа. В системах и идеях энциклопедистов, Монтескье и Руссо, в режимах, инспирированных либералом Мирабо, жирондистом Кондорсэ или якобинцами Робеспьером и Сен-Жюстом, не могло быть места преследованию и дискриминации евреев. Аббат Грегуар, инициатор и автор акта об эмансипации евреев, вышел из той же революционно-эгалитарной среды. Неудивительно поэтому, что первые ростки эмансипированной еврейской интеллигенции — все эти Мозес Хессы, Лассали и Марксы — так жадно ухватились за радикально-эгалитарные идеи, которые, как многим из них казалось, не были в дальнейшем развитии событий претворены в жизнь. В либерализме и впоследствии в социализме, многие из них видели разрешение не только общего правового и социального вопроса, но и частного, еврейского. Чрезмерное участие евреев в революционном движении в Восточной Европе (в России и Польше), в большой степени, объясняется именно запоздалостью разрешения тех правовых и социальных вопросов, в которых еврейская и нееврейская интеллигенция видела панацею всех бед.

Известно, что политический сионизм, поставивший своей целью создание или, если угодно, возрождение еврейского го-

сударства в Палестине, был, в большой степени, реакцией группы еврейской интеллигенции на процесс Дрейфуса. Дело было не только в осуждении невинного офицера-еврея и даже не в начавшейся антисемитской кампании значительной части общества и печати во Франции. Вопрос шел о чем-то более важном.

У Теодора Герцля — создателя и идеолога сионизма — внимательно следившего за делом Дрейфуса, пошатнулась вера в некоторые непреложные каноны. Он и его друзья почувствовали и осознали, что эмансипация, ассимиляция, либерализм и другие измы (социализм тогда еще маячил недостижимой мечтой) еврейского вопроса не разрешают даже в либерально-демократических странах. Тем менее эти каноны решают интересовавший их вопрос в странах Восточной Европы, где скопилось большинство еврейского народа.

Сионизм был и остался, по существу, попыткой взять судьбу и защиту еврейского народа в свои собственные руки, отказом — в отличие от ассимиляторов, социалистов и коммунистов — от веры в разрешение частного еврейского вопроса в рамках, весьма гипотетического общего решения. В этом смысле, сионизм в принципе ничем не отличается от национальных движений других народов, особенно тех, которые лишены национальной независимости. Надо сказать, что события, последовавшие за созданием сионистского движения в начале текущего века, в большой степени, подтвердили сионистский прогноз и оправдали их практическую деятельность и в Палестине, и в диаспоре. «В большой степени», это, конечно, крайне слабо сказано, если иметь в виду «разрешение» еврейского вопроса в гитлеровской Европе и в коммунистических странах. Следует, однако, напомнить, что и в самом Израиле далеко не все проблемы решены. Там немало и внутренних конфликтов и расовых проблем и, разумеется, постоянная борьба и на границах и с террористами внутри. Похоже, однако, на то, что израильтяне начинают с этим положением свыкаться, как американцы с негритянскими проблемами, с ростом преступности или как европейцы (и те же американцы) с бунтующей молодежью.

Вся эта предистория понадобилась мне для того, чтобы доказать, что преступления, инкриминируемые сионистам, были совершены и продолжают совершаться и другими народами. История человечества является не только историей борьбы

классов (как думали авторы коммунистического манифеста), но также и, даже в бóльшей степени, историей войн и завоеваний, угнетений слабого сильным, историей попыток народов найти себе место под солнцем, часто, очень часто, за счет другого народа. В этом «социальном дарвинизме» суть истории и человечества в целом, и отдельных народов в частности.

Возьмем, к примеру, прошлое народов тех же Великих Четырех держав, которые пытаются сейчас урезонить Израиль, советуя, взамен весьма мнимых гарантий и обещаний, эвакуировать завоеванные территории. Разве эти страны определились в их теперешних границах с самого начала их зарождения, а не в результате определенного исторического процесса? Разве Московская Русь, вокруг которой образовывалась современная Россия, не проделала обычный путь захватов и завоеваний своих соседей, славянских и неславянских? Ведь этот процесс собирания и оформления России продолжался еще в девятнадцатом и двадцатом веках. Разве Америка не оформилась в результате завоеваний и поглощений (не всегда мирных) других народов? А Франция и Англия? В Париже и сейчас распространяются афиши бретонских националистов, призывающих свергнуть иго французских «угнетателей». А ирландцы и их взаимоотношения с Англией?

Напоминанием о бывших и сущих грехах других стран, я вовсе не хочу оправдать израильскую оккупацию арабских территорий. Я только хочу подчеркнуть, что арабам следовало бы, наконец, понять, что нельзя безнаказанно начинать войны, их проигрывать, а потом требовать возвращения **всех** потерянных территорий; при том, отказываться от переговоров и заключения настоящего мира, даже, если **все** их требования будут удовлетворены. Это выходит совсем по американской посылке: «Они хотят и съест пирожное и его сохранить».

Такого поведения побежденной страны, вероятно, не знала история и потому эта арабская «оригинальность» свидетельствует о политической незрелости. Если Израиль страдает комплексом недоверия, боязнью доверить свою судьбу другим странам, уверенностью, что только он сам может и должен взять эту судьбу в свои руки, то арабы явнс страдают отсутствием чувства реальности и эмоциональностью. Вот, например, передо мной синопсис статьи (от 11-го апреля) умнейшего и многоцитируемого на Западе египетского журналиста Хейкала, ре-

доктора «Ал Арам» и конфидента Насера. «Было бы хорошо, — пишет он, — победить израильтян и убить каких-нибудь двадцать тысяч израильских солдат. Такая победа вернула бы уверенность арабам и уничтожила бы легенду о непобедимости Израиля». Но несколькими строками ниже Хейкал благоразумно добавляет, что «арабы не могут пока победить в настоящей войне и, что внезапное нападение сейчас невозможно ни с египетской, ни с израильской стороны». Если невозможно, зачем же растравлять раны и усиливать бдительность Израиля. Действительно, Хейкал в прошлом правильно «предсказывал» поведение Египта, особенно до и во время шестидневной войны; к нему поэтому очень прислушиваются и в Израиле и на Западе. Статья его немедленно вызвала реплику Даяна, предупредившего, что, принимая во внимание египетские просчеты в этом отношении в прошлом, а также их эмоциональность, новое египетское «настоящее» наступление не исключено.

Я думаю, что арабам нужны другие вожди. Если бы они рассматривали их собственные проблемы не с точки зрения одной «актуальности», а более углубленно, они бы не преминули прийти к заключению, что из всех «империализмов» Израиль, по существу, им наименее опасный. Трехмиллионный Израиль не заинтересован в сохранении тех территорий, которые населены почти исключительно арабами; он несомненно готов был их вернуть, если бы мог взамен получить настоящий мир и гарантию, что отданные территории не станут базами террористов. Если Советский Союз не даст русским евреям право на эмиграцию (что представляется мало вероятным), Израиль останется маленьким островком в арабском многомиллионном море. У арабов нет недостатка ни в землях, ни в природных богатствах. Недостаток у них в реально-мыслящих вождях, которые умели бы распознавать и их действительные нужды и находить способы их удовлетворения.

Отсутствие способности распознавать их действительные нужды привело к тому, что арабские страны, недавно освободившиеся от одного империализма, рискуют попасть в сети другого. Действительно, трудно сказать в какой мере Насер еще является хозяином своей страны и особенно армии, которая, по многим сведениям, находится под контролем советских специалистов, а в смысле вооружения, в полной зависимости от советских запасных частей. Традиционное недоверие к Англии, как к

бывшей колониальной державе, вера, что США не примут их сторону, бросили эти страны в объятия Советов и Франции. Последняя могла бы — теоретически — играть роль действительного и объективного посредника. К сожалению, эта роль не была дана Франции. Произраильская ориентация, вопреки традиции и вопреки симпатиям большинства французского народа, сменилась ориентацией антиизраильской.

Многие объясняют эту радикальную перемену ориентации Франции чисто «психологическим» своеволием ее бывшего вождя. В какой-то мере это, вероятно, так, ибо многое в поведении де Голля (особенно в отношении Англии и Америки) можно было объяснить «психологией», личными обидами, самолюбием и т. д. Интересно пишет об Израиле главный де-голлевский трубадур, остро и глубоко во все проникающий, очень старый, но все же ясный умом Франсуа Мориак. Если де Голль характеризовал евреев как людей «самоуверенных со склонностью к господству», Мориак пишет о «еврейской мировой солидарности», благодаря которой евреи становятся мощной, почти непобедимой силой. Это, конечно, не антисемитизм в традиционном смысле этого слова. Эти люди признавали и мирились с тем, что евреи были «народом книги», народом интеллекта. Они, однако, свыклись с мыслью, что этому народу чужда военная доблесть. Израиль в этом смысле оказался шоком, к которому м. б. трудно привыкнуть. Не будем скрывать: шоком Израиль оказался не только для христиан, но и для многих евреев...

Нетрудно понять реакцию на израильский шок таких людей как де Голль и Мориак, которые с юных лет впитали в себя многое из эмоционально-интеллектуального багажа Шарля Морраса и Барреса. Труднее объяснить метаморфозу, происшедшую со значительной частью французской «левой», традиционно проеврейской и, вначале, также произраильской. Я имею в виду весьма многочисленных левых писателей, журналистов, бывших министров, людей, когда-то игравших большую роль в «Сопровождении», словом, людей, имена которых можно обычно найти под всеми документами протеста против совершающихся в мире несправедливостей. Речь идет не только об Арагоне или даже Сартре, чье негодование часто (хоть и не всегда) находит ответное эхо в Кремле. Нет, такие влиятельные органы печати как «Монд» и «Нувель Обсерватёр», гордящиеся своей независи-

мостью, объективностью и привязанностью ко всем моральным ценностям, стали в последнее время убежищем для лиц, переходящих в своей антиизраильской кампании все границы. «Монд», конечно, не антиизраильская и уж совсем не антисемитская газета. Передовые этой газеты и ее информационная часть сделали бы честь любой газете. В ее «Свободной Трибуне» появляются, однако, статьи, которые вполне могли бы подойти и к «Гренгуару» и к «Аксёон Франсэз». Так, некто Монтэй, называющий себя бывшим сопротивленцем, заявляя, что ему надоел «шантаж» с шестью миллионами загубленных евреев, доходит до того, что в подкрепление своих выводов цитирует на страницах «Монд» штрейхеровскую «Зольдатен Цайтунг», газету, от которой отрешиваются даже немецкие националисты из НПД. Клод Бурдэ, на этот раз не «некто», а один из действительных организаторов и вождей Сопротивления, печатает статью, полную односторонних антиизраильских выпадов. Дело мало меняется от того, что эти статьи печатаются в «Свободной Трибуне» и в газете, которую редактирует один из бывших командиров Сопротивления Бэв Мери, и в которой долгие годы писал ныне покойный Реми Рур, человек, носивший одно из самых героических имен в стране. Дело также не меняется оттого, что рядом с позорной статьей Монтэя, напечатана статья генерала Кёнига, председателя общества Франция-Израиль, старого друга Израиля, или оттого, что в числе разоблачителей Израиля есть и евреи. Что ж! (перефразируя известного русского сиониста) «евреи имеют право иметь **своих** прохвостов». Кстати, непонятно почему «Монд» вообще посвящает, с каким-то розановским любопытством, столько внимания Израилю и евреям.

Франция всегда олицетворяла, в какой-то мере, какую-то часть совести мира и на страницах французской печати всегда это как-то отражалось. Как и русская революционная интеллигенция, так и французские радикалы любили, тянулись к униженным и оскорбленным. Когда еврей был таковым, он находил в них опору и сострадание. Когда же он успешно строит свою нормальную жизнь, а главное, когда он показал, что умеет успешно обороняться он как-то автоматически перешел «по ту сторону баррикады» и стал этой интеллигенции несимпатичен, а м. б. даже враждебен. В Израиле, однако, предпочитают безопасность своей страны симпатиям некоторых радикалов, кото-

рые, пристрастившись, по выражению Раймона Арона, к «интеллектуальному опиуму» давно уже изменили традициям французского гуманизма. Антипатия к Израилю и симпатии к ленинизму, сталинизму и маоизму имеют, по существу, очень много точек соприкосновения и черпаются из одного источника.

Однако, важнее гóлоса Франции и потерявшей свое лицо некоторой части французской интеллигенции, был бы сейчас, если бы он мог быть услышан, голос российской общественности. Не надо забывать, что сионизм, создавший Израиль, был, по существу, и идейно и «физически» вынесен на плечах русского и польского еврейства. В сионизм вошли все веяния русской революционной интеллигенции от народничества и кропоткинського анархизма до толстовства и русского марксизма. Это из русского, а впоследствии и польского еврейства вышли кибуцы, Хагана (самооборона) и теперешняя израильская армия. По жестокой иронии (а может быть «закономерности») судьбы случилось так, что как раз те две страны, у которых сионизм и Израиль так много заимствовал, сейчас являются главной и «идейной» и материальной базой его врагов.

Д. Анин

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

«КРЫЛЬЯ»

В 93-й книге «Нового Журнала» автор «Репортажа из заповедника имени Берии», политический заключенный Валентин Мороз, пишет: — «Во время ареста у меня забрали стихотворение Драча «Сказка о крыльях»... Я спросил: «В чем дело?...» Мне объяснили: ни к стихотворению, ни к его автору претензий нет, но стихотворение напечатано на машинке по чьей-то собственной инициативе. И этот неизвестный тоже распространяет его — тоже по собственной инициативе. В этом опасный грех»...

Стихотворение, о котором речь, называется «Крылья, новогодняя баллада», и было помещено в сборнике стихов на украинском языке «Протуберанці серця», вышедшем в начале 60-х годов.

Автор, Иван Федорович Драч — один из интереснейших молодых (он родился в 1936 году) поэтов Украины. Иные — слишком может быть торопливо, как все любители сопоставлений, — сравнивают его с Андреем Вознесенским. Общее, впрочем, в поэтическом почерке обоих поэтов, кажется, есть: оба рушат облик и обязательную последовательность «реалий» поэтического сообщения; оба увлечены экспрессией отдельного образа и поисками такой формы творческого выражения, которая продлевала бы этот избранный образ в недосказанное, во «второе прочтенье» («Что есть чтение, как не разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами **слов**» — писала когда-то Марина Цветаева).

Роднит обоих и восторг перед тайной и величием поэтического дара, который навечно подчиняет себе своих избранников.

Об этом у Драча — в прелестной «Баладе про соняшник», то-есть подсолнечник, вдруг увидевший солнце — символ творческого озарения. Вот авторское завершение этого образа (перевод мой):

Поэзия, солнце мое золотое!
Каждый миг какой-нибудь отрок
Открывает твоё явленье,
Чтобы стать навеки подсолнечником.

Но вернемся к балладе «Крылья», о которой упоминает в своем письме к депутатам Верховного Совета УССР Валентин Мороз и которую, по его словам, отобрали у него во время ареста. Я услышал эту балладу впервые в чтении самого автора — на творческом его вечере, устроенном Нью-Йоркским университетом несколько лет тому назад. Впечатление произвела она большое. Поэтому, когда в 1966 году сборник «Протуберанцы сердца» был выпущен издательством «Советский писатель» в переводе на русский, я тотчас же взглянул в оглавление.

«Крыльев» там не было.

Почему бы?...

Тема этой баллады, в сущности, та же тема поэтического озарения, что и в «Подсолнечнике». Речь идет о таланте — щедрости Неба. Щедрости, которая при распределении новогодних подарков приходится на долю некоего дядьки Кирилла в виде крыльев, вскинувших вдруг у него за плечами. Приходится ни к чему, вызывая у него недоумение, даже испуг — он топором обрубаёт непрошенный этот дар.

«Второе прочтенье» вещи довольно богато. Вряд ли, однако, уместна какая-либо социологическая проекция типа «анти»: Иван Драч поэт безупречной советской ориентации — в сентябрьском номере журнала «Москва» за 1968 год подборка «Молодая Украина» открывается его стихотворением «Дышу Лениным». Последняя строфа этого творческого приобщения к всеочистительному источнику вдохновения читается так:

Вера — в труде. Остальное — тля.
 Дышу Ильичем —
 до последнего вздоха.
 На цыпочках замерла вся земля,
 Дивясь небывалому ритму эпохи.

Но, тем не менее, новогодняя баллада «Крылья» — вполне знаменательная шутка о том, что вот есть-де такие обстоятельства жизни, когда талант человеку — обуза, беспокойство, даже опасность! — шутка, в силу чисто литературных ассоциаций перекликающаяся с известным пушкинским: «Чёрт догадал меня родиться в России с умом и талантом».

Не найдя перевода в русском варианте сборника «Протуберанцы сердца», я перевел «Крылья» на русский сам, стремясь по возможности передать удивительную творческую завершенность вещи. Этим переводом и закончу эту заметку:

КРЫЛЬЯ (новогодняя баллада)

Через лес вперекос,
 через дальний плёс
 Новый год добрым людям гостинцы нес:
 Кому — смушек на шапку,
 кому — ветра охапку,
 Кому модны кастеты,
 кому — фотонны ракеты,
 Кому — соли в тюрьку,
 кому — за пятак люльку,
 Кому — пуху на брылья,
 а дядьке Кириллу — крылья,

Был день как день, да с глузду и съехал:
 Жилет за плечьями как ножом проняло,
 Под каждой лопаткой — прореха,
 Из каждой прорехи — крыло.

Дыбятся крылья круче и круче,
Синьки небесной спешат глотнуть,
А у дядьки на сердце — тучи,
А у дядьки на сердце — муть.

Кому — жизнь-нирвана,
 кому — луч из тумана,
Кому — девичьи плечи,
 кому — смерть среди сечи,

Головой в сухие будылья,
А дядьке Кириллу, прости Господи, — крылья!
Баба голосила: «Все люди как люди.
Каждому от судьбы по талану:
Кому — порошки, коли что застудит,
Кому — валенки,

 кому — во щи сметану,
А моему, прости Господи, аспиду —
 крылья за спину?!»

Так и жил Кирилл да тужил,
А потом, чтоб вернуть свободу,
О брусек топор наострил
И оттяпал крылья, поклав на колоду...

Но глумливо кычут сычи,
Звездам зазорна земность кирилья,
И, продрав сорочку в ночи,
К утру снова вскипели крылья.

Так и жил Кирилл с топором,
На крыльях тех даже разжился:
Крыльями крышу покрыл над двором,
Крыльями огородился.

Их по перышку растащили поэты
В надежде, что муза их окрылится.
Им слагали молитвы эстеты,
А крыльям поруганным — небо снится...

Кому — новую квочку,
 кому — подлостей бочку,
Кому — солнце в ладошку,
 кому — фигу с картошку,
Кому — пуху на брылья,

а дядьке Кириллу — и не повезет же вот
так человеку!
— крылья

Л. Ржевский

БИБЛИОГРАФИЯ

БОРИС ЗАЙЦЕВ. *«Река времен»*. Изд. «Русская Книга». Нью Йорк. 1968 (стр. 337).

«Река времен» — этими начальными словами предсмертного державинского стихотворения озаглавлен недавно вышедший сборник рассказов и повестей Бориса Зайцева. (Это же название носит один из рассказов Зайцева, помещенный в сборнике).

Борис Константинович Зайцев — младший современник Чехова, Бунина, Леонида Андреева, Куприна — вступил в литературу двадцатилетним юношей 68 лет назад, когда 15 июля 1901 года в московской газете «Курьер» был напечатан его первый рассказ-эскиз «В дороге». С того дня много лет, жизней и событий поглотила «река времен»: беззаботные молодые годы, кровавый террор революции, голод и холод пореволюционных лет, исход на Запад, эмигрантская жизнь. Все это нашло отражение в темах рассказов и в одной повести сборника, написанных в разное время.

«Река времен» — это как бы антология лирических поэм в прозе. Открывается она повестью «Голубая звезда», «самой полной и выразительной», по словам самого автора, из всего написанного им до 1922 года — года, в который Б. К. Зайцев с семьей навсегда покинул родину.

«Голубая звезда» — это как бы завершение целой полосы жизни, лирическое прощание с прошлым, дореволюционным: с мирной, веселой Москвой, с талантливой, полубогемно-беспечной молодостью, с беззаботной жизнью вообще.

Главный герой повести — Христофоров. Он в какой-то мере близок образам «положительно-прекрасных» людей, созданных Достоевским. Христофоров — «дитя», «младенец», он смиренен и чист сердцем, по-евангельски нищ. Живет он той жизнью, которая предназначалась старцем Зосимой Алеше Карамазову, — быть в миру монахом. (Кстати, Христофоров тоже Алексей, Алексей Петрович, и имя это его характеризует — Алексей Божий человек). И действительно, Христофоров даже «одно время проповедывал полное удаление от мира, как бы сказать полумонашеское состояние». Но еще теснее его духовное родство с князем Мышкиным: в нем тоже есть «священный идиотизм». Христофоров не мечтает об утверждении на земле царства

справедливости и свободы, не стремится, как Мышкин, «к обновлению всего человечества и воскресению его» и не собирается поучать. Тем не менее, он, как и его старший духовный брат, «к людям идет». И они к нему тянутся и вовлекают в поток своих страстей, в котором он кружится «то как участник, то как зритель, и в конце концов, погибает в годы революции, о чем рассказывается в другой, не вошедшей в этот сборник, повести «Странное путешествие» (1926 г.).

Как и у Мышкина, у Христофорова нет «так называемого гнезда» и не будет. Его «хозяйство» — небесное. С ним он знакомит Машуру — девушку, которую любит.

«С деревьев на бархат рукава слетали зеленовато-золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

— Прямо над домом, вон там, — сказал Христофоров, указывая рукой, — голубая звезда Вега, альфа созвездия Лиры. Она идет к закатам.

— У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда — моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то спокоен. Я замечаю ее первой, лишь взгляну на небо. Для меня она — красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви».

Эта небесная Дева — символ всего божественно-прекрасного, что разлито в мире: вечно-женственного, любви, печали. Поэтому-то любовь Христофорова к Машуре совсем «не то, что в жизни называют любовью». В то время как Машура готова отдаться своей любви «вся, до последнего изгиба», он в ней видит только «отблеск ночи, всех ароматов, очарований...», да и она сама, может быть, только «звезда, или Ночь...»

Близок к странному, «фантастическому» Христофорову другой персонаж повести — Ретизанов. В нем тоже есть что-то детское. В отличие от Христофорова, звезд он не знает, но «небо и вечность» чувствует. Он читает «Идиота» и ощущает «некоторую атмосферу, как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин. Такая нематериальная фосфоресценция...» Также «нематериальна» его любовь к балерине Лабунской: она для него «голубоватое эфирное существо, полное легкости и света», «чистейшее проявление музыки и ритма».

Христофоров (и Ретизанов) даже наделены даром провидения: Христофорову открывается «край вечности» — конец эпохи, когда будет «довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев все разлетелось во тьму»; Ретизанов же предчувствует страшную смерть Никодимова («темной личности» в повести).

Мечтателю Христофорову противопоставлен студент физико-

математического факультета Антон — жених Машуры. В Антоне нет устремленности к небу, он на земле «твердо стоял на коротковатых ногах». Ему все равно, «как называется эта или та звезда... Кому от этого польза?» Музыку Скрябина уверенно принимал за Шопена, Анатолий Франс для него «просто французский разговорщик», а «все эти кубисты, футуристы, Пикассо — просто чепуха, и смотреть их ходят те, кому нечего делать».

Близость зайцевского героя Христофорова к Алеше Карамазову и князю Мышкину — не какое-то влияние Достоевского, а скорее созвучие душ двух глубоко верующих писателей. Отсюда и стремление у обоих к созданию образа «человека Божия».

«Голубая звезда» полна поэзии, голубого сияния, светлой грусти и у прочитавшего ее надолго остается в душе благодатный след от касания звездного мира мечтателя Христофорова.

Рассказ «Путники» написан на любимую автором тему: жизнь человеческая есть странствие, люди — странники, путники — «все за судьбой идем». В вечном своем движении по предназначенному им Великим Владыкой пути они то сходятся, чтобы поддержать друг друга словом сочувствия, делом или же просто своим сопутствием, то расходятся.

Лучшая спутница — любовь, и если она уйдет, остается путник в земном своем странствии одиноким, а сам путь становится бесцельным. «Вся моя жизнь, — думал он (Казмин), — имела смысл до тех пор, пока Надя меня любила. Лишь до тех пор». Но через страдания случайных своих сопутников, с которыми столкнула Казмина судьба, пришло к нему примирение с прошлым, а с ним и решение ехать туда, в Петербург, где живет покинувшая его, но все еще любимая жена. «Что же такое, — думал он, — что она ушла? Я ее люблю не меньше». Пусть даже она забыла его, все равно он должен быть где-нибудь около нее. Путь снова приобрел цель.

Под общим заглавием «Люди Божии» объединены три рассказа о калеках и юродивых. И они создания Божии. Пусть слабоумный Кимка зол, сварлив и раздражителен, страшно ругается, но «у него есть улыбка, а, следовательно, и душа». И автор верит, что Кимку этого (а таких Кимок тысячи), как «бедного Макара» В. Г. Короленко, Бог простит за то, что был дан ему «скудный ум, жалкая внешность, дикая речь; за то, что столь мало света видел он в жизни; за то, что его не любили и смеялись над ним».

Второй раздел сборника посвящен годам революции и первым пореволюционным годам. Рассказы этого раздела написаны в духе примирения и христианского смирения. Их, в целом, можно бы кратко охарактеризовать так: все принимаю, терплю и надеюсь — да будет воля Твоя!

Самый яркий из рассказов этого раздела — «Улица св. Николая».

Он проникнут мистицизмом и острой напряженностью революции. Арбат называет автор улицей святого Николая: три церкви на Арбате — Никола Плотник, Никола на Песках и Никола Явленный. Был Арбат образом жизни беспечной, пьяного веселья и греха, но звуки танго и звон бокалов сменяются музыкой революции: «Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? — Вперед, и в ногу, и под барабан. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель, и смертно лоб перекрестивши, тяжело в ряды стала, тяжело марширует сапогом тяжелым. Раз-два, раз-два!» Стал Арбат свидетелем братоубийственной войны, увидел нищету и голод вчерашних «господ» и торжество новых людей «в галифе, брито-сытых, с красной пентаграммой на фуражках». Но через страдания приходит очищение от грехов, надежда и новая жизнь. — «И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так, расцветет мой дом, но не заглохнет».

Жизни русской эмиграции — «капле России» — посвящен третий раздел рецензируемого сборника. Один эмигрантский поэт сказал: — «Не сломала судьба нас, не выгнула, / Хоть пригнула до самой земли. / А за то, что нас родина выгнала, / Мы по свету ее разнесли» (цитирую по памяти). Это хорошо показал Борис Зайцев своим творчеством.

Несколько автобиографичны краткие зарисовки под общим названием «Звезда над Булонью». Это все та же небесная водительница — голубая звезда Вега, — что светила в далекие годы юности в родной стране, разливает свой голубой свет мира и успокоения над Булонью. Не легка эмигрантская жизнь вообще, а тут еще снова пришлось переживать ужасы войны (второй мировой), но все смиренно принимает автор. Он, как всегда, полон благоволения к людям, теперь уже к людям чужой страны, зачастую неблагообразным (есть даже свои Кимки). Полно грустного лиризма обращение к Зинанде. Бурная и стремительная Зинаида — тоже капля России, отразившая в себе «странный, дикий полет и бескрайность» своей родины, находит, наконец, вечный покой в чужой земле.

Последним стоит в сборнике рассказ «Река времен». Рассказ этот на тему — «В животе и смерти Бог волен». Не забыли в «рассеянии сущие» русские люди своих русских обычаев и традиций, своего православия. Вот на чужой земле «монастырь имени великого Святого. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызывают колокола, идут службы, в соседнем помещении юноши изучают богословие». В этом монастыре, «окно в окно», живут о. Савватий и о. Андроник. Оба они архимандриты, но какие разные, и внешне и внутренне! С

присущим ему тактом и пониманием человеческой природы, показал автор не иконописные образы архимандритов, а двух живых людей со свойственными им слабостями. Они — как евангельские Марфа и Мария. Архимандрит Савватий — «сильный, плотный, румяный» — хотя и «настоящий кондовый, коренной монах», но о земном все же печется, даже не без некоторого честолюбия: очень желал епископства и получил его. Архимандрит Андроник — болезненный, «несколько чахоточного вида, с огромными прекрасными глазами, молчаливый и всегда задумчивый» — ученейший богослов, лингвист. Хотя и тяжело дается ему монашество и не все ясно в его душе, он более отрешен от земли, более духовен, чем о. Савватий; дважды была предложена ему епископская митра, и он дважды от нее отказался. Знакомы о. Андронику томления духа, поэтому и понятны ему державинские, в минуту предсмертной тоски написанные строки: «Река времен...» О. Андроник, хотя и моложе был о. Савватия, часто думал о смерти, но Бог раньше призвал к себе сильного телом и духом о. Савватия — через неделю после долгожданной хиротонии его во епископа.

Зайцеву также очень удался образ русского православного митрополита-аскета, простого и смиренного. Сумел автор передать общий дух русского зарубежного монастыря и атмосферу экуменического съезда.

«А написавший сумел передать расположение к себе и своему писанию... неизвестно чем, неким невидимым дыханием облика своего — это и есть таинственное в искусстве...» Эти слова написал Б. К. Зайцев о недавно скончавшемся Паустовском, но это же можно сказать и о самом Зайцеве. Он, бесспорно, обладает этим «таинственным в искусстве» даром расположения и к себе и к своему писанию. Его свободное слово всегда благородно в своей простоте и правдивости. Герои Б. К. Зайцева не знают протеста, не «возвращают билета», не испытывают животного страха смерти. Творчество его проникнуто приятием жизни, как великой тайны и благодати, ибо все от Бога и во всем Бог.

Ариадна Шилева

АНДРЕЙ СЕДЫХ. *Иерусалим, имя радостное*. Издание «Нового Русского Слова». Нью-Йорк. 1969.

Андрей Седых, опубликовавший в 1966 году, после первого посещения Израиля, тепло принятую прессой и публикой книгу «Земля Обетованная» (выпущенную также на английском языке), вновь посетил Израиль уже после шестидневной арабско-израильской войны,

и отчетная книга содержит впечатления от этой поездки. Читатели, рассчитывающие найти в ней беспристрастный и вполне объективный обзор всего виденного автором или практически полезные указания для потенциальных туристов, будут разочарованы, ибо Андрей Седых явно не беспристрастен и явно не объективен. Зато все те, кто с волнением и тревогой следили за судьбами Израйля и были потрясены драматическими событиями последних лет, будут этой книгой захвачены, прочитают ее залпом и будут долго внутренним ухом слышать гармонический лад этих заметок, сотканых из разнородных, пестрых, органически между собой не связанных элементов.

В этой книге интересно проследить несколько характерных тем. В ней есть торжественный мотив **вечности**, живое присутствие почти легендарного библейского прошлого святой для трех великих религий земли и ее казалось бы неистребимого народа. Само название книги «Иерусалим, имя радостное» заимствовано из Библии (Пророк Иеремия 33, 9) и свидетельствует о каком-то внутреннем ликовании, составляющем фон книги. Посещая различные места страны, автор перекликается с далеким прошлым и освежает в памяти множество ассоциаций: тут Иосафатова долина, между Сионской горой и Морией, где должен происходить Страшный Суд и где находится разоренное под арабским владычеством старое еврейское кладбище, тут Царская долина с древнейшим памятником Авессалома, поднявшего руку на отца своего, царя Давида, тут новый портовый город Ашдод и новый Ашкелон на местах древних филистимлянских Ашдода и Ашкелона, тут построенный царем Иродом дворец-крепость Массада, последняя цитадель героических zelотов, которую римские легионы могли покорить лишь после трехлетней осады, тут библейская гора Муса в Синайской пустыне, на которой Господь дал Моисею каменные скрижали с заповедями, тут галилейский поэтический город каббалистов Сафед, тут Содомское море и Соломоновы рудники, где, близ города Тимна, в Израиле, в наше время добывается медь.

Эта тема уходящего в бесконечную даль прошлого сливается в книге Андрея Седых с исключительно гармоничным трезвучием религиозного порядка, благоговейно напоминающим читателю, что мы в Святой Земле трех великих религий. **Стена плача** — единственная в мире материальная реликвия, символизирующая единство рассеянного во всех странах еврейства; **Место, называемое Лобное** (Виа Доллороза) — Крестный путь Христа на Голгофу, где стоит Храм Гроба Господня; **Вифлеем** с церковью Рождества Христова; **Русская свеча на Святой Земле** с описанием былых средневековых паломничеств из Руси и ныне существующих русских монастырей на Елеонской горе; **Нет Бога, кроме Бога...** о святынях Ислама, о великолепной мечети Омара и о третьей мусульманской святыне после Мекки и Медины — мечети Эль-Акса.

Звучание религиозных струн слышно на протяжении всей книги, когда из кабины самолета автор смотрит на Синайскую пустыню с горой Моисея и монастырем Св. Екатерины, или видит в Хевроне могилы патриархов Авраама, Исаака и Якова с Сарой, Ревеккой и Лией, или на дороге в Вифлеем посещает могилу Рахили близ Долины Пастухов, где некогда прозвучала «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение», или смотрит на замурованные мусульманами Золотые ворота, через которые въехал в Иерусалим Христос в Вербное воскресенье.

Однако, вряд ли мы имели бы перед собой книгу Андрея Седых, если бы тема ее ограничивалась указанным. Решающим моментом, взволновавшим автора и талантливо переданным читателю, является потрясающая шестидневная война. Здесь опять перед нами образ юного Давида, вынужденного вступить в единоборство с Голиафом и выходящего победителем из этой неравной борьбы.

На протяжении всей книги вместе с первой темой, о которой я говорил выше, отчетливо слышна резкая, торжественная и жизнерадостная фанфара современности, мотив жизнеспособности, силы, здоровья и энергии молодого Израиля — Давида среди народов мира — живущего под угрозой современного Голиафа.

Автор встречается и беседует с местными деятелями, с журналистами, с строителями молодого Израиля, с мэром Иерусалима Тэдди Коллеком, с игуменьей Тамарой (в миру княгиней Татьяной Константиновной), с основателем и руководителем совершенно замечательного госпиталя Тель-Хашомер, доктором Хаимом Шибя, которого по праву считают еврейским доктором Швайцером, и со многими другими яркими представителями общественности и в процессе этих бесед знакомится с эволюцией последних лет, с недавними историческими событиями и актуальными проблемами страны, вновь, как во времена Ездры и Неемии, вынужденной одновременно строить жизнь и защищаться, с лопатой в одной и оружием в другой руке.

А Седых дополнил книгу хронологической таблицей важнейших событий в истории еврейского народа и картой Синайской кампании (сделанной Нонной Белавиной) и закончил книгу несколько рискованной главой «Беседы — выводы — прогнозы». Тут, неизбежно, кое-что спорно, кое-что безусловно верно, кое-что неверно. Замечу, что А. Седых ошибается, когда говорит о якобы заключенном между Израилем и арабскими странами **перемирии**. Соглашения о перемирии были заключены в 1948 году и после Синайской кампании 1956 года и шестидневной войны 1967 года — потеряли свою силу. Последняя война никаким перемирием не закончилась, было лишь прекращение огня де-факто, и противники «явочным порядком» размежевались вдоль линий прекращения огня. Израиль существует в настоящий момент без закрепленных границ, и эта международно-правовая аномалия

усиливает эмоциональную и психологическую напряженность, передающую чуткому автору, когда он писал свою книгу, и, через него, его благодарным читателям.

И. Левитан

СТРАННИК. *Упразднение месяца*. Поэма. Изд. «Нового Журнала». Нью-Йорк. 1968.

«Упразднение месяца» — путь к большим слезам и невечереющей радости. Но как упразднить греховно страшный месяц Октябрь 1917 года? Есть одна сила — покаяния и слез, сердечного и душевного порыва к Богу. Господь снисходит и к грешникам, к разбойнику Благоразумному. Сила покаяния в вере в Бога, в забвении самости, в последнем устремлении горé. Покаяние — дело самой сердцевины души. Прав ли тот, кто это впитывает из строк поэмы? Думаю, что да.

Не хочется испещрять отзыв цитатами и ссылками на страницы. Против тютчевского утверждения о снах, не сны, а любовь, по Страннику, объемлет мир земной. К ее незримым ранам прикасается с благоговением поэт. И нет уже иной цели.

Но надо, чтобы непрестанно
Соединять стихи могли
Тяжелозвездные туманы
С прозрачным воздухом земли.

Смерть Октября и торжество Духа даются в поэме символами. Их любит Странник, в них для него простор и истина, и укор неба, и язык вечности. Но, чтоб упразднить нависшую тень Октября должно же брезжить утро, должен алектор запеть и грешник горестно заплакать, возрыдать, об Октябре, как сплетении вековых греховностей, лжи и кровобесия:

И собственность отверг он для того,
Чтоб собственностью стали все его.

Поэт знает — «есть мера у страдания... Петухи, в себя приняв разбитых звонниц медь, уже над Русью начинают петь». И символ алектора, как трубы покаяния за богоотступничество, идет по страницам поэмы. Это поэма освобождения от одиночества и безумного безбожия. Свет в дали видит автор поэмы, чья мудрость ковалась верою. Октябрь — безблагодатен, но подо льдом жива душа и поэзия России. Эту идею утверждает муза автора. И тут же чуткое напоминание: «Не верьте антисталинизму тех, Кто ленинизма празднует успех». Покаяние разбудит пробужденную совесть, слезы очистят, любовь укрепит. И только тогда придет свобода:

Свобода хочет от своих детей
Свободы от незнания и страстей.

Кстати, здесь Странник соприкасается со сходной думой героя В. Дудинцева — Лопаткина — о коммунизме апостольском: считать своим лишь то, что ты отдал. Но как узнать приход нового, шаги обновления, почувствовать: «Октябрь прошел. Листва уже другая». Надобно, «Чтоб жить легко, всех недругов любя, Нам надо не любить самих себя». Это доступно тому, чье сердце обновляется поэзией, а поэзия становится тишиной и молитвой.

В поэме «Упразднение месяца» есть и овечный Пушкиным свой особый дидактизм крепко скованных изречений. Странник обязан самом быть и проповедником и даскалом.

Так мало человек поправить может,
Хотя испортить может целый век.

Все сидит, решает, ищет он ответ
У того, чего и не было и нет.

Поэма содержит живую переключку голосов. Тут строчка из Блока, здесь слово Гоголя, там Пушкин и Грибоедов, Ахматова и Маяковский, Волошин и даже отклик Данте; не забыты и Патриаршие пруды М. Булгакова. Однако, меня влечет не историко-литературная сторона, а, если можно так сказать, сущность поэмы. И некоторые имена науки становятся символами и ключами к смыслу ряда строф. Вот один пример: «Нам Гейзенберг и Нильсен Бор урок, Блистательный дают своею школой». Известно, что великий физик Гейзенберг в ряде трудов встал на защиту спиритуализма и в философских работах он идеалист. Проблема свободы, творчества, меры и органически слитного мира вселенной близка этому великому уму. Интересно, что В. Солоухин в «Письмах из Русского музея» сравнивает безмозглого атеиста из космонавтов с карасем, что на миг выпрыгнул из пруда и заявил: «Ничего там нет, даже нет воды!»

«Упразднение месяца» начато с образа рыбы в пруду, что не может видеть цветение сирени, подобная нашей душе, которая из своей ограды видит только одну тень от живой жизни Божьего сада.

Р. Плетнев

ГАЛИНА СЕЛЕГЕНЬ. *Прехитрая вязь*. Изд-ство В. Камкина. 1968. Вашингтон. 222 стр.

Подзаголовок работы Г. Селегень — «Символизм в русской прозе: 'Мелкий бес' Федора Сологуба» и слова Блока — «Роман Сологуба

—прехитрая вязь, такая же тонкая и хитрая, как сама жизнь» — даны, как эпиграф. Книга эта — результат вдумчивой и тщательной работы исследователя, подошедшего к своей задаче с добросовестностью и обладающего в этой области солидными познаниями. Обширная библиография (стр. 215-222) показывает, что автор хорошо осведомлен о работах, вышедших на русском, французском и английском языках и освещающих не только творчество Сологуба, но и зарождение символистского романа в России и появление его предшественников на Западе.

К сожалению, в список литературы о Сологубе Г. Селегень не включила главу из «Петербургских зим» Георгия Иванова, ярко рисующую человеческую суть «кирпича в сюртуке», как назвал Сологуба В. Розанов, и посвященную ему же главу из книги Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». Свидетельство этих писателей, лично знававших Сологуба, особенно ценно. Ведь сама же Г. Селегень отмечает на стр. 82: — «О Сологубе известно немного. Советские историки литературы обычно ограничиваются скудными биографическими данными и кратким отрицательным разбором произведений этого писателя-декадента, не сообщая никаких данных о его жизненной философии, концепции искусства, литературных вкусах и связях».

В книге проф. Селегень раздел «Символистский роман во Франции» занимает четверть книги и является введением к первой, очень содержательной, главе, где автор рассматривает истоки русского символистского романа, справедливо указывая, что крупной заслугой младшего поколения русских символистов является их новое, глубокое понимание русской классической литературы. Так, Эллис (Л. Кобылинский), А. Белый, Б. Садовской и другие символисты отмечали сильное влияние Гоголя на младшее поколение символистов и на Сологуба в частности. С другой стороны, Г. Селегень показывает, насколько значительно было влияние скандинавских писателей — Гамсуна, Стриндберга и особенно Ибсена на представителей русского символизма.

Вторая глава книги посвящена непосредственно Ф. Сологубу, «единственному последовательному декаденту в русской литературе». Указывая на то, что советская критика замалчивает значение Сологуба, Г. Селегень проводит интересную параллель между Сологубом и Гюисмансом, находя большое сходство в их жизненной и творческой биографии. Даже знаменитая Передоновская «недотыкомка» весьма напоминает воображаемое существо, мучающее героя одного из романов Гюисманса. Ряд других соображений Г. Селегень позволяет говорить не только о знакомстве Сологуба с произведениями этого писателя, но и предположить, что автор «Мелкого беса» был увлечен образами и мастерством Гюисманса, хотя Г. Селегень показывает, что прямых заимствований не было.

Третья глава представляет собой обзор высказываний критиков

о романе «Мелкий бес», который Ф. Сологуб писал десять лет (1892-1902). Здесь дается разбор композиции романа, его характеров и среды. В предисловии к своему многолетнему труду Сологуб писал: — «Этот роман — зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работал усердно... Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны».

Очень интересны страницы, где Г. Селегень высказывает мнение, что бытовая часть романа не ближе к традиционной концепции бытового романа, чем его явно-вымышленная, фантастическая часть. Характер Передонова рассматривается в трех главных аспектах — отношение к миру внешнему и потустороннему, отношение к людям и внутренний мир Передонова.

В частности, Г. Селегень показывает, что, идя по следам Гоголя, Сологуб весьма искусно пользуется цветописью для обрисовки характеров своих героев. На ряде примеров Селегень показывает и то, что «внешняя обстановка у Сологуба — улицы, дома, вещи, — наделены душой: вещи способны переживать и чувствовать, причем преобладающее настроение у вещей такое же, как и у Передонова, это состояние тоски и томления».

Интересны в разбираемой книге четвертая глава — «Лексические фонды. Речевые характеристики», и глава пятая: «Прочие выразительно-художественные средства. Эпитеты. Метафоры. Синтаксис». Эта часть книги — наиболее самостоятельное и оригинальное исследование того, как мастерски использовал Сологуб все возможности, заключающиеся «в слове, в звуке, в грамматическом контексте».

Проф. Селегень удалось проследить влияния западных символистов на творчество Сологуба и в то же время доказать, что «несмотря на эти связи и влияния, Сологуб в своем творчестве остается глубоко оригинальным; больше того, — русским и национальным».

Можно от души пожелать, чтоб это интересное исследование дошло до возможно большего числа читателей, оно несомненно займет достойное место среди монографий, посвященных русским писателям и поэтам.

Татьяна Фесенко

JEAN NEUVECELLE. *Jean XXIII. Une Vie.* Paris, Grasset. 1968. Pp. 500.

Вскоре после избрания Анджело-Джузеппе Ронкалли главой католической церкви, он стал известен всему миру, не как святейший отец Папа Иоанн XXIII-й, а просто, как «Добрый» Папа Иоанн. Жан Невесель подробно рассказывает в своей книге о старце, который был возведен на римский престол в качестве «переходного», «ком-

промиссного» первосвященника, и вошел в историю как смелый преобразователь и мужественный защитник мира и социальной справедливости. Как это случилось? Об Иоанне XXIII-м уже вышел целый ряд трудов. Есть его личные записи, которые он вел с юношеских лет до конца жизни, есть тексты его выступлений и проповедей. Но нужно было собрать все эти материалы в общую картину, нужно было глубже вникнуть в склад этой души, на вид простой и благодушной, порой почти ребяческой, а на самом деле сложной, чрезвычайно чуткой и в некотором смысле загадочной.

Как пишет Невесель, исчерпывающая биография Анджело Ронкалли сможет быть написана только после раскрытия источников, хранящихся в архивах Ватикана. Но Жан Невесель не только тщательно проверил имеющиеся налицо данные; он обратился ко всем еще живым свидетелям, знавшим Ронкалли в юности или в последующие периоды его многолетней деятельности. Самым ценным свидетелем является Лорис Каповилла, бывший личный секретарь Папы и ныне архиепископ Кьетти. Каповилла пригласил автора в свою резиденцию для беседы, которая длилась впродолжение многих часов, а также ознакомил его с личными, сохранившимися у него записями.

Необходимо отметить, что автор этой книги — русский по происхождению, сын знаменитого поэта-символиста, Вячеслава Иванова, скончавшегося в Риме; Жан Невесель — псевдоним, под которым Димитрий Вячеславович Иванов написал уже ряд книг по-французски и работает в парижской газете. Он провел много лет в Риме при отце, которому посвящена настоящая книга. Он хорошо знает Ватикан, от высших иерархов до простых служащих. Будучи отлично осведомлен, он беспристрастно освещает и положительные и отрицательные стороны этого сложного мира: душную атмосферу курии и ее многочисленных департаментов, с которыми Иоанну XXIII-му пришлось не мало бороться, и живительный воздух, ворвавшийся в широко открытые добрым Папой окна. В книге ярко описаны торжественные службы, молебны, похороны, коронавания в храме Святого Петра, с их традиционным блеском и незывлемым протоколом; описаны также скромный образ жизни, простота в обращении, отказ от помпы самого Ронкалли, который никогда не забывал о своем почти убогом детстве.

Сын обедневшего фермера деревушки Сотто иль Монтэ, близ Бергамо, в северной Италии, маленький Анджело не имел даже своей кровати. Когда он стал подростком, у его родителей не было денег для него на школу; выручила отдаленная родственница, но мальчику приходилось ходить в школу пешком восемь километров в день туда и обратно. Латынь ему плохо давалась, но он охотно прислуживал священнику в местной деревенской церковке. Желание самому сделаться священником рано проснулось в нем. Он был принят подрост-

ком в бергамскую семинарию, которую окончил и получил стипендию в одну из высших духовных школ в Риме. Он учился усердно, безропотно подвергаясь строгой дисциплине и придерживаясь девиза семьи Ронкалли: «мир и послушание». Этот девиз был сохранен Иоанном XXIII-м на своем папском гербе.

Не успел молодой Анджело окончить курс, как жизнь неожиданно вырвала его из замкнутого мира. Он был призван на военную службу и встретился здесь с грубой действительностью казарменной жизни. В дальнейшем он вспоминал с содроганием об этом времени и называл его «пленом вавилонским». Но он многое в эти годы передумал и не потерял ни своей веры, ни любви к человечеству.

Анджело вышел из армии в чине сержанта и вернулся в римскую семинарию, чтобы сдать экзамены и получить диплом доктора богословия. Последний период занятий был для него тяжелым. Он пережил настоящий «штурм унд дранг», мечтал о недостигаемой, казалось, святости, упрекал себя в гордыне, искал смирения и не находил покоя. Однако, его духовный руководитель не сомневался в редких качествах и подлинном призвании Анджело и признал его вполне готовым принять священство двадцати двух лет, значительно раньше предписанного возраста. Ронкалли был рукоположен в диаконы, а затем в священники и отслужил свою первую обедню в храме Святого Петра в июле 1904 года.

Первое назначение новорукоположенного священника его обрадовало. Он получил место секретаря у епископа Радини-Тедески и очутился в знакомом Бергамо, недалеко от фермы, где трудились его родители и братья. Радини-Тедески был одним из самых прогрессивных представителей итальянского епископата. Его не смущали новые идеи, распространяемые модернистами. Он был скорее озабочен политическим кризисом среди католиков. Разрыв между Ватиканом и итальянским правительством ставил всевозможные преграды католическим общественным деятелям. Римская иерархия решительно противилась сотрудничеству верующих с государством, участию прихожан в выборах и законодательстве. Однако, либеральные католические круги искали этого сотрудничества, особенно когда дело шло о социальных реформах. Бергамский епископ, как и другие иерархи северной Италии, всячески их поддерживали. Когда в Милане и в самом Бергамо началось рабочее движение, были объявлены забастовки и появились баррикады, Радини-Тедески защитил требования рабочих и оказал денежную помощь забастовщикам. Анджело Ронкалли принял живое участие в деятельности своего епископа, с которым работал в продолжении десяти лет и глубоко к нему привязался. Смерть Тедески была для него величайшим горем. Идеалы социальной справедливости, человеколюбия и терпимости, раскрытые ему покойным навсегда остались в душе Ронкалли.

В 1914 году вспыхнула мировая война, Италия присоединилась к союзникам и молодой священник был командирован духовником в военный госпиталь. Здесь он еще ближе подошел к народу. После заключения мира, Ронкалли был неожиданно переведен в Рим, где, повидимому, несмотря на «фрондерство», его исключительные качества и моральный престиж были хорошо известны. Он был назначен помощником директора пропаганды Фидэ, которая заведовала миссионерской деятельностью Ватикана. Но как раз в этот период Италия переживала глубокое потрясение. На улицах Рима появились «черные рубашки», Бенито Муссолини захватил власть. Ронкалли писал своей семье в деревню: «Как христианин и как священник, я не хочу голосовать за фашистов».

Между тем, перед сыном крестьянина Сотто иль Монтэ открывалось широкое поле деятельности. Его исключительные дарования были признаны в ватиканских кругах, особенно среди либерального духовенства. После ряда повышений он был возведен в сан архиепископа и отправлен в 1925 году с миссией в Болгарию, а затем в Турцию и Грецию. Ему была поручена инспекция католиков, проживающих в этих странах, а также улучшение довольно натянутых сношений с православными. Жан Невесель описывает мудрые, осторожные шаги, предпринятые папским дипломатом в Софии, где недоверие и неприязнь обострились именно в эти годы.

В Истамбуле Ронкалли был первым католическим иерархом официально принятым Вселенским Патриархом. Он имел также официальное свидание с архиепископом Дамаскином Афинским. Дело шло о помощи Ватикана голодающим в Греции. Во время пребывания на Балканах архиепископ Ронкалли часто посещал православные храмы и монастыри. Он побывал на Афоне и вник в самую сущность православия, полюбил византийский обряд, греческий, славянский путь благочестия. Этот опыт подготовил его к дальнейшей экуменической деятельности. В Турции Ронкалли вошел также в контакт с главным раввином Палестины и помог ему спасти тысячи гонимых евреев во время второй мировой войны. И став Папой он особо подчеркнул свою любовь к еврейству.

После освобождения Франции, Ронкалли был назначен папским нунцием в Париж и затем Патриархом Венеции; он подробно изучил в Европе целый ряд проблем, волновавших в то время трудящихся и ведших к народным волнениям, к росту коммунизма, но и к развитию христианских социальных организаций. Впоследствии Ронкалли выразил христианский социальный идеал в знаменитой энциклике *PACEM IN TERRIS* (Мир на Земле).

Все эти события описаны Невеселем в строгой исторической перспективе, и в то же время с необычайной красочностью. Он рисует портрет Папы, не в виде идеализированного «сусального ан-

гела», а таким, каким он был: тяжелым, неуклюжим, с быстрой слегка «переваливающейся» походкой, с незловивым характером, но способным и на раздражение, которое он называл IRA AGNI (гнев агнца), и которое скоро забывал.

Автор рисует незабываемую картину избрания Ронкалли на папский престол, созыв Ватиканского Собора, основание Секретариата для Христианского Единения. Это было завершение длинного, часто мучительного подвига, принятое в глубоком смирении.

Елена Извольская

РОМАН ГУЛЬ и ВИКТОР ТРИВАС. *«Товарищ Иван»*. Пьеса в 3-х актах. Изд. «Мост». Нью Йорк. 1968 (стр. 62).

ROMAN GOUL and VICTOR TRIVAS. *“Comrade Ivan”*. A Play in 3 Acts. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. New York. 1969 (p. 62).

Драматург — создатель игры для актера. Эта игра имеет возможность большего отступления от текста пьесы, чем игра музыканта от нот, тем не менее, во все благополучные театральные эпохи актерское и авторское мастерство взаимно проникали друг друга. Только с началом «революции в театре» пьеса стала ощущаться исполнителями, как узы связывающие игру. Постановщики вроде Мейерхольда и Вахтангова начали переделывать старые пьесы на свой манер. Делалось это не из озорства и хулиганства, как об этом часто говорили, а потому что у нового театра не было своего репертуара, не было автора воспитанного на новых сценических требованиях. Его ждали, но он так и не пришел, вернее, не успел придти до того, как новый театр отправлен был на гильотину.

Вот уже 30 лет, как это случилось и нынешнее поколение не знает его вовсе. Но идея его живет и каждое новое произведение драматургии мы встречаем с затаенной надеждой: «не оно ли»? Так и «Товарища Ивана» встретили. Очень уж подкупает он своей близостью к новой сцене. Появись он во дни оны, им соблазнился бы Мейерхольд, хотя, опять-таки, при условии некоторых переделок. Ясно представляю, что бы он сделал, например, из сцены в русской бане, где голый жандармский генерал парится березовым веником и к нему приходит на секретное свидание такой же голый террорист-provokator. Мейерхольд непременно заставил бы их парить друг друга веником, мыть мочалками, обливать из шаек водой, подниматься и опускаться по ступеням полка, а из подавания пара извлек бы великолепный сценический эффект. Но для этого должен быть изменен «сидячий» диалог обоих действующих лиц. Мейерхольд по-

требовал бы его изменения. Но в Малый и в Александринский театры пьеса наверное принята была бы без изменений. Не стали бы там требовать преобразования и сцены, в которой появляются жандармы. Один из террористов хватает бомбу, чтобы взорвать их и себя, но все-таки не бросает ее и картина завершается надеванием наручников. Новый театр непременно устроил бы взрыв, а если б и не устроил, то извлек бы из бомбы весь сценический эффект. Он бы «поиграл» ею. И эта игра вовсе не пантомимическая. Тут и восклицания, и монолог, и смех над попавшим в ловушку противником — все уместно. Но подобных эпизодов в «Товарище Иване» почти нет. Пьеса Р. Гуля и В. Триваса — «попутчик»; она соблазняет нас близостью к новому театру, но по всему складу относится к «дореформенной» драматургии — к театру литературы. И родилась она из литературы.

Генеалогия пьесы «Товарищ Иван» похожа на ракетный снаряд, который, будучи выпущен из орудия, дает во время полета еще несколько взрывов. Русскому читателю хорошо известно, что пьеса вышла из романа «Азеф», а роман «Азеф» из более раннего «Генерал БО». При каждом новом рождении произведение выходило литературно более совершенным, но читателю немало требуется усилий, чтобы впечатления от каждого из них не переносить на другое.

Думается, что «Товарищ Иван» — самая подходящая форма для данного сюжета. Но почему он не отлился в нее с самого начала? Потому ли, что тогда не было еще Триваса, без соавторства которого Гуль не решался вступить в чертог Мельпомены. Может быть. Но напрашивается и чисто литературное объяснение. В годы создания «Генерала БО» живы были еще многие герои русского подполья; в эмиграции они не только вспоминали минувшие дни, но и продолжали прежние распри. Воскрешен был острый когда-то спор о терроре, о его политической целесообразности и морально-этической природе.

Романист 30-х годов, взявшийся за «подпольный» сюжет, не мог не испытывать влияния этой обстановки. Прибавим к этому появление мемуаров, публикацию документов, исторических исследований открывших неведомый прежде мир. Могли ли писатели не соблазниться его экзотикой? А она определенно подсказывала романическую форму.

Когда же в мире произошли невиданные по чудовищности события, подпольщики с ее экзотикой и политикой потускнели. От историко-революционной темы остался только интерес к «новому человеку». Проявился он больше в европейской, чем в русской (эмигрантской) среде. Переведенный на многие языки «Генерал БО» обратил на себя внимание типом чудовища-provokatora, не встречающимся в анналах западных революций.

Французский писатель Кристиан Мегрэ, в особой статье, упрек-

нул европейскую критику, оставившую роман Р. Гуля без должной оценки и не внесшую его в число лучших переводных произведений своего времени. Русский писатель покорила Мегрэ своими героями, которых не доставало французской литературе. Под впечатлением этой «парижской ноты», Р. Б. Гуль переделал свой роман в 1959 г. Так появился «Азеф».

Но какими причинами объяснить переделку «Азефа» в театральную пьесу? Думаю, что теми же самыми — литературными. Драматизм сюжета навел на мысль о соответствующей форме. И для образа «нового человека» она оказалась более подходящей. Иван ярче и колоритнее, чем Азеф в романе.

Не связанные никакими историческими и биографическими данными, авторы получили возможность с первой же картины показать этого «нового человека» необычайно эффектно. Публичный дом, избранный им местом явки революционеров, дает определяющий тон всей пьесе — соединение высоких порывов с грязью. Тут перед нами знакомый мотив, проходящий через все творчество Р. Б. Гуля — мотив развенчания революции. В каждом его произведении показываются какие-нибудь отталкивающие ее стороны. В «Товарище Иване» разоблачается высоконравственный тип героя-террориста. Почитатели русского революционного подполья прожужжали нам уши святостью людей, шедших в террор. Но литература, начиная с «Коня бледного» Савинкова и до «Товарища Ивана», упорно разрушала эту легенду. Террор существовал и на Западе; бросали бомбы в Наполеона III, стреляли в Вильгельма I, убивали президентов во Франции и в Америке, но делали это по ясно выраженным политически-деловым соображениям, в пылу борьбы, без Достоевщины, без разрешения мировых религиозно-философских вопросов, вроде тех, что в комедии Катаева волнуют паренька, целующего чужую жену: «этично или неэтично?» Известно, что одно из покушений на великого князя Сергея не удалось потому, что вместе с ним в карете, в которую собирались бросить бомбу, сидели дети. У террористов «не поднялась рука»... «неэтично». Искусство Гуля и Триваса ни в чем, может быть, так не проявилось, как в тонкости разоблачения этой подпольной «святости». Внешне, авторы идут, как будто, в полном согласии с эсеровской версией идеализирующей этих людей, но подводят читателя совсем к другой оценке: святые, попросту оказываются — ничтожествами. Всем бы этим Викторам, Сергеем, Митям, Варям, Соням не бомбы метать, а учить детей в сельских школах, быть земскими врачами и, вообще, делать что-нибудь «толстовское». Соня, например, обожает детей, носится с маленькой финской девочкой Зельмой и, по словам Веры, ей бы лучше замуж выйти, чем связывать свою судьбу с революционерами. Все разговоры их вертятся вокруг: «всякое ли убийство оправдано? можно ли убивать вообще?»

Это не суровые, железные люди, ополчившиеся на врага, не

итальянские карбонарии из рассказов Стендаля, даже не фанатики, а обыватели, пошедшие в террор и теперь разьедаемые внутренними сомнениями. Виктор, рыдающий в «Яре» под цыганские песни, после того, как услышал циничное признание Ивана относительно смысла революции, жуткий его хохот в финале, когда раскрылась сущность деятельности террористической организации — вот душевный климат этого пушечного мяса революции. Перед нами не борцы, а жертвы барахтающиеся в сетях паука-provokatora. А вот этот острый момент, — когда в динамитную мастерскую приходят жандармы, и когда Митя хватает приготовленную бомбу с намерением взорвать всех и вся. Для «дела» такая героическая гибель имела бы большое значение. Но в комнате находится маленькая Зельма и Соня кричит: «Митя!... Ребенок!...» Митя покорно опускает бомбу на стол. После этого понятно, почему в подзаголовке «Товарища Ивана» значится не «драма», а «пьеса». Драмы нет и авторы не собирались ее писать, отлично понимая, что сюжет не содержит главного условия драмы — борьбы. Есть действие, но нет противодействия. Есть избивание младенцев беспомощных.

В развенчании террористического периода русской революции, пьеса «Товарищ Иван» идет дальше всего, что было в литературе до сих пор. Признаюсь, первоначально, переделка романа в пьесу вызвала подозрение в намерении сыграть на прежнем успехе. К чтению «Товарища Ивана» я приступал с некоторым скептицизмом, но прочтя первую сцену уже не мог оторваться. Пьеса вышла на редкость удачной. Конечно, она обманула ожидания сторонников нового театра, конечно, она писалась не для Мейерхольда, а для Александринского театра, но с чисто драматической точки зрения — это прекрасное произведение. В ней нет резонерства, нет фальши ни в замысле, ни в тональности, ни в положениях, ни в речах героев. Полное отсутствие монологов, а если и есть — то короткие. Каждое из действующих лиц говорит присущим ему языком. Диалоги острые. Мера соблюдена во всем. Стремительно развивающееся действие исключает малейшую тень скуки, даже при чтении. Вообще, в обладании вниманием читателя и в удержании его до самого конца, авторы проявили редкое умение. Я вряд ли ошибусь сказавши, что ни в эмиграции, ни в СССР не появилось более удачной пьесы за все революционные годы. В дореволюционном репертуаре я бы поставил ее в один ряд с пьесами Сухова-Кобылина.

Н. Ульянов

WILLIAM W. ROWE. *Dostoevsky. Child and Man in His Work*. N. Y. University Press. New York 1968 (p. 242).

Этой книгой Вильям Роу, молодой американский литературовед, вносит некое новое измерение в то, что Бердяев назвал «антрополо-

гией» Достоевского. В тщательном феноменологическом исследовании В. Роу разбирает одинаково и настоящих и взрослых «детей», появляющихся на страницах романов Достоевского. Здесь проблема детства, связанная с состраданием и с сентиментализмом, имеет центральное значение.

Когда-то И. Анненский (может быть, под влиянием Достоевского) сказал, что смотрит на свои стихи, как на «больных детей». Этим он, вероятно, хотел сказать, что «больное дитя» это есть некий символ, который предельно выражен Иваном Карамазовым в его разговоре о «слезинке» ребенка. Говоря языком Ивана и отвечая на вопрос о «слезинке», поэт воссоздает структуру мировой гармонии, т. е. самое «музыку», душу искусства, где «грязь и низость» побеждаются «сияющей» красотой. Так что «дитя» в творчестве Достоевского (и Анненского) имеет смысл не только как личная нравственная проблема, но и как эстетическо-философское задание (у Анненского даже **формальное задание**!).

Но эта тема имеет свою опасность. В. Роу разбирает сентиментализм характеров действующих лиц в произведениях Достоевского — Нэллы и Илюшечки (менее воплотившихся чем «взрослые дети» — Степан Трофимович или Мышкин). Эти темы, затрагивая больные места писателя, его, как и Диккенса, пугают и он бросается от них в условность: дитя превращается в «объект». Тут появляются знаменитые уменьшительные, прибаутки и эти «пташки», о которых напоминает нам В. Роу в конце своего труда. Но если «дитя» часто не удается как художественный образ, оно все-таки центрально в процессе творчества, как миф — как призыв к творчеству. Здесь, по моему, Роу коснулся «главного» у Достоевского и его изучение приемов Достоевского этим оправдано. Подход В. Роу интересен и серьезен, т. к. он видит в приеме проблематику, как требуют этого некоторые экзистенциалисты-критики, и сознание «целого». Его «пафос» в том, что у всех есть «болезнь» детства, тут прав Фрейд, но важна не болезнь, а **кто болен**? Если это Достоевский, то как поэт-творец, он что-то с болезнью «делает» — здесь и тайна и техника — так же как гениальный неудачник Тришатов в «Подростке» «сделал» что-то из сентиментально-пошлого сюжета диккенсовской «Лавки древностей». Невольная фальсификация «возвышенного» обратилась здесь правдой и следственно слабости или даже психоз художника переживаются как «феликс кульпа». Такая «болезнь» в конечном счете ободряет. К этим выводам приводит серьезное и талантливое исследование Вильяма Роу. Книга читается с большим интересом.

А. Небольсин

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР СИБИРИ

Краткая библиография

Сибирь была известна русским задолго до похода Ермака. Знакомство с ней, как говорится в летописях, относится еще к 11 в. Первыми проникли в то далекое время к народам, жившим по обеим сторонам северного Уральского хребта, новгородские удалыцы, речные пираты «ушкуйники» и разные промышленники. Уже с 15 века появляются русские поселения в бассейне реки Камы. Датой же присоединения Сибири к русскому государству принято считать 26-е октября 1582 г., когда казацкий атаман Ермак разбил хана Кучума и вступил в его столицу Сибирь (также Искер или Кашлык).

В самых ранних упоминаниях о русских в Сибири почти совсем не встречаются какие-либо данные об их духовной жизни. Первые путешественники, посетившие край, основное свое внимание уделяли вопросам собирания материалов, касающихся истории присоединения края к России, истории туземного населения, его экономического состояния и только иногда несколькими скудными фразами характеризовали уровень культуры коренной и новой русской массы жителей Сибири. Поэтому мы сейчас не можем подробно сказать, что представляла собой русская народная поэзия в первом столетии колонизации (17 — начало 18 века).

В то время, как о фольклоре европейской части России имеется значительное количество исследований изучение областного народного поэтического творчества почти не проводилось; а оно дополняет представление об областных поэтических традициях в целом, а иногда позволяет сделать и некоторые предположения об эпических и культурных связях населения. Изменения условий жизни, быта, постоянное и тесное общение с коренным населением, говорящем на разных (и в начале непонятных) языках, несомненно повлияло на развитие русского народного творчества в Сибири. Занесенные из России песни, сказки и другие жанры фольклора подвергались переделке и изменению. Некоторые сюжеты других народностей перенимались русскими. Интересно, что часть этих сюжетов потерялась у народов, которые их создали, но бытует по сей день в русском фольклоре.

Вопрос о культурных и поэтических ценностях, которыми владел и владеет русский народ в Сибири, вопрос о художественных традициях и о связях русского населения Сибири со всем русским народом и о влиянии на русский фольклор новой обстановки и иноземных культур до сих пор почти не разбирался.

Первой попыткой в этой области является серьезный труд Л. Е. Элиасова «Русский фольклор Восточной Сибири», но и эта работа, как говорит название, касается только части Сибири. Поэтому, иссле-

дователю, работающему в области фольклора русских сибиряков приходится собирать сведения в самых разнообразных источниках. Большая часть народной поэзии русских в Сибири относится к общерусскому фольклору. Но, перенеся ее в Сибирь русские внесли в нее новые мотивы, в которых раскрывается их жизнь со всеми особенностями быта.

Так как, до сих пор, нет библиографического указателя о русском фольклоре Сибири мы думаем, что привести наш список источников будет целесообразным и полезным вкладом в изучение народного поэтического творчества русских сибиряков.

Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища этого творчества в Сибири, привести данные о нем в стройный порядок и собрать полный материал. Прав Владимир Иванович Даль: «без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черная, невидная, некорыстная».

К. С. Якуш-Орловский

I. Дореволюционные работы:

Авдеева, Е. Записки и замечания о Сибири, Москва 1837; **Барсов, Е.** Причитания северного края, Москва 1872; **Богораз, В.** Колымское областное наречие, Петербург 1901; **Даль, В.** Пословицы русского народа, Москва 1904; **Даль, В.** Толковый словарь живого великорусского языка, Москва 1880-82; **Киреевский, П.** Песни собранные..., Москва 1911; **Костомаров, Н.** Об историческом значении русской народной поэзии, Харьков 1843; **Максимов, С.** Сибирь и каторга, Петербург 1871; **Максимов, С.** Крылатые слова, Москва 1890; **Мякушин, Н.** Песни уральских казаков, Петербург 1890; **Осокин, М.** Русское изложение «Сказания о бурятах», Петербург 1906; **Пыпин, А.** История русской этнографии, Петербург 1892; **Сахаров, И.** Песни русского народа, Петербург 1838; **Трахтенберг, В.** Блатная музыка, Петербург 1908; **Шейн, П.** Великоросс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, легендах..., Петербург 1898; **Шейн, П.** Русские народные песни, Москва 1870; **Шищенко, В.** Орывки из народного творчества Пермской губернии, Пермь 1882; **Чулков, М.** Собрание разных песен, Петербург 1913.

Статьи:

Авдеева, Е. «Воспоминания об Иркутске», Отечественные записки, т. 8, 1848; **Александров, А.** «Песни, записанные в Енисейском округе», Живая старина, Петербург 1897; **Арефьев, В.** «К вопросу о сибирском народном творчестве», Сибирский сборник, Иркутск 1899; **Арефьев, В.** «Как я записывал народные песни», Сибирский сборник, Иркутск 1899; **Арефьев, В.** «Материалы по этнографии Енисейского округа», Изве-

ствия ВСОРГО 1902; **Кашин, Н.** «Празднества и забавы приаргунцев», Вестник РГО 1858; **Костомаров, Н.** «Предания первоначальной русской летописи», Вестник Европы 1873; **Логиновский, К.** «Свадебные обряды и обычаи казаков восточного Забайкалья», Записки Приамурского отд. РГО 1899; **Логиновский, К.** «О быте казаков восточного Забайкалья», Живая старина, Петербург 1902; **Макаренко, А.** «Сибирский народный календарь», Записки РГО, т. 36, Петербург 1901; **Мендельсон, Н.** «Былина о Ставроге», Этнографический обзор, № 4, 1897; **Миллер, В.** «К песням об Иване Грозном», Этнографическое обозрение, Москва 1904; **Миллер, В.** «Отголоски смутного времени в былинах», Очерки русской народной словесности, Москва 1910; **Оксенов, А.** «Ермак Тимофеевич в исторических песнях русского народа», Сибирский сборник, № 1, Петербург 1886; **Протасов, Н.** «Как я записывал народные песни», Известия ВСОРГО, т. 33, Иркутск 1904; **Пруссак, А.** «Игральные, хороводные и плясовые песни Иркутской губернии», Известия иркутского отдела общества изучения Сибири и улучшения ее быта, Иркутск 1917; **Тыжнов, И.** «Новейшие труды по истории покорения Сибири», Сибирский сборник, т. I, Иркутск 1898; **Успенский, Д.** «Похоронные причитания», Этнографическое обозрение, № 2-3, Петербург 1892; **Щукин, Н.** «Народные увеселения в Иркутской губернии», Записки РГО, т. 1-2, Петербург 1869; **Ядринцев, Н.** «Судьба сибирской поэзии», Восточное обозрение, Петербург 1885; **Осипов, Н.** «Ритуал сибирской свадьбы», Живая старина, 1893; **Пейзен, Г.** «Этнографические очерки Минусинского и Канского округов, Енисейской губернии. Из путевого журнала 1857 г.», Живая старина, 1903; «Труды Музыкально-этнографической комиссии», Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Москва, 1906-1911.

II. Пореволюционные работы:

Азадовский, М. Сказки из разных мест Сибири, Иркутск 1928; **Азадовский, М.** Очерки литературы и культуры Сибири, Иркутск 1947; **Азадовский, М.** Сказки Магая, Ленинград 1940; **Азадовский, М.** Статьи о литературе и фольклоре, Москва 1960; **Азадовский, М.** Ленские причитания, Чита 1922; **Азадовский, М.** Сказки Верхоленского края, Иркутск 1925; **Андреев, Н.** Русский фольклор, Москва 1938; **Андреев, Н.** и **Виноградов, Г.** Русские плачи, Москва 1937; **Аникин, В.** Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор, Москва 1957; **Астахова, А.** Русский былинный эпос на севере, Петрозаводск 1948; **Астахова, А.** Былины в записях и пересказах 17-18 вв., Москва 1960; **Афанасьев, А.** Народные русские сказки, Москва 1957; **Барышникова, А.** Сказки Куприанихи, Воронеж 1937; **Баскаков, Н.** Алтайский фольклор и литература, Горно-Алтайск 1948; **Бахрушин, С.** Научные труды, Москва 1952-59; **Бирюков, В.** Крылатые слова на Урале, Свердловск 1952-59.

ловск 1960; Бирюков, В. Дореволюционный фольклор на Урале, Свердловск 1960; Гуляев, С. Былины и песни из Южной Сибири, Новосибирск 1952; Гуревич, А. Русские сказки Восточной Сибири, Иркутск 1939; Гуревич, А. Устные рассказы о декабристах, Иркутск 1937; Гуревич, А. и Элиасов, Л. Старый фольклор Прибайкалья, Улан-Уде 1939; Жеребцов, В. Сибирский литературный календарь, Иркутск 1940; Зуев, В. Материалы по этнографии Сибири 18 века, Москва 1947; Леонтьев, Н. Печорский фольклор, Архангельск 1939; Лихачев, Д. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым, Москва 1959; Мисюрьев, А. Легенды и были, Новосибирск 1940; Мисюрьев, А. Предания и сказы Западной Сибири, Новосибирск 1954; Мисюрьев, А. Сибирские сказы, предания, легенды, Новосибирск 1959; Парилов, Н. Русский фольклор Нарыма, Новосибирск 1948; Петров, П. Легенды, сказки, Улан-Уде 1945; Петров, П. Русский свадебный обряд и свадебнообрядная лирика в Сибири, Ленинград 1947; Померанцева, Е. и Минц, С. Русское народное поэтическое творчество, Москва 1963; Путилов, Б. Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках 17-20 вв., Москва 1961; Путилов, Б. Народные исторические песни, Москва 1952; Путилов, Б. Песни ленских казаков, Грозный 1946; Розанов, И. Фольклор Урала, Челябинск 1949; Савельев, А. Былинный эпос в Приангарском крае, Красноярск 1926; Соколова, В. Русские исторические песни 14-18 вв., Москва 1960; Садовников, Д. Загадки русского народа, Москва 1959; Шахнович, М. Русские пословицы и поговорки как исторический источник, Ленинград 1937; Чичеров, В. и Колпакова, Н. Русское народное поэтическое творчество, Москва 1955; Чичеров, В. Русская народная бытовая песня, Москва 1962; Чичеров, В. Русское народное творчество, 1959; Элиасов, Л. Русский фольклор Восточной Сибири, Улан-Уде 1960.

Статьи:

Гуляев, С. «Русская былевая традиция в Сибири и на Алтае», Новосибирск 1939; Дворецкая, Н. «Официальная и фольклорная оценка похода Ермака в 18 веке», Труды отделения древнерусской литературы, т. 14, Москва 1958; Ерошин, И. «Старинные песни на Алтае», Сибирские огни, № 4, 1927; Копержинский, К. «Былины Восточной Сибири», Русский фольклор, т. 2, Москва 1957; Путилов, Б. «О некоторых проблемах изучения исторической песни», Русский фольклор, Москва 1956; Сергеев, М. «Литературное творчество народов севера», Советская этнография, № 3, 1955; Скрипиль, М. «Вопросы научной периодизации русского народного творчества», Русский фольклор, Москва 1956; Ухов, П. «Типическое, как средство паспортизации былин», Русский фольклор, Москва 1957; Шуб, Т. «Исторические песни из Русского Устья», Русский фольклор 1956; Шуб, Т. «Былины рус-

ских старожил низовья Индигирки», Русский фольклор 1956; Элиасов, Л. «Землепроходцы в фольклоре старожилов Сибири», Краеведческий сборник, Улан-Уде 1959.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дорогой Роман Борисович!

В 94 кн. «Нового Журнала» напечатаны воспоминания о Тургеневской библиотеке Л. В. Шейнис-Чеховой. Одно место в ее воспоминаниях меня огорчило и я не могу оставить его без ответа.

В 20-х годах Тургеневская библиотека испытывала большие материальные затруднения. В связи с этим, пишет Л. В. Шейнис-Чехова, правление обратилось к русскому консульству (Временного правительства) и получило от него субсидию в 1½ тысячи франков. Далее правление обратилось к «брильянтику Леонарду Розенталю, который обыкновенно щедро отзывался на нужды русской колонии и хорошо оплачивал приглаательные билеты». Библиотеке не хватало в этот момент 5.000 франков. «Л. М. Розенталь пришел в библиотеку, с интересом осмотрел ее, взял для прочтения два тома «Вестника Европы» (которые потом никогда не вернул), дал 5.000 франков и сказал, что... будет помогать библиотеке... Больше за помощью к Розенталю не обращались, а позднее нельзя было этого сделать, так как у брильянтиков дела пошли плохо и Розенталь якобы 'разорился'».

Л. М. Розенталь не был просто «брильянтиком», как несколько пренебрежительно называет его Л. В. Шейнис. Он был в это время общепризнанным «королем жемчуга», но свою коммерческую деятельность сочетал с огромной филантропической работой. В этот период благотворительный бюджет Л. М. Розенталя составлял несколько миллионов франков в год. На свои средства он содержал женскую профессиональную школу Рашель, в которой было 150 учениц. Множество русских и французских студентов окончили высшие учебные заведения на стипендии Л. М. Розенталя. Мне лично известны имена пяти крупнейших писателей-эмигрантов, которые регулярно получали поддержку от Л. М. Розенталя. Так велика была филантропическая деятельность этого «брильянтика», что французское правительство наградило его Командорским Крестом Почетного Легиона.

От русского консульства библиотека получила полторы тысячи франков. От Л. М. Розенталя — в три раза больше, пять тысяч. Меня поразило, что бывшая заведующая библиотекой не нашла иных слов, чтобы помянуть человека, который помог Тургеневской библиотеке и выразил желание помогать ей и в дальнейшем, как написав, что он взял две книги «Вестника Европы», которые «никогда не вернул».

Уважающий Вас Андрей Седых

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- ОЛЕГ ПАНТЮХОВ. *О днях былых*. Семейная хроника Пантюховых. Дюранд Хауз. Меплвуд. 1969 (стр. 315).
- Н. А. БРОДСКАЯ. *Напролет*. Стихи. Рифма. Париж. 1968 (стр. 93).
- ВАЛЕНТИН ГОРЯНСКИЙ. *Парфандр и Глафира*. Роман в стихах. Париж. 1956 (стр. 139).
- ДМ. КЛЕНОВСКИЙ. *Певучая ноша*. Стихи. Мюнхен. 1969 (стр. 64).
- Б. КУЗНЕЦОВ. *В угоду Сталину*. Годы 1945-1946. Изд. СБОНР. Канада. 1968 (стр. 94).
- Н. С. ЛЕСКОВ. *Евреи в России*. Перепечатано с издания 1919 года. Гр. Луиц Букс. Нью Йорк. 1969 (стр. 96).
- АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО. *Мои показания*. La Presse Libre. Париж. 1969 (стр. 370).
- ВИКТОР МОРТ. *Хэппи Энд*. Невыдуманные рассказы. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1969 (стр. 185).
- БИБЛИОГРАФИЯ. *Борис Леонидович Пастернак*. Составитель Н. А. Троицкий. Committee on Soviet Studies. Cornell University. Ithaca. 1969 (стр. 185).
- А. ПОЗОВ. *Метафизика Пушкина*. Мадрид. 1967 (стр. 236).
- ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. *Прозрачность*. Перепечатка с московск. издания 1904 г. с вступит. статьей Иоханнеса Хольтхузена. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1967 (стр. 171).
- ДЖЕМС ДЖОЙС. *Дублинцы*. Неаполь. 1968 (стр. 325).
- ДЖЕМС ДЖОЙС. *Портрет художника в юности*. Перевод Виктора Франка. Неаполь. 1968 (стр. 367).
- СЕРГЕЙ ШАРШУН. *Без маяка*. Четыре пейзажа. Изд. «Вопрос». Париж. 1969 (стр. 89).
- ИГОРЬ ЧИННОВ. *Метафоры*. Третья книга стихов. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1969 (стр. 51).
- ВЛАДИСЛАВ ЭЛЛИС. *Избранное*. Стихи. Лос Анджелес. 1968 (стр. 70).
- К. К. СЛУЧЕВСКИЙ. *Забытые стихотворения*. С вступит. статьей Д. Чижевского и предисловием Ханс-Юрген цум Винкель. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1968 (стр. 184).
- Б. ТОМАШЕВСКИЙ. *Теория литературы*. Поэтика. Госиздат. Москва-Ленинград. 1928. Перепечатано Джонсон Репринт Корпорэйшен. Нью Йорк. 1967 (стр. 240).
- А. БЕЛЫЙ. *Луг зеленый*. Книга статей. Введение Зои Юрьевой. Изд.

- «Альциона». Москва. 1910. Перепечатано Джонсон Репринт Корпорэйшен. Нью Йорк. 1967 (стр. 250).
- А. Г. ФОМИН. *Путеводитель по библиографии литературы*. Систем. аннотирован. указатель русск. книг и журн. работ, напечатанных в 1736-1932 гг. Госиздат. Ленинград. 1934. Перепечатано Джонсон Репринт Корпорэйшен. Нью Йорк. 1966 (стр. 336).
- ОЛЬГА ДАРТАУ. *Стихи и рассказы*. Изд. автора. Колумбус. 1969 (стр. 174).
- ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА. *Литература и жизнь*. Статьи. Составил С. Шварц. Нью Йорк. 1969 (стр. 505).
- ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В США. Том 2. Нью Йорк. 1968 (стр. 271).
- АНДРЕЙ СЕДЫХ. *Иерусалим, имя радостное*. Нью Йорк. 1969 (стр. 224).
- ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. *Собрание сочинений в 3-х томах*. Том 1. Международное Литературное Содружество. Вашингтон. 1967 (стр. 598).
- А. СОЛЖЕНИЦЫН. *В круге первом*. Роман. Изд. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (стр. 666).
- АРГУС. *Другая жизнь и берег дальний*. Изд. «Чайка». Нью Йорк. 1969 (стр. 436).
- ВЛ. С. ВОЙТИНСКИЙ. *Петербургский совет безработных (1906-07)*. Русский Институт. Колумбийский у-т. Нью Йорк. 1969 (стр. 315).
- Т. С. ЭЛИОТ. *К определению понятия культуры*. Заметки. Перевод с английск. Е. Жиглевич. Вступит. статья М. Корякова. Лондон. 1968 (стр. 167).
- ДЖОН ДЬЮИ. *Свобода и культура*. Перевод Л. Машковского. Вступ. статья Р. Редлих. Лондон. 1968 (стр. 193).
- ALEKSIS RANNIT. *Kaljud*. Lund, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1969.
- KONSTANTIN LEONTIEV. *Against the Current*. Selected Writings. Edited by G. Ivask. Translated by G. Reavey. Weybright & Talley. N. Y. 1969 (p. 286).
- KONSTANTIN LEONTIEV. *The Egyptian Dove*. A Novel. Introduction by G. Ivask. Translated by G. Reavey. Weybright & Talley. N. Y. 1969 (p. 249).
- ESSAYS IN RUSSIAN LITERATURE. *The Conservative View: Leontiev, Rozanow, Shestov*. By Spencer E. Roberts. Ohio University Press. 1968.
- JEAN NEUVECELLE. *Jean XXIII. Une Vie*. Editions Bernard Grasset. Paris. 1968.
- YURY DOMBROVSKY. *The Keeper of Antiquities*. Translated from Russian by Michael Glenny. McGraw-Hill. Toronto. 1969.

- ISAAC KOWALSKI. *A Secret Press in Nazi Europe. The Story of a Jewish United Partisan Organization*. Central Guide Publisher. New York. 1969 (416 pages).
- V. V. VINOGRADOV. *The History of the Russian Literary Language from the Seventeenth Century to the Nineteenth*. A condensed adaptation into English with an Introduction by Lawrence L. Thomas. The University of Wisconsin Press. Madison. 1969 (276 pages).
- THE YALE LECTURES ON ESTONIAN POETRY. New Haven. 1969.
- ALMUT SCHULZE. *Tjutcevs Kurzlyrik*. Fink Verlag. Muenchen. 1968 (S. 68).
- RUSSIAN STUDIES OF AMERICAN LITERATURE. *A Bibliography*. Compiled by V. Libman. Translated by R. Allen. Edited by C. Gohdes. University of N. Carolina Press. 1969 (218 pages).

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА В ОКСФОРДЕ желает иметь полный комплект НОВОГО ЖУРНАЛА. Ей не хватает следующих номеров: 1-12, 17, 75-80. Библиотека будет очень благодарна тем лицам, которые или пожертвуют эти недостающие номера, или обменяют их на имеющиеся у нее дубликаты НОВОГО ЖУРНАЛА. В случае необходимости библиотека готова оплатить эти номера.

Dr. N. Zernov. The House of St. Gregory and St. Macrina.
1 Canterbury Road. Oxford. OX2 6LU. England

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

...

В 1969 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

...

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков

...

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

**Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.**
